АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ

Дорогой длинною...

SHOUT
SHARE
IT

- Александр Вертинский
  - От составителя
  - Дорогой длинною…
    - Детство
    - Юность в Киеве
    - Юность в Москве
    - Первые успехи
    - Прощание с Родиной
    - Эмиграция началась
    - В Румынии
    - Польша
    - Германия
    - Франция
    - Палестина
    - Америка
    - Китай
    - Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

Александр Вертинский
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ…

От составителя

В этой книге осуществлена первая попытке собрать наиболее значимое из литературного наследия Александра Николаевича Вертинского (1889-1957) — поэта, композитора и артиста, человека оригинальнейшего таланта и незаурядной судьбы.

Сборники стихов и песен А. Вертинского выходили в Париже (1938, «Песни и стихи»), Вашингтоне (1962, «Песни и стихи»), Стокгольме (1980, «Из песен А. Вертинского»), Сен-Франциско (1986, «Песни и стихи»), Нью-Йорке (1982, «Записки русского Пьеро») и других «чужих городах», однако в нашей стране, несмотря на то, что А. Вертинский ещё в 1943 году вернулся на родину, был предан ей и ею любим, все попытки с изданием сборника его произведений оказывались тщетными. Появлялись отдельные публикации. Так, в 1962 году в журнале «Москва» (№ № 3—6) были напечатаны отрывки из воспоминаний А. Вертинского о годах эмиграции, прошли несколько стихотворных подборок, включённых в те или иные тематические сборники («Стихи о музыке». М., 1986; «Русский романс». М., 1987), в периодических изданиях изредка печатались отдельные стихи и новеллы. Но, конечно же, подобные, можно сказать, случайные «напоминания», что был-де такой у нас поэт и певец, никоим образом не могли удовлетворить спрос на знания людей о том, кто же всё-таки А. Вертинский и чем он славен.

Первый и наиболее обширный по объёму раздел настоящего издания — мемуары. По признанию самого А. Вертинского, он не любил этот жанр. Начальные главы (в книге они — заключительные) писались не столько по душевной потребности, сколько по нужде, по заказу, сделанному ещё в эмиграции шанхайской газетой «Новая жизнь». Работа над ними велась с июня 1942 по июнь 1943 годе с таким расчётом, чтобы каждый очередной «подвал» появлялся в газете раз в неделю. Эти главы, этот «эмигрантский цикл» в отличие от урезанной публикации в журнале «Москва» печатается полностью. При подготовке текста внесены незначительные изменения стилистического характера, в соответствии с современным правописанием приведены в порядок орфография и пунктуация (надо учесть, что зачастую А. Вертинскому приходилось писать те или иные страницы наспех, чтобы представить их в газету к определённому времени).

Главы воспоминаний, в которых А. Вертинский рассказывает о своём детстве, юности и первых шагах в искусстве, были написаны уже после возвращения на родину, причём не в первые годы, а незадолго до смерти. Видимо, чувствуя, что времени у

него мало, он спешил, писал урывками, чаще всего в поездках, разъезжая с концертами по стране. Здесь тоже пришлось произвести некоторую работу над текстом, как указанную выше, так и иную, уточняющую отдельные скорописью изложенные эпизоды, обороты и выражения. Однако во всех случаях соблюдалось бережное отношение к слову и духу авторского письма.

К сожалению, А. Вертинский не успел написать о годах, прожитых в Китае, и о последних четырнадцати годах жизни на родине. Но, думается, читатель не будет так уж разочарован и огорчён: Китай довольно подробно представлен в разделе, где помещены прозаические этюды А. Вертинского, а о том, как он жил и работал, вернувшись домой, наглядным свидетельством служат его письма из концертных поездок по стране.

Второй раздел — стихи и песенные тексты. Ни один из зарубежных сборников и все они вместе взятые не содержат такого количества поэтических творений А. Вертинского, как настоящий сборник. Здесь собрано практически все, что он написал как поэт. Отбор текстов составил определённую трудность, ибо в нередких случаях А. Вертинскому приписывались тексты песен, ему не принадлежащие (как, например, «Кокаинеточка» — слова Агатова, или «Игуменья», чей автор самому А. Вертинскому был неизвестен). В поэтический раздел, естественно, не вошли стихотворения поэтов, на слова которых А. Вертинским была написана музыке, а также тексты, созданные в соавторстве, ибо доля участия А. Вертинского в совместной работе неизвестна.

Все стихи, их строфы и строчки выверены по различным источникам и, конечно же (когда это было доступно), по оригиналам. А. Вертинский сам признавался, что его «память не удержала» некоторые даты написания тех или иных стихотворений. Мы сочли необходимым, когда возникали сомнения подобного рода, датировку и место создания стихов опускать.

Следующий раздел представляет собой многожанровую композицию: короткие рассказы, этюды, зарисовки.

Далее публикуются письма А. Вертинского разным лицам, жене и дочерям. Эти письма представляют, на наш взгляд, особую ценность. То, что, по указанной ранее причине, не вошло в воспоминания, в достаточно широком объёме отражено в письмах. Надо отметить, что мы публикуем далеко не все из эпистолярного наследия А. Вертинского, однако и то, что принято к публикации, думается, даст читателю вполне реальное представление не только о творческих, бытовых и прочих

аспектах жизни поэта и артиста, вернувшегося домой после двадцатитрехлетнего странствия по свету, но и позволит наглядно проследить эволюцию его понимания того, как устроена жизнь людей на вновь обретённой им «милой навеки» родине. Кроме писем В. М. Молотову и С. В. Кафтанову (напечатаны в журнале «Кругозор», 1989, № 3), все остальные письма публикуются впервые.

И, наконец, последнее: своеобразный монтаж из бесед и интервью А. Вертинского, напечатанных в разные годы в различных эмигрантских газетах и журналах. Этот монтаж строился с таким расчётом, чтобы на первый план вышли ответы корреспондентам и предельно были бы сокращены их собственные рассуждения, а также «художественные обрамления» интервью и бесед.

В заключение необходимо сказать, что, имея в виду особую участь литературного наследия А. Вертинского, выразившуюся в несправедливо долгом отсутствии его в читательском обиходе, решено в целях экономии места для его собственных произведений воздержаться от подробного комментирования текстов и ограничиться подстрочными сносками только в тех случаях, когда это диктуется непременной необходимостью. Изучение жизни и творчества А. Вертинского вступает, по сути дела, лишь в первую свою фазу, и мы надеемся, что настоящий сборник послужит хорошим стимулом для привлечения исследователей литературы и искусства к работе, которая обещает большой интерес как для них самих, так и для будущих их читателей. Помимо прочего, публикация книги Александра Николаевича Вертинского имеет и эту желанную цель.

Издательство и составитель выражают глубокую благодарность жене А. Н. Вертинского — Л. В. Вертинской, предоставившей материалы для книги «Дорогой длинною…» и оказавшей незаменимую помощь при их подготовке к печати.

Дорогой длинною…

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится.

И. С. Тургенев

Я не спеша собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела…

А. Блок

Дорогой длинною,
Да ночью лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня!..

Детство

Многое я помню ясно и отчётливо, но многое стёрлось в памяти. Что же осталось?

Лоскутки… Маленькие разноцветные лоскутки… Обрывки, клочки минувшего, обрезки и остатки. Ну что ж. Ведь из лоскутков можно сшить, например, одеяло. Или даже ковёр! Правда, он будет пёстрым, но и вся жизнь моя была пестра. Приукрашать и облагораживать прошлое, подгонять то, что сберегла память, под сегодняшние уже зрелые взгляды и понятия мои мне не хочется. Эта книга даже не мемуары. Это сильно потрёпанная записная книжка, найденная на самом дне сундука памяти, добрая половина страниц которой вырвана или унесена ветрами времени. Книжка человека, у которого было немного свободных минут, ведь для того, чтобы прожить на чужбине, — надо много и тяжело работать. Все же кое-что в ней сохранилось. Самым уязвимым местом этих отрывочных воспоминаний будут, конечно, даты. Иногда помнишь само событие, но когда оно было? В каком году? Этого память не удержала. Итак, начнём с детства.

Я смутно помню себя ребёнком трёх-четырёх лет. Я сидел в доме у своей тётки Марьи Степановны на маленьком детском горшочке и выковыривал глаза у плюшевого медвежонка, которого мне подарили.

Лизка, горничная, девчонка лет пятнадцати, подошла ко мне и сказала:

— Будет тебе сидеть на горшке! Вставай, у тебя умерла мама!

В тот же вечер меня привели на квартиру к родителям. Они жили на Большой Владимирской в 43-м номере. Дом этот в Киеве стоит и до сих пор, выходя двумя парадными подъездами на улицу.

Очевидно, для утешения мне дали шоколадку с кремом.

Мать лежала на столе в столовой в серебряном гробу вся в цветах. У изголовья стояли серебряные подсвечники со свечами и маленькая табуретка для монашки, читавшей Евангелие.

Быстро взобравшись на табуретку, я чмокнул маму в губы и стал совать ей в рот шоколадку… Она не открыла рта и не улыбнулась мне. Я удивился. Меня оттащили от гроба и повели домой, к тётке. Вот и все. Больше я ничего не помню о своей матери.

Отец не был официально женат на моей матери, так как ему не давала развода его первая жена Варвара, пожилая, злая и некрасивая женщина. Много горя принесла она моей матери, и

после того как родились дети — сперва сестра Надя, а через пять лет и я, — отцу пришлось «усыновить» нас. Когда мать умерла, Надя осталась жить у отца, а меня отдали тётке Марье Степановне, сестре матери.

Марья Степановна была молодая, красивая, своевольная и капризная женщина со всеми характерными чертами, свойственными её дворянскому сословию, из которых главное было — самодурство. Поскольку отец не мог жениться на моей матери, союз их рассматривался Марьей Степановной как мезальянс, и мать моя — самая нежная и кроткая из всех четырёх сестёр и самая юная — пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь. Она была изгнана из семьи, родители не признавали ни её, ни её незаконного мужа. Тётки же мои, сестры матери, были добрее и не порывали связи с ней. Но отца моего тётки не любили, считая его «соблазнителем» сестры и виновником её «падения». Мне часто приходилось слышать из уст Марьи Степановны:

— Твой отец — негодяй!

Я обижался и верить этому не желал. В глубине детской души я твёрдо знал, что мой папа чудный, добрый и красивый.

По профессии он был адвокат. И довольно известный. Уже потом, много позже, я узнал, что его очень любили и ценили как сердечного, отзывчивого человека и блестящего юриста. У него была огромная клиентура, почти сплошь состоящая из бедных людей, которых он защищал безвозмездно. Да ещё и помогал семьям своих подзащитных. На это нужны средства, и отец параллельно вёл громкие процессы, за которые получал большие гонорары.

Впрочем, денег этих не было видно. Куда девались они?

Этого никто не знал. Тщетно доискивались родственники. Деньги исчезали куда-то. А жил отец скромно. Не пил, не кутил, не играл ни в карты, ни на бирже. Так или иначе, но после его смерти ничего, кроме подарков от клиентов, в доме не осталось.

Хоронили отца в маленькой Георгиевской церкви. Товарищи вынесли его гроб, чтобы поставить на колесницу катафалка, и вдруг… Огромная тысячная толпа каких-то серых, бедно одетых людей, заполнившая площадь перед церковью, быстро оттеснила маленькую группку киевских юристов. Отобрав гроб с телом отца, толпа на руках понесла его к кладбищу. А колесница везла венки.

Никто ничего не мог понять. Что это за люди? Откуда взялись они? Оказалось, все это отцовская клиентура.

Какие-то женщины вдовьего вида, старики, калеки, дети, рабочие, студенты, мелкие чиновники, «бывшие» люди — бедный и тёмный люд, дела которых он вёл безвозмездно, которым

помогал и поддерживал. Они никого не подпустили к гробу, кроме меня и сестры (нас вела нянька). Ни одного человека. «Это было странно и страшно», — рассказывал мне потом один из его товарищей. Даже полиция не понимала, в чем дело.

Зато тёткам тут все стало ясно. Вот куда девались его заработки!

Смерть матери последовала от неудачной женской операции. Результатом её было заражение крови. Она сгорела в несколько часов. Отца не было в Киеве; уезжая по делу, он строго-настрого запретил ей это, но…

Застал её уже в гробу. По-видимому, он очень любил мать, потому что переживал её смерть тяжело. Постепенно его товарищи стали замечать за ним какие-то странности. То он отказывался от самых выгодных процессов, то растрачивал свой темперамент на явно безнадёжные дела, точно желая пробить стенку лбом, то вдруг начинал «заговариваться». Иногда во время защитительной речи, когда дело уже почти было выиграно, он вдруг останавливался, точно к чему-то прислушиваясь, и вдруг выходил из зала заседаний, а иногда и совсем исчезал из здания суда. Стали следить за ним. Оказалось, что он ездил на кладбище, где была похоронена мать. Как-то ранней весной его нашли без чувств на её могиле. Он лежал ничком, во фраке, как был в суде, упал манишкой на снег, в распахнутом пальто. Его подняли, привезли домой. Он заболел… у него началась скоротечная чахотка. Больше он не встал с постели. Однажды у него горлом хлынула кровь. В доме не было никого, кроме десятилетней сестры. Она ещё догадалась подать ему таз, но поддержать его не смогла. Обессилев, он упал на подушку и захлебнулся кровью.

После смерти отца сестру забрала старшая сестра матери, Лидия Степановна, которая была замужем за губернским землемером Трофимовым и жила в Ковно. Как жилось моей сестре у Трофимовых, я не знаю. Только Надя всегда плакала, когда вспоминала об этой жизни.

Мне было твёрдо сказано, что никакой сестры у меня нет. Наде то же самое объявили обо мне. Так мы и жили, оба зная, что у нас нет никого на свете. Но судьба решила иначе.

Однажды, перелистывая журнал «Театр и искусство», я прочёл в составе комедийной труппы Сабурова фамилию — Н. Н. Вертинская.

Я удивился. Однофамильцев я до той поры не встречал. Из любопытства я написал ей письмо на театр:

«Милая, незнакомая Н. Н. Вертинская! У меня такая же фамилия, как у вас… У меня когда-то была сестра Надя. Она

умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н. Н. — Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я это сделал от… скуки. Напишите мне, если вам нетрудно»… и т. д.

В ответ пришло письмо, полное слез. Это было письмо Нади. Ей в своё время тоже сказали, что я умер. Зачем это было нужно моим тёткам? Чего они хотели добиться этим? Не понимаю. И до сих пор не могу понять.

Но таковы факты.

Теперь назад к детству. Вспоминая о нем, я вижу Киев. Мой дорогой, любимый Киев! Яснее всего я вижу его весной. Мы жили тогда на Фундуклеевской улице, в доме Дымко, а потом Лучинского. Улица та поднималась от Крещатика вверх и, дойдя до Пироговской, красиво спускалась вниз, к Еврейскому базару. Рядом с нашим домом было цветоводство Крюгера, а на противоположной стороне — анатомический театр. Поэтому на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами.

Киев, как известно, расположен на горе над Днепром, и улицы его круты и извилисты.

Девятого марта, по православному календарю на «40 мучеников», в день моего рождения, торжественно и пышно приходила весна. Приходила она точно в назначенный день, никогда не опаздывая и не заставляя себя ждать. Она приходила, как добрый хозяин в свой старый, заколоченный на зиму дом, и сразу принималась за работу. Открывала ставни, очищала снег с крыш, раскутывала молодые яблони в саду и наводила порядок.

Теперь весна приходит неточно, с запозданиями, иногда её даже не увидишь, и время как-то незаметно из зимы и холода переходит в лето.

А тогда…

В нашей квартире выставлялись двойные рамы, переложенные ватой с мелко нарезанным красным и синим гарусом. Осторожно выливались в раковину стаканчики с серной кислотой. Отклеивались окна, и в комнаты врывался март! Ещё холодный, пахнущий морозцем, шумный, голубой и солнечный.

Старый кот Кануська вспрыгивал на подоконник и, раздувая ноздри, облизывал свою полинявшую за зиму шерсть. Он изумлённо и радостно смотрел на воробьёв, которые нагло порхали под самым его носом, звонко чирикали, сидя на голых кустах ещё не проснувшейся сирени. Кот сладко потягивался. «Наконец-то! Додумались! — казалось, говорил весь его удивлённый и довольный вид. — А то сидишь тут всю зиму в натопленных комнатах и даже на крышу не выйдешь!»

На улице мальчишки пускали по лужам свои классические кораблики из газетной бумаги и бежали за ними вниз с горы.

А воздух! Боже, что это был за воздух! Хрустальный, льдистый, утоляющий жажду, заливающий душу радостью! Прохожие слегка пьянели от него и, как все подвыпившие, делались добрее и мягче, чаще улыбались, реже хмурились.

Большеглазые украинские дивчата совали в руки букетики синих и белых подснежников и фиалок, и прохожие покупали их так, как будто это было неизбежно и естественно и только этого они и ждали всю зиму.

Утром в этот день кухарка Наталья приносила с базара тёплые, только что испечённые «жаворонки» со сложенными крылышками и с чёрными изюминками вместо глаз и говорила:

— Ну, панычу, поздравляю вас!

Потом из маленькой комнатки-конурки, отгороженной от парадной передней, вылезала глухая тётя Соня — третья и самая старшая из маминых сестёр. Она говорила только по-украински:

— Ось тоби́, ши́бздык, конхве́кти, ти́льки не ишь уси́ зра́зу! — и дарила мне круглую коробочку монпансье. Они были очень вкусные. И это было все. Дальше я не помню, чтобы мне кто-нибудь делал подарки. Впрочем, однажды мне подарили голубой мячик. Но он был с дыркой.

По субботам кузина Наташа, которая иногда подолгу жила у нас, водила меня за ручку во Владимирский собор. Как прекрасно, величественно и торжественно было там! Васнецовская гневная живопись заставляла трепетать моё сердце. Один «Страшный суд» чего стоил. Откуда-то из недр растрескавшейся земли в день Страшного суда выходили давно умершие грешники с измождёнными, неживыми лицами и тянули свои иссохшие руки к престолу Всевышнего. Из каких-то каменных подземелий среди развороченных могильных плит и гробов восставали цари в ржавых коронах, с поломанными скипетрами. А худые и строгие праведники, высохшие, как скелеты, возводили очи к небу, благочестиво прикрывая наготу свою длинными седыми бородами. Давно умершие люди, бледные и прекрасные царицы, «в бозе почившие» цари — всё это толпилось у подножия трона в день последнего Божьего суда.

А рядом, около алтаря и наверху в притворах, была живопись Нестерова. Как утешала она! Как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах! Вот Борис и Глеб, похожие на царевичей из русских сказок. Вот «Рождество Христово» — созвездие, приведшее волхвов к яслям. Вот великомученица Варвара… И все это на фоне русских задушевных пейзажей со стройными ёлочками и юными подростками-берёзками. А какая

вера светилась в глазах этих мучеников!

Если Васнецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, если его святые были борцами за веру, крепкими и мужественными, то святые Нестерова выглядели просветлёнными и благостными, тихими и примирёнными с жизнью, которую они принимали как она есть, но в самой глубине её — находили источники душевной чистоты русского народа.

Образ Богоматери был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери! В огромных украинских очах с длинными тёмными ресницами, опущенными долу, была вся красота дочерей моей родины, вся любовная тоска её своевольных и гордых красавиц. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону. И долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от неё глаз. Много лет лотом, уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы. А внизу, в храме, по субботам, во время торжественного богослужения, пел хор Калишевского. Как пели они, эти мальчики! Как звенели их высокие стеклянные голоса! Какими чистыми горлицами отвечали им женские! Как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны мужчин!

Великим постом на Страстной неделе посреди церкви солисты из оперы пели «Разбойника Благоразумного». Моя детская душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали её и, как мячик, подбрасывали вверх — к самому куполу, к небу! Как радостно и страшно было душе моей, как светло! И, наконец, самое главное. По ходу службы из алтаря появлялись в белых стихарях тонкие и стройные мальчики чуть постарше меня и несли высокие белые свечи. И все смотрели на них!

О, как завидовал я этим юным лицедеям! Вот откуда взяло своё начало моё актёрское призвание!

Потом я стал гимназистом. Мне исполнилось девять лет. Я держал экзамен в приготовительный класс Киевской первой гимназии. Экзамен я сдал блестяще — на пять. Только по закону божьему батюшка, отец Семён, задал мне каверзный вопрос:

— В какой день Бог создал мышей?

Как известно, создание мира шло по определённому расписанию. Был точно указан день, когда Бог создавал животных. И этот день был мне точно известен, но я никак не мог себе представить, чтобы Бог занимался созданием ненужных и вредных грызунов. Поэтому, подумав, я сказал:

— Бог мышей не создавал… Сами завелись!

Экзаменаторы рассмеялись. Тем не менее я получил пять.

Весь приготовительный и первый классы я учился отлично. Потом что-то случилось со мной. Что именно, не знаю. Но я стал учиться все хуже и хуже. И наконец меня выгнали из второго класса этой аристократической гимназии, которая к тому времени стала называться Императорской 1-й Александровской гимназией и окончательно «задрала нос». Впрочем, на гимназическом жаргоне воспитанники её по-прежнему назывались «карандашами», несмотря на то, что над веточками их серебряного герба появилась сверху императорская корона.

Меня перевели в гимназию попроще. Была она на «Новом Строении», на Большой Васильевской улице, и именовалась «Киевская 4-я гимназия». Мы все, мальчишки, были патриотами своих гимназий, презирали другие гимназии. Но самое большое удовлетворение заключалось в том, чтобы лупить «карандашей», «аристократов».

С трудом переходил я из класса в класс, с переэкзаменовками и двойками, и наконец был торжественно исключён из пятого класса.

В чем же было дело? Я ведь был смышлёный и неглупый мальчик…

Очевидно, в неправильном воспитании. Тётка моя, Марья Степановна, молодая и, как я уже сказал, изрядно испорченная самодурством, не имела никакого понятия о воспитании детей, а тем более мальчишек. Она гневалась, кричала и заставляла меня сидеть за учебниками до полуночи. Погулять, побегать с товарищами, покататься на санках или коньках мне не разрешалось.

Собственно, тётка и внушила мне отвращение к учению.

— Ты двоечник! — строго говорила она.

А если я выучивал уроки, она внушала:

— Повторяй пройденное! Учи дальше!

Таким образом, я был прикован к учебникам, как каторжник к ядру, и выхода не видел никакого.

«Учи не учи — спасенья нет!» — думал я и стал обманывать её и манкировать учёбой. В задачник Евтушевского, например, я клал какую-нибудь интересную книгу — «Таинственный остров» Жюля Верна или «Всадника без головы» Майн Рида. Делая вид, что занимаюсь, и бубня что-то вслух, чтобы тётка думала, будто я работаю, я запоем читал эти интересные романы. А в гимназии в соответствии с моими знаниями шли единицы и двойки.

Дома за такие отметки меня ждала по субботам неизбежная порка. Тогда я стал подделывать отметки, переправляя их на четвёрки и пятёрки. В конце концов все это раскрылось.

К этому времени Марья Степановна вышла замуж. Муж её,

Илларион Яковлевич, был в общем добрый и тихий человек, но совершенно безвольный. Он как-то сразу подпал под влияние своей энергичной и решительной супруги. Инженер по образованию, он был полон какими-то изобретательскими планами и мало замечал окружающую обстановку. Лично ко мне он относился неплохо и даже старался помочь: занимался со мной решением задач по математике. Он ничего не имел против пребывания в его доме «бедного родственника» и никогда не жалел денег ни на оплату моего учения, ни на мою одежду, хотя получал скромное жалованье, что-то около двухсот рублей в месяц. Но когда решительная супруга настойчиво требовала экзекуции, тихий Илларион Яковлевич нещадно порол меня на кухне казацкой нагайкой. Эти истязания только озлобляли меня. «Спасти» меня, по-видимому, было уже нельзя. Тем более что душа моя тянулась совсем не к математике, а к искусству.

Но кому до этого было дело? Моей двоюродной сестре Киньке почему-то позволяли посещать драматическую школу Лисенко, а меня, битком набитого всякими талантами, не пускали и жестоко наказывали за моё стремление к театру. Из Киньки так никогда и не вышло актрисы, и все эти деньги на её обучение были выброшены зря. Правда, это были деньги, оставшиеся ей после смерти отца, и, таким образом, она могла тратить их по своему усмотрению. Но все же…

А я, лёжа ночами на сундуке в передней, на грубом солдатском ковре, весь в синяках, избитый и оскорблённый, горько плакал и яростно мечтал о том, как я однажды оболью бензином тёткину кровать, и как она будет корчиться, в пламени, и как сгорит весь этот проклятый дом. Теперь я, конечно, смотрю на все это другими глазами. В конце концов, воспитывать чужих детей никто не обязан, и я стоил им, вероятно, в этом мире немало денег. Спасибо, что не умер от голода, что существую сегодня.

Я вырастал волчонком. Начал красть. Крал деньги из комода, открывая его ключами, забытыми где-нибудь, крал мелкие вещи и продавал их на толкучке. И почему-то был всегда голоден. То ли мне мало давали есть, то ли аппетит был у меня большой при моем довольно высоком росте. За кражи меня били ещё сильнее и упорнее. Но я продолжал красть, и как из меня не вышел преступник, до сих пор понять не могу. По всем законам логики, я должен был стать преступником.

Как сквозь сон, вижу я через дымовую завесу времени своих гимназических преподавателей. Вот инспектор Моисей Николаевич Пантелеев, с деревянной рукой, полный, стриженный под машинку. Он преподавал математику, был сух и строг, ибо

такую точную науку ангелы не преподают. Он немилосердно «резал» меня на переэкзаменовках и явно презирал. Нежных воспоминаний о нем у меня, конечно, не могло остаться. Вот Александрович, по прозвищу Рыжий, преподаватель истории и литературы, грузный, ленивый, сонный, читавший свой предмет без всякого увлечения… Вот русский «француз» Станчулов. маленький и подвижный, сын которого, Федька, бандит и жулик, держался в гимназии только благодаря отцу. Он приносил нам все новости из «высшего света», которые узнавал у отца… Вот немец Ланге, вот учитель географии, прозванный Сапожником за его длинную чёрную бороду. Вот батюшка Троицкий, добрый и снисходительный человек, которого мы ни в грош не ставили. Вот учитель рисования Кушнер, злой и раздражительный до предела, который с подзатыльниками выгонял нас из класса за малейшую провинность и, по-видимому, совершенно не выносил нас. Мы были ему явно «противопоказаны».

— Пенерджи́! Пенерджи́! — кричал он каким-то сдавленным голосом, точно подавившись ватой. — Кого ты там рисуешь?

— Своего дядю из Нахичевани!

В самом же деле караим Пенерджи рисовал в это время осла с длинными ушами, странно похожего на Кушнера.

Латынь преподавал некий Волкович, худой, веснушчатый чиновник с рыжими бакенбардами котлеткой. Он был визглив и истеричен, как женщина, и во время уроков доводил себя до припадков, а нас до ужаса.

Таков был состав наших преподавателей. Все это были чиновники, бездушные служаки, педанты и сухари, совершенно не интересовавшиеся ни нами, ни нашим внутренним миром. Если мальчишка учился плохо, вызывали родителей и после двух предупреждений выгоняли из гимназии.

На эти вызовы приходили обычно мамаши. Отцы были заняты службой. Мамаши долго и горько плакали в коридорах, выйдя из инспекторской комнаты, и утирали глаза платками. Что они могли поделать с нами?

А мы росли, как трава, сами по себе. Зубрилы тянулись и старались, выслуживаясь перед учителями, ябедничая и угождая им. Середняки, те, у которых отцы были покруче, кое-как вытягивали на тройки, переходя из класса в класс, а двоечники или изгонялись, или сидели по два года в одном классе.

Конечно, самыми лучшими товарищами, самыми весёлыми и затейливыми парнями были эти второгодники. Они всегда выручали товарища, оказавшегося у доски, подсказывая ловко и с особым молодечеством. Они острили и паясничали, прикидываясь дурачками, на потеху классу. Они скандалили,

выводя из терпения преподавателей. Они уже курили и в уборных, и в классе, и даже на улице. Лихо пили водку где-то на квартирах товарищей и не без успеха ухаживали за горничными. Все они были неглупые и задористые мальчишки — драчуны и заводилы, которыми мы восхищались и которым тайно подражали. Что же стало с ними потом? Вышли ли они «в люди»? Думаю, что да. Во всяком случае, из всех тех зубрил, которых мне довелось повстречать в жизни, ничего интересного или заметного так и не вышло.

Гордостью и сенсацией нашей гимназии был некий Бузя Гуревич, сын киевского раввина. Это был подлинный вундеркинд. Во всяком случае, такого экземпляра мне никогда больше не приходилось встречать. Ещё будучи в младших классах, он уже писал сочинения для учеников старших классов. Учась в четвёртом классе, выступал на литературных диспутах, поражая всех своей эрудицией. Он участвовал в прениях после лекций академиков, писал стихи, занимался в философских кружках и гремел на «литературных судах» того времени, приводя в восторг теософских дам, мог говорить без умолку в любое время и на любую тему, даже не зная заранее, о чем будет говорить. Им гордились все киевские евреи и вся наша гимназия. Ему пророчили блестящее будущее. Спорить с ним никто не решался, а он был хоть и самодовольный, но все же неплохой парень. К нему в дом всегда можно было заскочить, просто чтобы поесть досыта. Правда, делать это нужно было в отсутствие родителей Бузи, которые не переваривали меня, полагая, что я, вольнодумец и двоечник, оказываю дурное влияние на их сына. Но Бузя храбро таскал из буфета в столовой остатки завтраков и обедов и всегда старался накормить меня. Он даже снабжал меня своими сорочками. А это не шутка. Он был непререкаемым авторитетом среди нашей молодёжи. Не знаю, какую роль он сыграл бы в моей судьбе, если бы я не потерял Бузю из виду в самом разгаре его киевских успехов. За него я был спокоен. Каково же было моё удивление, когда через много лет я встретил его в Париже на кинофабрике «Гомон» в роли скромного сотрудника сценарного отдела!

Так и исчез из моей жизни Бузя, не оставив в ней заметного следа. Двоечники же и второгодники сильно повлияли на мою пылкую натуру.

Как только приходила весна, мы устраивали чудесные «пасовки» (от карточного слова «пас») то на Батыевы горы, то в Голосеевскую пустынь, то в Дарницу. Обычно утром мы встречались в заранее условленном месте и, оставив ранцы и связки с книгами в какой-нибудь лавочке, шли гулять. Весна ещё

только высовывала нос на улицу, а мы уже в распахнутых пальто шли ей навстречу. На Батыевых горах снег едва начинал таять, и большие куски его белели в овражках, остекленевшие и грязные, как куски разбитой тарелки, но сквозь весеннее марево уже пробивались синие и белые головки подснежников, лиловели фиалки, высовывался сиреневый «сон» с серыми пушистыми цветами. Чуть начинала зеленеть рыжеватая прошлогодняя травка…

Мы разводили костёр, жарили на палочках старое украинское сало, курили до тошноты и бегали взапуски, собирая хворост, и пили, пили воздух. Украинский воздух! Воистину это были самые счастливые дни моего детства.

Зимой мы устраивали «пасовки» в Киево-Печерскую лавру. Лавра стояла на отлёте от города, на высоком берегу Днепра. Она занимала большое пространство со своими церквами, службами, кельями, монастырём, помещениями и конторами. С утра до ночи в ней толпился народ. Тысячи богомольцев со всех концов страны заполняли её. Крестьяне из далёких губерний с детьми, узлами и котомками, старики и старухи, нищие калеки, бездомные странники. На специально отведённом для них выгоне за стенами лавры, на высоком обрыве над Днепром, на кучах выгребного мусора, как многострадальные Иовы, сидели эти люди.

Слепые украинские кобзари с сивыми чубами и усами крутили рукоятки своих стонущих жалобно кобз — примитивных инструментов — и голосили, истошными надрывными голосами рассказывая доверчивым бабам невероятные истории из жизни святых и мучеников. Пылкая украинская фантазия плюс необходимость потрясти воображение слушателей (иначе ничего не соберёшь) уводили этих «поэтов» и «религиозных комментаторов» в такие сюжетные дебри, откуда они сами порой не могли уже выбраться. И вдруг неожиданно обрывали свои «арии», что называется, на самом высоком «фермато».

Впрочем, в тексты этих «арий» никто особенно не вслушивался.

Ой, жив соби́ Лазарь…
А я його́ знав,
Була в його сира свитка,
А я и ту украв!..

— бесцеремонно бубнили они себе под нос. Сердобольные украинские «молодицы», с головой укутанные в тёплые платки, заливались слезами и кидали трудовые копейки в деревянные чашки, выставленные для сбора пожертвований. Половина этих

слепцов была, конечно, симулянтами.

Страшные, распухшие от волчанки и экземы калеки с вывороченными руками и ногами, нищие, покрытые язвами, безносые гнусящие сифилитики, алкоголики, бродяги, карманники — все копошилось на этом гноище, вопило, пело, стонало, молилось, стараясь обратить на себя внимание. У них были свои законы, своя этика и свои порядки. Лучшие места, поближе к воротам, занимали «премьеры», «первачи». Некоторые из них были далеко не бедны, имели даже собственные дома где-нибудь на Шулявке или Соломенке. Сидя тут по десять — двадцать лет, они накапливали себе небольшие состояния и обзаводились семьями, а на все это смотрели как на службу. Начинали они обычно с мольбы о помощи:

«Господа милосердные! Господа благодетели Божии! Трудовники Божии! Народы Христовы! Та подайте за упокой ваших родителей на поминание! Дайте, не минайте! Не минет вас Бог, киевский острог, арестантские роты, каторжны работы», — неожиданно скороговоркой издевались они. И добрые люди давали, не вслушиваясь в слова. Не все ли равно, что говорит человек, который просит кусок хлеба? Надо дать — все и без слов понятно! Дуды, кобзы, гусли, цимбалы, свирели, гармоники и свистульки аккомпанировали этому хору «поющих, вопиющих, взывающих и глаголящих», жуткому и зловонному скопищу каких-то ошмётков человечества.

Страшное это было место, и мы обходили его. Нас интересовали пещеры. Глубоко под землёй, пересекая даже русло Днепра, шли бесконечные пещеры-катакомбы, вырытые когда-то первыми христианами, которые спасались от языческих гонений. Вырывшие их там жили, там же и умирали, там и погребались. Постепенно православная церковь причислила некоторых из них к лику святых. В узких тёмных коридорах, вырубленных в граните, по правой стороне, одна за другой шли гробницы с дощечками и именами святых. Их мощи были, по-видимому, набальзамированы в своё время, обтянуты сверху красным кумачом и находились в маленьких нишах, тускло озарённых лампадками. Верующие богомольцы прикладывались к ним, целуя кумач, и клали сверху медяки на свечи угоднику.

Вот эти-то медяки и были предметом наших вожделений. Но как украсть их? Обычно процессию паломников сопровождал какой-нибудь монах со свечой (в пещерах было темно). Люди крестились, молились, а потом нагибались и целовали мощи. Вот тут-то мы и придумали трюк. Нагнувшись к мощам и делая вид, что мы их целуем, мы набирали в рот столько медяков, сколько он мог вместить. Отойдя в сторонку, мы выплёвывали деньги в

руку и прятали в карман.

Брр! До сих пор не могу вспомнить без отвращения! И на что только не способны мальчишки! Из пещер мы выходили с карманами, набитыми деньгами, и сразу накупали пирожных, конфет, папирос и очень весело проводили время.

Вот каким босячьем мы были! Несколько позже монахи, наконец, сообразили, в чем дело. Нас, гимназистов, они вообще перестали пускать в пещеры, а уж если пускали, то следили в оба.

В монастырской трапезной бесплатно выдавали постный борщ из капусты и чёрный хлеб. Этот вид человеколюбия и милосердия богатая лавра могла себе позволить. А за три копейки можно было купить пирог. Большой пирог! Настоящий «брандер», как мы его называли. Что за дивный вкус был у пирогов! Одни были с горохом, с кислой капустой, другие — с грибами, с кашей, душистые, тёплые, на родном подсолнечном масле. Они доставляли огромное наслаждение. Одного такого пирога было достаточно, чтобы утолить любой голод.

Впрочем… есть тогда очень хотелось!

По субботам и церковным праздникам в нашей маленькой гимназической церкви пел хор, составленный из учеников, Я почему-то не попал в него, хотя у меня был неплохой дискант и хороший слух. Вероятно, меня не взяли за поведение. А я так мечтал об этом. Каждую субботу и воскресенье мы, гимназисты, выстроенные попарно по классам, стояли навытяжку посреди церкви. На правом клиросе — наше начальство и прихожане, а на левом — хор. Спина и плечи немилосердно болели, мы переминались с ноги на ногу и часто бегали в уборную покурить и отдохнуть. Отстоять всю церковную службу было нелегко, а сесть нельзя было, да и негде.

Великим постом хор пел особенно хорошо — как-то по-весеннему звонко и радостно, точно стая молодых жаворонков. Мы стояли, зачарованные этим пением, и смотрели не отрываясь на правый клирос. Там находились «приходящие». Это были родители и сестры наших товарищей. Главное — сестры.

Что это были за красавицы, все эти Нины и Тоси, Сони и Верочки, Любы и Нади! Какими неземными небесными созданиями казались они нам! Как мерцали их очи, озарённые снизу восковыми свечами! Как взлетали их длинные, загнутые кверху ресницы! Какие они были стройные, светлые и лучезарные в своих белых передничках! Как мы были влюблены в них! И сами себе боялись в этом признаться. Это было стыдно до слез… страшнее чего угодно! Это была первая, как луч солнца во тьме, ослепительная, сияющая, неосознанная ещё, но уже сжигающая, непостижимая, недостижимая, безответная и бескорыстная,

чистая как хрусталь любовь! Её даже нельзя было назвать любовью! Это был какой-то огонь, зажжённый в сердце, яркий и тёплый, который мы несли бережно, как свечу из церкви, чтобы её не задул ветер!

Я даже не помню точно в кого именно был влюблён… Во всех. В них. В этих тоненьких, как берёзки, девочек. Мы тщательно скрывали друг от друга свои чувства и при встречах с девочками на улице в вербную субботу, например, даже били их слегка вербой, приговаривая: «Верба бьёт! Не я бью!..» Таков уж был обычай и способ ухаживанья. А гимназистов чужих гимназий, увлекавшихся нашими девочками, лупили нещадно.

Иногда удавалось познакомиться с девочкой или даже проводить её до дому. Это уже было огромное счастье! Все парты в моем классе были изрезаны перочинными ножами, и почти на каждой парте виднелись буквы «М. П.». Это были инициалы девочки, в которую была влюблена чуть ли не вся гимназия. Дочь железнодорожника, машиниста, она была на редкость хороша. А как вы думаете, какая у неё была фамилия? Плачькобыла. Маня Плачькобыла! С ума сойти! И дал же бог такую фамилию такой красавице! Мы по безмолвному уговору никогда фамилию эту не произносили вслух, чтобы не давать повода для ненужных острот. Мы говорили просто: «Маня».

Но вернёмся к гимназической церкви.

Непреходящей мечтой моей было стать церковным служкой. Ещё в раннем детстве, ужаленный красотой богослужения, я мечтал попасть в их число. Но судьба долго не улыбалась мне. И вдруг однажды на уроке закона Божьего отец Троицкий спросил:

— Кто из вас может выучить наизусть шестипсалмие, чтобы прочесть его завтра в церкви?

Я поднял руку. Я мог выучить что угодно в несколько минут. Читал я довольно хорошо, ибо уже тогда во мне были все задатки актёра.

— Ну, попробуй!..

Я взял в руки книгу псалмов и с чувством, толком и расстановкой прочёл её единым духом от доски до доски, не жалея красок и интонаций. Батюшке понравилось моё чтение.

— Молодец, — похвалил он. — Приходи завтра пораньше в алтарь, выберешь себе стихарь.

Итак, моя мечта сбывалась! Стоит ли говорить, что я не спал всю ночь. К утру я знал шестипсалмие назубок. Придя вечером в церковь за два часа до начала службы, я прежде всего бросился примерять стихари. Увы! Ни один из них мне не годился. Я был долговяз и худ, а стихари были сшиты на обычный рост и едва доходили мне до колен.

— Читай без стихаря, — сказал батюшка.

Но какой же интерес это представляло для меня? Я со злостью швырнул стихари куда-то в угол и сказал:

— Пусть вам монахи читают!

И ушёл.

В мои гимназические годы по Киеву ходил человек с осанкой профессора, в весьма живописных и даже несколько «театральных» лохмотьях, с большой суковатой палкой, и сиплым, пропитым голосом предлагал прохожим тоненький сборничек стихов. Прохожие покупали из жалости. Это был скрытый вид попрошайничества. Сборничек назывался весьма жалобно: «Увядший букетик». А автор его — известный всему Киеву пьяница, некий Пучков, бывший студент и окончательно опустившийся алкоголик. Стишки были весьма мизерабельные:

> … Увял букетик мой. А сколько жизни было
> В его зелёненьких листках и разноцветных лепестках!
> И все увяло, все отжило!

К сборнику этому больше подходило другое название — «Телячьи нежности», например, — но нас удовлетворял и «Букетик». Отпечатан он был в типографии и кормил автора или, вернее, поил, довольно долго, года три. Продав штук пять экземпляров, он шёл на базар в «обжорку» и напивался. Мы, гимназисты, покупали у него эту книжонку «принципиально», чтобы показать мещанам, до чего они довели «поэта»! У каждого из нас было по нескольку штук этого «Букетика».

Свою вступительную речь «поэт» начинал так: «Пардон, мсье! Волею судеб очутился вне бортов общественного положения. Скитаюсь в океане бурь и невзгод. Нуждаюсь в сентиментальной поддержке, ибо нет ни сантима. Донз муа кельк шоз пурбуар!» И мы давали последние пятаки, сбережённые от завтраков. Надо же было поддерживать искусство!

Из всех квартир, где мы жили в годы моего детства, я хорошо запомнил только три. Первую, о которой уже писал, — на Фундуклеевской улице, где прошли самые ранние дни моего детства. Там был сад, выходящий к обрыву в Афанасьевский яр, где мы в ямке песка «варили» кисель из бузины, где мальчишки нашей стороны целыми днями перешвыривались камнями из рогаток и «закидачек» (вроде пращи) с мальчишками той стороны. В доме этом жила чудесная Лида Дымко, дочь хозяина, а потом не менее чудесная — тоже Лида и тоже дочь хозяина — Лучинская. Там, на Фундуклеевской, у меня было два товарища поляка — мальчики Тацек и Вацек, или, как мы их называли,

Тазик и Вазик, восьми и девяти лет. Неподалёку, на Бибиковском бульваре, находилась аптека их отца, провизора Коценовского. Она и до сих пор существует. В витринах аптеки стояли два огромных сосуда для рекламы, наполненные один красной, а другой зеленой жидкостью, освещённые сзади. И я был уверен, что в одном из них клюквенная вода, а в другом грушевая. Однажды Тазик и Вазик украли из открытого окна у какого-то квартиранта три рубля, лежавшие на столе, и накупили халвы, тянучек и конфет на все деньги, угощая ими весь двор. Их обоих немилосердно высекли, разумеется…

На Фундуклеевской в маленьких грязных лавчонках торговали французскими булками, халвой, керосином и, главное, конфетами. Но какими конфетами! Только одну копейку стоил «столбик» — довольно большой, кисленький, приятный, твёрдый и стойкий, долго не таявший во рту и длящий наслаждение до бесконечности. Четверть фунта халвы продавали за пятачок. Вот только денег не было, чтобы покупать все эти райские сласти. А французские булки в лавочке пахли керосином, и тётка строго-настрого запрещала их покупать. Нужно было покупать в настоящей булочной на Большой Подвальной у Септера. Но Септер был далеко, идти туда не хотелось, и я, пренебрегая запретом, упорно покупал булки в соседней лавчонке. К запаху керосина примешивался ещё запах лампадного масла, ибо хозяин был верующий старик старообрядец и в лавке горело много лампад, которые ежеминутно гасли и которые он сам лично заправлял новыми фитильками, а потом, отерев руки о фартук, отпускал покупателям товар.

Помню ещё большой гастрономический магазин Мирзоева. Но это уже было на другой квартире — в Обсерваторном переулке, куда мы переехали позже. Жили мы там на втором этаже. В глубине двора находился сад, и изумительная сирень росла там. Сирень была густого темно-бордового цвета. И ещё — белая, пышная, душистая, и ещё — персидская синевато-лиловая. Я безжалостно обламывал её, нарывая ночью букет, и относил (домой нельзя было, конечно) хозяйке гастрономического магазина, толстой и приветливой даме, которая однажды, поражённая любезностью мальчишки, подарила мне большую плитку шоколада.

Почти рядом с нашим домом на этой квартире была дружина вольнопожарного общества. В огромном сарае стояли бочки с водой и насосы, и тут же в стойлах топтались приготовленные к упряжке кони. А наверху была каланча. Днём и ночью ходил вокруг неё по маленькой площадке дежурный часовой и, если замечал где-нибудь пожар, звонил в колокол; тогда моментально

раскрывались двери, запрягались лошади. Первым выскакивал передовой верхом на коне, а через полторы-две минуты за ним вылетала уже вся команда. В ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги, она была неотразимо прекрасной. С лестницей, с топорами и баграми, с особым шиком, едва держась одной рукой за поручни, стояли пожарные. Грохоча, колесница уносилась вдаль, похожая на колесницы римских гладиаторов.

Как я завидовал им! Я мечтал, что, когда вырасту, обязательно стану пожарным. А тут ещё, как назло, под носом — потрясающий пример. В числе дружинников был один наш гимназист восьмого класса. Красавец парень, высокий, стройный и сильный. Он казался мне настоящим героем. В детстве сам с собой я играл только в пожарных. Учтя мои восторги, один сообразительный пожарник продал мне поломанную медную каску, собственно говоря, полкаски — за рубль, который я в тот же день украл из комода тётушки! Это была большая по тем временам сумма денег — выпороли меня здорово. Только теперь я понимаю смысл моих поступков. Все это были симптомы и признаки моего неодолимого желания и призвания быть актёром

Наша последняя киевская квартира находилась в Железнодорожной колонии, за вокзалом. Надо было перейти железнодорожные пути, и вы оказывались в маленьком городке с одноэтажными домиками, окружёнными цветущими палисадниками. В колонии этой находились вагонные и паровозные мастерские юго-западных железных дорог. Дядя мой, Илларион Яковлевич, муж тётки, заведовал вагонным цехом. Ему по должности полагалась казённая квартирка из пяти комнат, с ванной и кухней, с верандой, выходящей в небольшой садик. В саду были несколько старых деревьев, выкрашенная в зелёный цвет беседка, а вдоль невысокого забора стояли серебристые украинские тополя, клейкие и душистые весной, а летом засыпавшие улички, или «линии», как они назывались, своим белым лёгким пухом. Я любил этот садик. В нем были кусты малины, смородины, несколько грядок клубники, можно было потихоньку рвать эти чуть начинающие поспевать ягоды и наедаться зеленой кислятиной до боли языка. Зимой можно было сбивать палками ещё уцелевшие с лета где-то на верхушках деревьев крупные волошские орехи, лепить бабу из снега или просто бегать с собакой Баяном, воображая себя то пожарным, то путешественником, попавшим на плавучую льдину, то Робинзоном.

Особенно запоминались праздники. На Рождество, в сочельник, после тщательной уборки в квартире натирали полы.

Здоровенный весёлый мужик Никита танцевал на одной ноге по комнатам с утра до вечера, возя щётками по полу и заполняя всю квартиру скипидарным запахом мастики и собственного пота. Потом тот же Никита приносил с базара высокую пышную ёлку. Ёлку укрепляли в спальной, и она, оттаивая, наполняла квартиру уже другим запахом — запахом хвои, запахом Рождества. Этот запах заглушал мастику. Старый кот Кануська подозрительно глядел на ёлку, долго и тщательно обнюхивал её, немилосердно чихая при этом. На кухне одна из Наталий варила обед, или, вернее, ужин, потому что в этот день ничего нельзя было есть до вечерней звезды. Это не мешало мне, конечно, воровски наедаться всяких вкусных вещей, которые пеклись и жарились к ужину и которые я виртуозно таскал из буфета под самым носом тётки и кухарки. А в шесть-семь часов вечера, когда сгущались сумерки, высоко в темно-синем украинском небе — прямо над большим тополем во дворе — зажигалась звезда. Крупная, нежно-зеленоватая, единственная на фоне быстро темнеющего неба.

— Это моя звезда! — сказал я себе однажды и с тех пор часто смотрел на неё вечерами, отыскивая её первую на вечернем небе. Я разговаривал с ней, поверяя ей все свои детские планы и желания, а она тихо мерцала своими золотыми ресницами, точно во всем соглашалась со мной. Потом я уехал из Киева и потерял её. И теперь, как-то попав в Киев, я пошёл на эту квартиру и уже не нашёл ни садика, ни тополя, ни звезды…

Итак, в семь часов подавали ужин. На первое был украинский, или, как его называли, «гетманский», борщ. Подавали его в холодном виде. Был он, конечно, постный, без мяса. Приготовленный на чистом подсолнечном масле. В нем плавали «балабушки» — маленькие шарики из молотого щучьего мяса, поджаренные на сковородке, потом маленькие пельмени, начинённые рублеными сухими грибами, потом маслины и оливы, потом жаренные опять же в подсолнечном масле небольшие карасики, вывалянные в муке. Ещё к борщу подавались жареные постные пирожки с кислой капустой, или с кашей, или с грибами. На второе была огромная холодная рыба — судак, или карп, или щука. Потом шла кутья. Рисовая кутья с миндальным и маковым сладким молоком в высоких хрустальных кувшинах и взвар, или «узвар», из сухих фруктов, и ещё компот из яблок, чернослива и апельсинов. Что это был за ужин! Нельзя было оторваться от него! В столовой потрескивал камин, за белыми оледенелыми стёклами окон, разрисованными китайскими причудливыми узорами мороза, смутно качались деревья в саду, седые и мохнатые от инея и снега. И я, маленький, глупый и нежный, но уже поэт — писал:

И в снегах голубых за окном,
Мне поёт Божество!

Да, воистину, это пело Божество. Это был зимний рождественский гимн!

Потом зажигали ёлку. Убирали её заранее. Сначала вешали на неё крымские румяные яблочки, потом апельсины и мандарины на красных гарусных нитках, потом золотые и серебряные орехи, потом хлопушки, потом конфеты и пряники — все по порядку, потом игрушки, а под самый конец — свечи. Ёлка стояла нарядная, огромная, до потолка, и была похожа на какую-то древнюю царицу, разубранную в жемчуга и парчу, гордую и прекрасную. Я долго смотрел на неё, пока не догорали свечи и комнаты не наполнялись особым угарным дымком от чуть подожжённых веток и запахом парафина. Потом ёлку тушили, и все шли спать. А я ещё долго ворочался на своём деревянном сундуке в передней, где я спал на твёрдом солдатском ковре, и мечтал… О чем? Уже не помню.

Ночью, когда все засыпали, я тихонько вставал и таскал апельсины, конфеты и пряники, которые и съедал тут же, вынимая из-под подушки…

Напротив нас жила семья Держинских. Старшая из их дочерей, Танечка, хрупкая и нежная, была больна ревматизмом в очень тяжёлой форме и еле передвигалась с помощью палки, а младшая, Ксеша, наоборот, была крупной и здоровой девушкой. Таня ничего не делала, занималась только, кажется, музыкой, а Ксеша училась петь у преподавательницы пения флоры Паш. Впоследствии Ксеша стала, как, вероятно, вы знаете, прекрасной певицей Большого театра — Ксенией Держинской. Она умерла недавно[1]. Я встречался вначале с ними по-соседски, в палисаднике, и даже был принят у них в доме. Но по мере своего «падения» стал видеть их все реже и реже. В дом к ним меня уже не пускали как опасного, дурно влияющего на девушек молодого человека. Потом я вообще исчез с их горизонта и встретил Ксешу только в 1948 году, вернувшись на родину из-за границы, уже известной певицей, незадолго до её смерти. Тани я так и не видел с тех пор. А когда-то я был в неё немножко влюблён. Впрочем, не я один. Были там в колонии благовоспитанные мальчики Саша и Ваня Ватагины, учившиеся на золотые медали, которых мне постоянно ставили в пример и которых я за это ненавидел. Они тоже были неравнодушны к Тане.

Вот и все почти о нашей колонии. Собственно, ничего интересного в ней не происходило.

Впрочем, одну забавную историю я все же хочу рассказать.

У нас в доме жила четвёртая, или, вернее, первая, самая старшая из сестёр моей матери — тётя Соня. Была она уже очень пожилой и, кроме того что отличалась совершенно невыносимым характером, была ещё почти совсем глухой от рождения. Жила она в тёмной конурке, отгороженной перегородкой от передней, где умещались только её кровать и сундук. Вот этот сундук с раннего детства был предметом моего любопытства. Но тётя Соня не любила открывать его, а тем более показывать кому-нибудь его содержимое. Был он изнутри весь оклеен картинками, которые и привлекали моё любопытство.

Эти лубочные картинки обычно продавали шарманщики, бродившие по дворам, и стоили они пятачок штука, причём вдобавок ещё давалось напечатанное «предсказание судьбы». Их обычно покупали кухарки, желавшие узнать, чем же кончится их роман с пожарником или городовым, горничные и модистки, влюблённые в приказчиков галантерейных магазинов или военных писарей, знаменитых сердцеедов того времени. А картинки были яркие и ядовитые: «Вот мчится тройка почтовая», «Лихач-кудрявич», «Маруся отравилась», «Бой русских с кабардинцами» и т. д.

Заметив, что тётя Соня полезла в сундук, я вертелся возле неё до тех пор, пока она меня не выгоняла из своей каморки.

Кроме этого волшебного сундука, я ещё очень любил её маленький, почти игрушечный самоварчик, который она ставила всякий раз, когда была не в духе или в ссоре с тётушкой, чтобы не иметь ничего общего с «проклятой машкурягой», как называла Марью Степановну в минуты гнева. Самоварчик этот был предметом моего восторга с самых детских лет. Он кипел по-настоящему и уютно урчал, пуская струи пара. Чай и сахар у тёти Сони всегда были, и, отрезав краюху хлеба на кухне, она аппетитно пила свой собственный чай, проклиная всех и все на свете. Иногда и мне перепадала чашка из этого самоварчика. Она ненавидела почему-то баранину и считала, что её готовят иногда к обеду специально ей назло. Причём это было всякий раз, когда к обеду подавали телятину. Она плевалась и ругалась и отказывалась от обеда. Зато когда действительно подавали баранину, она её ела с большим аппетитом и говорила:

— О це́ добра телятина!

Каждый год на Крещенье она ходила к Днепру на водосвятье и приносила оттуда большую винную бутылку свяченой воды. Мы все, конечно, выпивали по глотку, но много ведь воды не выпьешь, а выливать нельзя — грех! И она её прятала куда-то. Я имел счастье быть с ней в приличных отношениях. Мне она

жаловалась на свои невзгоды и «притеснения» Марьи Степановны, и, главное, я разговаривал с ней, тогда как другие не любили кричать ей на ухо, и поэтому она ничего не знала и жила бы в вечной тишине, если бы не я. Меня же она ещё жалела как сироту и даже плакала, когда меня лупили. Однако к сундуку меня не допускала.

— Умру — все тебе останется! — говорила она.

Умерла она не скоро. Я уже давно уехал и жил за границей, когда до меня дошло известие о её смерти. Ей было около восьмидесяти лет. В сундуке её, который она, согласно обещанию, завещала мне, нашли сорок бутылок свяченой воды. Все же раз в жизни я получил наследство!

Кроме родных тёток, сестёр матери, имелись у меня ещё и двоюродные. Их было довольно много. Я запомнил хорошо только двух — тётя Маню и тётю Саню. Обе были помещицы. Одна побогаче, другая победнее. Та, что победнее, тётя Маня, была худая и нервная старая дева. Жила она на хуторе «Озерище» в небольшом именьице, где был деревянный, довольно старый дом, в котором скрипели половицы, и небольшой флигелёк. Вокруг росли яблони и вишни, тоже старые, был широкий двор с амбарами — «клунями», как их называют на Украине, огороженный тыном, со скрипучими воротами, и дальше влево — скотный двор, всегда грязный от навоза, где находилась большая изба для работников. Там же была и конюшня. На конюшне стояло пять-шесть лошадей. Одна, которая звалась Мужик, была настолько доброй, спокойной и благодушной, что на ней позволяли кататься детям чуть ли не с пяти лет. Её седлали, и я мог целыми днями кататься по двору или по лесу. Правда, при всей своей терпеливости, она иногда возмущалась столь неопытным и требовательным седоком и вдруг отказывалась идти дальше. Тогда она останавливалась посреди двора, и никаким кнутом уже нельзя было её сдвинуть с места. Оставалось только одно — слезть, что я и делал. Тогда она весело убегала в конюшню.

Семью тёти Мани составляли отец её, Михаил Петрович, отставной армейский полковник, больной, старый и раздражительный, с резким, крикливым голосом. Он был ревматик. У него тряслись руки и ноги так, что его надо было водить и кормить с ложки, потому что попасть ложкой в рот он не мог. Он был довольно добродушный человек, хотя и орал целый день на девок, красивых, глазастых, языкастых и лукавых, с чудесными певучими, переливчатыми украинскими голосами. Девчата его нисколько не боялись, но красота и молодость их, по-видимому, его раздражали. Бабушка — обыкновенная

кругленькая старушка, которая, как все украинские хозяйки, была большой искусницей в приготовлении всякого рода наливок, вишнёвок, черносмородиновок, малиновок и настоек — то на зверобое, то на почках берёзы или смородины, то на шалфее или мяте. Настойки предназначались для лечения всех болезней, вплоть до коликов и прострелов в пояснице. Докторов тогда было очень мало, и жили они далеко, в уездных городах, а до любого города скачи — не доскачешь. Поэтому вся медицина и фармакопея были домашними.

Гордостью её продукции были два напитка: варенуха и спотыкач. Варенуха готовилась так. Сначала варились травы. Какие? Это знала только одна она. Потом добавлялся мёд, потом взвар из сухих фруктов. Все это смешивалось, в смесь добавлялась водка или спирт, потом процеживалось через кисею и разливалось по бутылкам. Вкус у этого напитка был небесный! Такая бутылка иногда вынималась вечером из чуланчика, к ней подавались печёные яблоки, и… Остальное вам ясно. А другим шедевром был спотыкач. Делался он просто. Когда из большой «сулеи» сливали наливку и разливали её по бутылкам, то оставшиеся в ней ягоды заливались тёпленькой водой. Ягоды «отходили» в воде и выпускали из себя весь спирт, который они в себя впитали. Спотыкач был крепче всех настоек на водке и буквально валил с ног.

Бабушка ещё отлично варила, пекла и жарила всякие вкусные вещи: паляницы, кныши, оладьи, пироги — постные и скоромные, блины, кулебяки и пр., коптила гусей, мариновала грибы, делала летом изумительную окрошку из раков. А вареники с вишнями и сметаной? А цыплята, фаршированные пшеном? А зимой, к Рождеству, когда кололи кабана, бабушка готовила украинскую колбасу крупной резки, которую держали слегка обжаренную предварительно на сковородке в растопленном сале, и она сохранялась долго, всю зиму, и по мере надобности от её колец отрезали кусок и жарили с луком и салом. Из крови делали кровяную колбасу. Кишки, начинённые гречневой крупой или пшеном, подавались к борщу горячими, прямо со сковороды, потом шли всякого рода заливные и студни. А в кладовках зимой целыми огромными пластами висело сало, розовое с коричневыми прожилками, мягкое и вкусное, в особенности с чёрным хлебом и чесноком или луком. Иногда братья уезжали в ночное, чтобы развлечься, и всегда брали с собой это сало. Как вы понимаете, я увязывался за ними. А какую ветчину запекала в ржаном тесте бабушка, кладя под него лёд! А медвежьи окорока, а седло дикой козы!

Да разве перечислить все, что умела готовить эта чудесная

старушка! Большая была хозяйка! Теперь уже нет таких. Время не то! Некому этим заниматься, да и не у кого учиться.

Вспоминая, только расстраиваешься и ещё, не дай Бог, накличешь такой аппетит, что и насытить нечем. То ли дело теперь. Купишь двести граммов ветчины, простояв за ней часа два и наслушавшись всяких ядовитых словечек от баб:

— Куды лезешь? Моя очередь!

— Позвольте, гражданка, я уже час тут стою. Все видели.

— А я, может, тут и ночевала. У меня, может, инвалидность первой степени. А он лезет! Тоже хам какой-то!

— Позвольте, но зачем же оскорбления? Ведь я же вас ничем не оскорблял…

Но она не слушает.

— Надел жёлтые ботинки и думает, что он у себя в Лондоне! Тоже — барон… и т. д.

Затолканный, оскорблённый, измученный, зажмешь наконец эту ветчину, принесёшь домой, а она уже в рот не лезет. И думаешь: «Нет, лучше чаю попить с хлебом». Бог с ними, этими гастрономическими изысками! Век такой. Все торопятся, все спешат, наступают на ноги. Бабы злые, как оводы.

А раньше жили не спеша. Выходили замуж, рожали детей в более или менее спокойной обстановке, болели обстоятельно — лёжа в постели по целым месяцам, не спеша выздоравливали и почти ничем, кроме хозяйства, не занимались. Без докторов, без нудных анализов, без анкет.

Наша нянька, заболев, на вопрос «Что с тобой?» отвечала всегда одно: «Шось мене у грудях пече». А болезни-то были разные.

Умирали тоже спокойно. Бывало, дед какой-нибудь лет в девяносто пять решал вдруг, что умирает. А и пора уже давно. Дети взрослые, внуки уже большие, пора землю делить, а он живёт. Вот съедутся родственники кто откуда. Стоят. Вздыхают. Ждут. Дед лежит на лавке под образами в чистой рубахе день, два, три… не умирает. Позовут батюшку, причастят его, соборуют… не умирает. На четвёртый день напекут блинов, оладий, холодцов наварят, чтобы справлять поминки по нем, горилки привезут ведра два… не умирает. На шестой день воткнут ему в руки страстную свечу. Все уже с ног валятся. Томятся. Не умирает. На седьмой день зажгут свечу. Дед долго и строго смотрит на них, потом, задув свечу, встаёт со смертного одра и говорит: «Ни! Не буде дила!» И идёт на двор колоть дрова.

А теперь?

Не успеешь с человеком познакомиться, смотришь — уже надо идти на его панихиду! Люди «кокаются», как тухлые яйца. У

всех склерозы, давления, инфаркты. И неудивительно. Век такой сумасшедший. От одного радио можно с ума сойти. А телефоны? А телевизор? А всякие магнитофоны? Ужас! Кошмар! И все это орёт как зарезанное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья! И везде: в собственном доме, на улице, в магазинах, в учреждениях, у соседей. Где хотите. И заметьте, что это просто садизм какой-то. Люди иногда даже не слушают, например, радио, а выключить не позволяют: «Пусть говорит». — «Зачем?» — «Так…» Они точно боятся, что если оно замолчит, то будет хуже. Не дай Бог, ещё что-нибудь случится. Сплошное засорение мозгов какое-то! Ни почитать, ни подумать, ни сосредоточиться невозможно.

А вечером дети садятся за телевизор, выгнав главу семьи из кабинета, и сладкие, приветливые, «очень миленько» причёсанные телетети начинают рассиропливать какую-нибудь копеечную историю с «музычкой» и танцами или показывать захудалый фильм двадцатипятилетней давности, где играют молодые актрисы, которые уже, слава Богу, старухи, которых уже побросали четвёртые мужья и которые никак не могут бросить сцену. И вы думаете: «До чего же эта корова Закатайская была когда-то худенькой и хорошенькой!» И прямо диву даётесь.

Я ненавижу телевизор. Из-за него приходится выкидываться из кабинета уже в семь часов вечера: приходят подружки дочерей. Я собираю свои несчастные листки и черновики и иду покорно в столовую — работать. Если там не гладят и не кроят. Пристроившись где-нибудь на уголке, я с трудом выковыриваю из головы какие-то «воспоминания», крепко закрыв три пары дверей, чтобы не слышать, как уважаемые товарищи по искусству орут благим матом, изображая волевых людей и героев!

За что мне сие?.. Даже разложить свой материал на столе нельзя как следует. Стол завален учебниками. Трогать их нельзя. Дочки вернутся после телевизора доделывать уроки и т. д.

А меня сейчас уговаривают купить магнитофон. Нет! Дудки! Через мой труп!

Так вот, раньше ничего этого не было и в помине. Помню, был у тёти Мани на хуторе музыкальный ящичек, который играл две-три песенки, да и тот был сломан…

Вторая моя тётка, тётя Саня, жила побогаче. У неё было именьице — хутор «Моцоковка», около Золотоноши. Фруктовый сад занимал пятьдесят десятин и был её гордостью. Там росли яблони всех сортов — ранеты, антоновка, золотой пармен, кальвиль и другие сорта; груши бэра, дюшес, принц-мадам, лимонные, бергамоты; была клубника «виктория», ананасная, лесная и пр.; смородина, крыжовник, малина белая и красная;

розовая и белая черешня; шпанка — бледно-красная вишня с косточкой, которая была видна насквозь; вишня чёрная, крупная, сладкая и кислая; абрикосы, морели, персики. Перед домом были разбиты клумбы. Каких цветов только там не было: и резеда, и флоксы, и маргаритки, и астры, и бегонии, и гладиолусы, и низко стелющиеся по земле разноцветным ковром декоративные растения, и герань, и сирень, и хризантемы, и георгины, и мальвы, и жасмин, и кручёные панычи, лиловые, как колокольчики, которые вились вокруг окон и беседок и закрывали весь фасад дома, и гиацинты, и розы. Всех сортов розы — огромные, величиной с чашку, и мелкие, вьющиеся, чайные, бледно-жёлтые, разливающие к вечеру свой аромат, и белые, почти голубые, без запаха, чистые и прекрасные, как католические девственницы-монахини, гордые и холодные в недоступной красоте своей.

На конюшне стояли кони, их было штук десять: одни для верховой езды, другие — для упряжки. Были фаэтон, коляска на рессорах, шарабан и линейка. Все это прельщало и восхищало мой детский ум, и я мог целыми днями торчать на конюшне, наблюдая, как чистят, кормят и прогуливают лошадей.

А обеды… У тётки был повар Леонтий. На первое, например, он подавал украинский борщ из свежей капусты, затолченный салом и чесноком, с молодыми голубями, фаршированными пшеном с укропом. Голубей вынимали из борща и подавали на блюде. Потом были караси в сметане из собственного «ставочка», потом какая-нибудь тетёрка или дрофа, которых подстрелили кузены, потом мечта всей моей жизни — вафельный пирог с малиновым вареньем и сбитыми сливками. Я отъедался вовсю: ведь в городе у тётки я вечно был голоден. Часто едва вставал из-за стола. А через два-три часа снова хотелось есть!

Тётка Саня была добрейшая и милейшая тётушка. Полная, рыхлая и добродушная, она уютно сидела на том месте, на которое посадила её судьба.

В июле в «Моцоковку» к концу полевых работ, когда весь урожай уже бывал снят и тётка ждала покупателей, приезжал старый еврей Шевель, худой, длинный, с кнутовищем в руке и в долгополом пыльнике. Он подолгу сидел с тёткой в гостиной, торгуясь с ней мягким, тёплым и ласково-убедительным голосом, бил «на чувство», разжалобливая её описанием своих бед и несчастий, и покупал весь урожай за полцены — за какую-нибудь тысячу-две рублей. Тётка, давно не видевшая денег, была весьма им довольна и отказывала из-за него другим покупателям. Шевель был тонкий сердцевед, и тётка к нему благоволила. Кроме того, у него всегда можно было одолжить пару сот рублей

в счёт будущего урожая.

Много милых сердцу воспоминаний связано у меня с «Моцоковкой». Помню, однажды я приехал туда перед Пасхой. Была звонкая, голубая, стеклянная весна. Пасха была в апреле. Уже прилетели журавли, и на крыше старой «коморы» появился первый одинокий аист, озабоченно заготовлявший гнездо для своей семьи. Целыми днями он таскал в клюве сухие ветки и прошлогодние листья, как заботливый муж, которому жена поручила заранее приготовить квартиру к переезду. Уже степенно ходили за плугом по борозде в поле солидные и серьёзные грачи и поедали червей, уже в солнечные дни где-то очень высоко в небе кувыркался невидимый жаворонок. Набухали почки сирени в саду, распускалась верба над прудом.

Старые, общипанные галки и вороны, намёрзшиеся за зиму, чистили свои мокрые перья, сидя на плетнях, и хрипло кашляли, как ночные сторожа, греясь на солнце и оживлённо болтая на своём птичьем языке. А в небе тоже шла предпраздничная уборка. Там передвигали, выбивали и выколачивали огромные белые перины облаков, на которых, вероятно, всю зиму спали ангелы.

К заутрене ездили в Песчаное, за двадцать вёрст, в маленькую деревянную церковь — к отцу Ионе. Служба была длинная и торжественная. Сочно гудел чудесный украинский хор, состоявший из дивчат и парубков. В двенадцать часов ночи пели «Христос воскресе» и обходили крёстным ходом вокруг церкви. Потом отстаивали раннюю обедню и ехали большой компанией со священником к нам, в «Моцоковку», разговляться. В гостиной уже ждал огромный стол, накрытый скатертью и украшенный гирляндами зелени. Чего-чего на нем только не было! И поросята, и индейки, и гуси, и куры, и медвежий копчёный окорок, и ветчина, запечённая в тесте, и вазы с яйцами всех цветов — от красных и синих до цвета майского жука, серебряных и золотых, и целый холодный осётр на блюде с куском салата во рту, и сырные пасхи — шоколадная, сливочная, лимонная, запечённая ванильная, и кренделя, и торты, и вазы с фруктами, и конфеты, и пирожные. Между всеми этими яствами трогательно поднимали свои головки нежные ранние гиацинты — синие, голубые, розовые, жёлтые. Было шумно и весело. Было много молодёжи. Барышни — дочери окрестных помещиков и земской интеллигенции, разодетые в кисейные белые платья, — долго вертелись перед зеркалами, охорашиваясь и поправляя причёски и бантики, наконец рассаживались по порядку. По соображениям, ей одной известным, тётя рассаживала будущих женихов и невест рядом, на одном конце стола, а стариков отдельно — на другом. Кузены выбирали себе, конечно, самых интересных девиц.

Насколько мила и добра была тётя Саня, настолько сыновья её (мои кузены) были типичными помещичьими сынками.

Старший, Володя, учился в Киеве в аристократическом закрытом заведении — коллегии имени Павла Галагана. Принимали туда только юношей дворянского происхождения, и жили они на ьолном пансионе в прекрасном особняке с садом на Фундуклеевской улице.

Это учебное заведение было предметом моих детских мечтаний. Почему? Во-первых, потому, что кормили там чудесно, а во-вторых, потому, что формой был штатский чёрный костюм с белой рубашкой и галстучком и штатское чёрное платье, и только на чёрной же мягкой фуражке был золотом вышит герб заведения «К. П. Г.». Нас, гимназистов, не пускали ни в оперетту, ни в шантан, ни в ресторан, а они ходили куда им угодно в своём штатском платье и только фуражку прятали в карман пальто. Без фуражек это были вполне штатские молодые люди. Денег у них было много, и они кутили по ночам, шляясь по всем кабакам Киева, и, хотя в двенадцать ночи им полагалось находиться в постели, они входили в стачку со сторожами и педелями и возвращались в свой дортуар под утро через окно. В этом даже были своего рода пикантность и молодечество, и они об этом рассказывали не без гордости. Учились там, конечно, плохо. Отношение к этим жеребчикам было сверхгуманное, и они свободно переходили из класса в класс. В нашей гимназической демократической среде они были предметом зависти и восхищения. Володю и Серёжу тётя Саня, конечно, определила туда, ибо ни в одну гимназию они не смогли бы попасть при своих скудных знаниях.

Серёжу скоро из коллегии выгнали — это был настоящий недоросль, ненавидевший ученье вроде меня, а Володя закончил коллегию и поступил в университет, продвигаясь неуклонно вперёд при помощи товарищей, бедных студентов, которые за деньги держали за него экзамены. В конце концов Володя стал прокурором, а Серёжа женился на дочери псаломщика и остался в имении «разводить овечек». Через год-два женился и Володя на дочери жандармского генерала Захариящевича.

Расставшись с ними задолго до революции, я уже больше никогда их не видел.

Рано или поздно лето кончалось, и надо было возвращаться в Киев. В городе жилось мне, в общем, плохо. Из гимназии меня то и дело выгоняли. Ботинки мои, да и гимназическая форма изнашивались довольно быстро. Я носил фуражку с гербом гимназии, где цифра 4 (четвёртая) была уже выломана и оставались одни дубовые листики. Обыватели смотрели на меня с

презрением. В Киеве на Подоле, на Александровской улице, был целый ряд магазинов готового и подержанного платья и обуви. Приказчики были стопроцентные жулики и «жучки». Они стояли перед дверьми своих магазинов, прямо на улице, и ловили покупателей.

— Пани́ч! Купите диагоналевые бруки! — кричали они и хватали за фалды прохожих, таща их в свои магазины. Сопротивляться было невозможно.

— Мне не нужны брюки! — пробовали вы защищаться.

— Тогда купите дров!

— Ну зачем мне дрова?

— Тогда купите гроб! — издевались они.

— Смотри на него! Что он хочет? — удивлённо пожимая плечами, спрашивали они друг друга. — Псих какой-то! Не знает, что ему надо!!

А мне ничего не было надо, вот и все. У меня не было денег ни на брюки, ни на дрова. А если уж удавалось скопить рубля полтора и я шёл к ним, чтобы купить подержанные ботинки, ибо мои совсем уже расползались, то, будьте уверены, они всучивали мне абсолютную дрянь, кое-как подклеенную картоном и замазанную чернилами. Ботинки эти распадались через полчаса. Ох, жулики, жулики! Царство вам небесное! Прощаю вас ото всей души. Спасибо вам за детство, за то, что мне есть что вспомнить! Киев, Киев, дорогой мой и любимый Киев!

Раз в году, в феврале, была так называемая «контрактовая ярмарка», на которую съезжались купцы и фабриканты для заключения сделок и договоров на поставки товаров, Территория под эту ярмарку отводилась на том же Подоле. Чего-чего туда только не навозили! Ковры, сукна, материи, шелка, посуду, меха, полотно, белье, кисею, бархат, обувь, золото, серебряно-ювелирные изделия, драгоценные камни, духи… и мыло — яичное, сосновое, земляничное, дегтярное, туалетное, издававшее резкие, бьющие в нос запахи на всю площадь. Продавали его казанские татары в тюбетейках.

Продавцы ковров из Армении, любезные и ласковые, бойко зазывали женщин, играя красивыми чёрными глазами с длинными, почти женскими ресницами. Какие-то восточного вида торговцы — пальцы сплошь унизаны кольцами — ловко раскладывали шелка перед восхищёнными дамами, щедро разбрасывая свой товар на прилавке.

Старые сивые украинцы с чубами времён Запорожской Сечи торговали глиняной посудой — «макитрами», кувшинами, мисками, горшками, расписными «кониками».

Приезжие персы продавали халву всех сортов, рахат-лукум,

заливные орехи, миндаль и фрукты в сахаре.

Духи, одеколоны, пудру, помады всех цветов, восхваляя их качества, продавали какие-то одесситы.

— Оренбургские пуховые платки, косынки, ситец, кумач, полотно! — исступлённо кричали приказчики.

В балаганах зазывалы показывали «женщину с бородой» и «сросшихся близнецов».

Все это гудело, орало, свистело, требовало, звало, уговаривало:

— Тульские пряники!

— Казанское мыло!

— Астраханские сельди!

— Саратовские сарпинки!

А надо всем этим стоном, ором и звоном отчаянными воплями захлёбывались «умирающие черти».

И высоко в голубое небо улетали неожиданно оторвавшиеся разноцветные воздушные шары. Мы бродили по ярмарке целыми днями и вместо того, чтобы идти в гимназию, весело проводили время, радостно впитывая в себя весь этот весенний шум и гам и разглядывая яркую, залитую солнцем толпу.

Там же, на Подоле, несколько в стороне, стоял каменный двухэтажный дом. Это был знаменитый «контрактовый зал». Днём в нем кипела торговая жизнь, заключались и оформлялись разного рода сделки, а вечерами зал этот сдавали под любительские спектакли за десять рублей в вечер. Контрактовый зал стал моей «актёрской колыбелью», если так можно выразиться.

Среди киевской молодёжи было много молодых людей и девиц, которым безумно хотелось играть, то есть главным образом показывать себя на сцене. Мы шли на все ради этого. Складывались по грошам, снимали зал, брали напрокат костюмы (в долг), сами выклеивали на всех заборах худосочные, маленькие, жидкие афишки… и играли, играли, играли. Чего мы только не играли! За что не брались! И «Казань» Григория Ге, и «Волки и овцы» Островского, и фарсы вроде «В чужой постели», и даже «Горе от ума»!

Билеты распространяли сами, распределяя их среди родственников и знакомых, ибо кто же из так называемой «широкой» публики решился бы посещать наши представления, прельстившись этими афишками? Кого могли заинтересовать звонкие псевдонимы неопытных и отчаянных юнцов, очертя голову бросающихся в этот таинственный и манящий омут.

Мы «докладывали» до каждого спектакля. То есть что значит «мы»? Нам «докладывать» было не из чего. И выручали нас,

конечно, все те же многотерпеливые родители и родственники некоторых из «актёров» и «актрис», со вздохами вынимавшие последний засаленный рубль, который у них долго и упорно выклянчивали и который безжалостно слизывала языком ненасытная корова искусства. Многие из широко известных ныне актёров обязаны этому дому своей карьерой. В нем начинали, например, Светловидов, Владиславский — из Малого театра. Были, конечно, в нашем кружке и молодые люди, вовсе не одарённые, но тем не менее они играли. Я помню, например, двух братьев Шиманских, которые играли часто, ибо у них были богатые родители. Они снимали театр и ставили спектакли, играли главные роли, приглашая нас на подмогу. Это тоже было нам на руку. Главное было — играть! А что и какие роли — это не имело значения. Братья смело кидались на «Разбойников» Шиллера, на ибсеновского «Бранда», на «Ревизора». Доходили чуть ли не до «Гамлета». Причём говорили Шиманские с ужасающим польским акцентом. Были талантливый актёр Персион, бездарный Сашка Муратов и ещё многие другие, имена которых я позабыл. Женщин я что-то не помню. По-видимому, особых талантов среди них не было. А может, и были, но не пошли потом дальше по этой дороге — повыходили замуж и не попали на сцену.

Было и ещё одно место, где мы могли разворачиваться. Это все на том же Подоле. «Клуб фармацевтов».

Статистикой уже доказано, вероятно, что наибольшее количество любителей всякого рода искусств — от поэзии до театра, живописи и музыки — в прежнее время всегда выходило из среды людей, принадлежавших к почтённой профессии фармацевтов. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что профессия очень уж скучная и выписывать латинские рецепты микстур и порошков, конечно, менее интересно, чем декламировать стихи Бальмонта или сонеты Петрарки. А дальше? Потом? Торчать дни и ночи за прилавком аптеки и отпускать клиентам слабительные, клизмы и различные резиновые изделия. Не такое уж это завидное дело! Да ещё надо принять во внимание то тяжёлое время! Проблема правожительства для евреев, в особенности для молодёжи, была очень важной — от её решения зависела возможность получить образование. Но куда мог пойти учиться еврейский мальчик в царское время? В гимназиях был установлен для еврейских детей строго ограниченный процент, в университетах и технических училищах — тоже, в больших городах и столицах евреи без высшего образования или высокого имущественного ценза могли жить только в определённых районах. Учившимся же в зубоврачебных школах и на курсах

фармакологии жить в Киеве разрешалось. Вот почему почти все еврейские юноши были фармацевтами, а все эти красивые девушки, в которых мы влюблялись и за которыми ухаживали, были ученицами зубоврачебных школ.

Все эти молодые люди смотрели на свою учёбу как на вынужденный компромисс. Возможность посвятить себя искусству давала надежду избавиться от перспективы стать дантистом или фармацевтом. Вот почему они носили широкополые «испанские» шляпы и чёрные прорезиненные плащи-накидки с золотыми львами в виде застёжек, в коих имели весьма поэтичный и артистический вид. Впечатление усугубляли ещё художественные бархатные куртки с пышными, небрежно повязанными бантами. Они поступали в драматические и оперные школы, параллельно учась, так сказать, «на артистов». Иным из них мешал, правда, акцент и чрезмерный темперамент. Но в конце концов все это было поправимо. Важно было как-то причаститься к искусству!

Мы, киевляне, над ними, по правде сказать, немножко посмеивались, но в общем жили с ними дружно. Киевская еврейская публика была очень отзывчивой на всякие виды искусства. Это, собственно, была главная театральная публика, потому что мои дорогие сородичи-хохлы были ленивы и не очень-то посещали театры.

Так вот, на Подоле был «Клуб фармацевтов», где по субботам устраивались семейные Журфиксы. Тут выступали все киевские молодые таланты. Сцена была открыта для любых выступлений.

Это было нечто вроде теперешней нашей самодеятельности, с той только разницей, что нас никто не субсидировал и никто нами не руководил. Но зато каждый мог продемонстрировать на эстраде клуба свои способности и, если окончательно не проваливался у публики, мог выступать там время от времени. Помню, как я, благополучно распевавший дома цыганские романсы под гитару, вылез в первый раз в жизни на сцену в этом клубе. Должен был я петь романс «Жалобно стонет». За пианино села весьма популярная в нашем кругу акушерка Полина Яковлевна, прекрасно аккомпанировавшая по слуху.

Я вышел. Поклонился. Открыл рот, и спазма волнения перехватила мне дыханье. Я заэкал, замэкал… и ушёл при деликатном, но гробовом молчании зала. Так неудачно закончилось моё первое сольное выступление.

Вы думаете, это остановило меня? Ничуть!

В следующую же субботу я появился на той же эстраде в качестве рассказчика еврейских анекдотов и сценок, мною самим сочинённых в итоге пристальных уличных наблюдений на Подоле, возле магазинов готового платья.

На этот раз я имел большой успех.

Такого рода выступления, однако, не удовлетворяли меня. Я мечтал о театре — настоящем драматическом театре, в котором предполагаемый мой талант мог бы развернуться во всю мощь.

Но у меня, к сожалению, был один большой недостаток: я не выговаривал буквы «р», и это обстоятельство дважды чуть не погубило всю мою театральную карьеру. А началась она с того, что на моем горизонте возник вдруг гимназист восьмого класса нашей гимназии Жорж Зенченко. Убеждённый второгодник, просидевший в гимназии немало лет.

На вид ему можно было дать лет двадцать: высокий, статный и смазливый парень. Над верхней губой Зенченко пробивались пикантные чёрные усики. И все горничные и модистки Лукьяновки, на которой он жил тогда, были к нему неравнодушны. Предприимчивый и ловкий, большой комбинатор, он всегда был при деньгах. В гимназии мы, мальчишки, долго являлись жертвами его коммерции. Он продавал нам все что угодно — от финских ножей, которые, конечно же, должен был иметь в кармане каждый уважающий себя гимназист, до конспектов, папирос. На переменках в клозете он широко играл в «орлянку», причём почему-то всегда выигрывал. И вообще ему везло невероятно. Его боялись даже учителя. Так вот этот Жорж, каким-то образом попавший в Соловцовский театр, оказался там старостой статистов. Ему же принадлежало и право набора статистов. Условия, которые он предлагал, были коротки и предельно ясны:

— Я тебя возьму в статисты, но деньги за тебя буду получать сам.

Так говорил он каждому, желавшему поступить в театр.

А статисту в то время платили пятьдесят копеек за спектакль! И нас было человек пятьдесят—шестьдесят. А иногда и больше, если нужна была большая толпа. Все эти деньги шли в карман Зенченко, ибо мы готовы были на любые жертвы, чтобы только находиться в этом храме, возле волшебных лицедеев, которые потрясали нас своей игрой, дышать этим непередаваемым воздухом кулис, греться хоть издали у великого костра святого искусства!

Так что Зенченко мог жить припеваючи.

Но и этого ему было мало.

Когда он замечал, что у кого-нибудь из статистов появлялись какие-нибудь деньги, Зенченко вдруг подзывал его и снисходительно говорил:

— На будущей неделе я, может быть, дам тебе одну рольку. Там целых два или даже, кажется, три слова. А пока сбегай в

лавочку и принеси мне полбутылки водки, франзолю, четверть фунта ветчины и десяток папирос.

Денег на эти закупки он, конечно, не давал.

А труппа Соловцовского театра, которую держал тогда Дуван-Торцов, была очень сильной. Каких только актёров в ней не было! И Дмитрий Смирнов, и Булатов, и великолепный Неделин, и хрупкий, утончённый любовник-неврастеник Горелов, сын Владимира Николаевича Давыдова, потрясавший нас в роли Освальда в «Привидениях» Ибсена, и красавец Орлов-Чужбинин с музыкальным, певучим голосом.

и Двинский, и Вася Болховской, прекрасно игравший старого студента в модной тогда пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни», и Саша Крамов, и Багров, и Степан Кузнецов, блестящий и разнообразный актёр и довольно трудный человек.

Среди актрис были в этой замечательной труппе и вдохновенная Вера Юренева, неповторимая Психея в пьесе Жулавского «Эрот и Психея», или ибсеновская Нора, или Бронка в пьесе Пшибышевского «Снег». И «старуха» Токарева, и синеглазая красавица Елизавета Чарусская. И Пасхалова! Карелина-Рич! А обаятельные молодые актрисы, такие, как Ольга Волконская, Алексеева-Месхиева, Лидия Лесная, которая к тому же была и поэтессой! Да разве упомнишь все имена? Одно могу сказать — это была блестящая плеяда актёров.

С двух часов дня, когда заканчивались уроки в гимназии, мы уже дежурили на Николаевской улице возле театра. Это было время, когда актёры возвращались с репетиций домой. Мы простаивали часами, чтобы только взглянуть на них. Для нас это были полубоги. Мы не видели и не знали их в быту, в домашней обстановке, в личной жизни, мы видели и знали их только в спектаклях, в тех ролях, где они подымались порой до вершин своего мастерства. А как счастливы и горды были мы, если актёр, которому мы подобострастно кланялись на улице, любезно и вежливо кивал нам головой, узнавая знакомых статистов.

А ведь, кроме Соловцовского, были ещё и другие театры с другими актёрами. В театре «Бергонье», например, играла великолепная комедийная труппа. Там нередко гастролировали такие актрисы и актёры, как Грановская, Баскакова, Астрова, Мурский, Поль, Вронский, Вовка Блюменталь, у которого был какой-то необыкновенный талант играть все что угодно — и все играл чудесно. Он был невыносим порой в частной жизни. Уверенный в своей неотразимости и обаянии, в силе своего имени, он позволял себе черт знает что. Но покорённые киевляне все прощали ему за его редчайшее свойство «самовоспламенения» на сцене — в любой момент и в любой роли!

Был в Киеве и театр оперетты, который играл зимой в том же театре «Бергонье», а летом в саду «Шато-де-флёр». Звёздами оперетты были красавица Легар-Лейнгардт, Зброжек-Пашковская и Виктория Кавецкая. В мужском составе славились Греков, Августов, старик Блюменталь-Тамарин, комик, которому не было равных в стране. Помню, когда он выходил в оперетте «Вольф Пфефферкорн» на сцену в халате, весь обложенный газетами, которые торчали из всех его карманов, и только успевал дойти до авансцены — весь зрительный зал уже задыхался от хохота…

Великим постом на гастроли приезжали Вавич, Монахов, Невяровская, Щавинский и многие другие прославленные в Киеве артисты.

Всеми правдами и неправдами мы, молодёжь, пробирались на их спектакли, подкупая «недорогих» капельдинеров, на галёрку и умирали от восторга. Актёры «премьеры» пели, танцевали и одевались «сногсшибательно» — «шикарно»! И уходя с этих спектаклей, мы, молодые любители сцены, острее чувствовали своё ничтожество, понимая, что нам никогда не дотянуться до этих вершин.

А так и надо! Сравнение — великая движущая сила, которая побуждает нас к соревнованию и самосовершенствованию.

Летом в Купеческом саду, который существует и до сих пор, внизу, в маленьком деревянном театрике, играла украинская труппа. Саксаганский, Садовский, Карпенко-Карый, Заньковецкая (украинская Комиссаржевская, как её называли), Манько, Сагайдачный и многие другие чудесные, самобытные актёры составляли ядро этой труппы. Как играла «Наймичку» Заньковецкая! Четыре акта театр заливался слезами! Как смешил Саксаганский в роли парикмахера, авантюриста и жулика Голохвастого в пьесе «Крути, да не перекручивай»! Из-за одной его фразы: «Папаша! Это свинство», — произносимой с совершенно непередаваемым юмором, стоило смотреть эту комедию.

И даже в кафешантанах Киева, которых было три: «Олимп», «Шато-де-Флёр» и «Аполло», — были такие таланты, что приходилось только удивляться и восхищаться. Кто из старых киевлян не помнит Ю. Убейко, Сергея Сокольского, Бернардова, Н. Плинера, Г.Молдавцева — этих смешных и остроумных куплетистов?

Выступая то в традиционных отрепьях босяков, то во фраках, они приводили публику в восторг своим виртуозным мастерством, своим беспощадным юмором, своей тонкой наблюдательностью. Они вышучивали все. Неудачные пьесы, плохие книги, бытовые несуразности — издевались зло и умно

над тогдашними модами, над увлечением цыганскими романсами, над декадентщиной… Только одного из них я терпеть не мог — вульгарного и сального Сарматова.

А женщины? До сих пор в памяти звучат их громкие имена:

— Любовь Мирова!

— Регина де Бергони!

— Каринская!

— Кольчевская!

— Раисова!

— Тамара!

Не говорю уже о Вяльцевой, которая была выше всех. Как пели они! С какой душой, с каким чувством! Чувствительные киевские купцы плакали под утро пьяными слезами над их песнями, пропивая тысячи за одну ночь. И обожали их, поднося им веера из сторублевок, бриллианты и жемчуга, заставляя всю сцену корзинами цветов!

Да, Киев был театральным городом!

Боюсь всё-таки, что вы, дорогой читатель, заподозрите меня в излишнем пристрастии к ушедшим временам. Люди моего возраста обычно брюзжат, все порицая, и живут воспоминаниями, повернувшись спиной к сегодняшнему дню. Но я не из их числа. Я не живу, уткнувшись в прошлое носом и мыслями.

«За прошлое в ломбарде ничего не дают» — гласит старая немецкая пословица. Алексей Максимович Горький, как вам известно, выразился ещё точнее: «В карете прошлого — далеко не уедешь!» Альфред де Мюссе писал: «Прошлое — это старуха, которая наряжается в розовые платья». Какое же резюме из всего этого? Какой вывод? А вот какой: проводить эту огорчённую неудачей старуху из ломбарда до кареты, посадить её туда осторожно, стараясь не измять её розового платья, — и пусть катится куда хочет! Таково моё личное мнение. Ибо сегодняшний день и особенно завтрашний для меня гораздо важнее, интереснее и дороже. Искусство всегда в движении. В общем, я считаю, что в нашей бурной, торопливой и занятой жизни самое главное — это «добежать до кладбища вприпрыжку». Вот почему меня ужасно раздражают люди, живущие прошлым. Во-первых, они немилосердно скучны в своей неподвижности. Во-вторых, они безбожно врут и путают даты. Все уже перемешалось у них в голове. Знакомясь со мной за кулисами во время концерта или где-нибудь в вагоне поезда, они начинают разговор приблизительно так:

— Вы знаете, дорогой, я ведь вас ещё в девятьсот… затёртом году слушал в… Крыжополе! (Отродясь там не бывал!)

Я не даю ему кончить:

— Ну ещё бы! — говорю я. — Я ведь начинал ещё при Екатерине!

Или представьте себе даму лет шестидесяти пяти, которая, познакомившись со мной, с места в карьер начинает щебетать:

— Вы не представляете себе, маэстро, какая я страстная ваша поклонница. Ведь я была ребёнком, когда вы уже были знаменитостью. Я помню, мама била меня за то, что я бегала на ваши концерты.

Тогда, собрав все остатки хорошего воспитания, дрожащим от ярости голосом я отвечаю:

— Мне очень трудно, конечно, мадам, представить себе вас ребёнком. Боюсь все же, что мама била вас за другие провинности.

Так что имейте в виду — я не люблю людей своего возраста. А мемуаров я просто терпеть не могу и никогда ничьих не читаю. Они старят нас, актёров. И ещё я заметил, что когда человек напишет их — так обязательно в скором времени «кокнется», то есть отдаст концы. И если я решился написать эти воспоминания, то только под настойчивым давлением молодёжи, которая уже четырнадцать лет, как я вернулся, уговаривает меня написать книгу. А молодых я люблю. Мне приятно и весело с ними. Во всех своих поездках я окружаю себя молодыми людьми. И они, как галчата, разевают рты, слушая мои нескончаемые рассказы о моей долгой и, по правде сказать, небезынтересной жизни.

Впрочем, это лишь небольшое шутливое отступление. Так или иначе, но сейчас я должен снова вместе с вами, читатель, вернуться в прошлое.

Как-то великим постом, когда Соловцовский театр закрывался и актёры разъезжались на гастроли, в «Народном доме» на Большой Васильковской улице были объявлены выступления Бориса Путяты. Ставили «Мадам Сан-Жён». Путята играл Наполеона. Нужны были статисты. Зенченко, между прочим, взял и меня. Когда начались репетиции, потребовались два мамелюка для личной охраны императора, которые должны были неподвижно стоять, скрестив руки, у дверей его кабинета. Перед появлением Наполеона они возглашают по очереди только одно слово: «Император». Одним из этих мамелюков твёрдо решил стать я. Ведь это уже была роль! В ней можно было выдвинуться, думал я. Важно ведь только начать. Сказать наконец живое слово со сцены. А то статистом так и промолчишь всю жизнь. Я обратился к Зенченко. За три рубля эту «роль» он дал мне. Деньги были немедленно украдены мной из комода тётушки. Три дня и три ночи я не ел, не пил и на асе лады повторял:

— Император!

И вот первая репетиция. Путята приехал на неё, красивый, крепкий, стройный, в какой-то голубой венгерке и рейтузах, но с опозданием и не в духе.

Четвёртый акт. Кабинет Наполеона. Мамелюки стоят, скрестив руки, у дверей. Наполеон приближается. Сейчас он войдёт.

— Император! — возглашает первый мамелюк.

— Импеятой! — повторяю я вслед за ним.

— Что? что? — скривив лицо, переспросил Путята. — Это ещё что за косноязычный? — накинулся он на помрежа, — Кого вы тут наставили? Убрать немедленно!

И меня убрали.

Так сломалась моя театральная карьера.

Потом, много лет спустя, когда я уже был известен, а Путята был на склоне своей театральной жизни, мы с ним встретились в Харькове и очень подружились. Но я все же не мог простить ему этот инцидент.

А дома у тётушки дела мои стали совсем плохи. К тому времени меня уже окончательно выгнали из гимназии. Наступил 1905 год. Надвигалась первая революция. Молодёжь была начинена динамитом. Мы собирались в кружки на квартирах товарищей, читали нелегальную литературу, разносили по рабочим районам листовки и прокламации, слушали зажигательные речи ораторов. В Киеве взбунтовались сапёры. Мы ходили с кружками по городу, собирая для них деньги. Возле Еврейского базара в толпу стреляли войска. Было много раненых и убитых.

Время было такое, что если гимназист пятого класса умирал, например, от скарлатины, то вся гимназия шла за его гробом и пела: «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» Взрослые покачивали головами и растерянно уговаривали нас «подумать», «не спешить», «беречь себя» и пр. Но, в общем, что с нами делать. Тётка моя приходила в ярость.

— Мало того, что ты босяк, выгнанный изо всех гимназий, — говорила она, — так ты ещё хочешь, чтобы нас всех арестовали из-за тебя?

А ко всему я ещё и возвращался домой поздно. Спектакль кончался в 12 часов, и я стучал в дверь кухни уже во втором часу ночи. Пока дойдёшь с Николаевской на вокзал!

Добросердечные кухарки сперва открывали мне по ночам, и я, полузамёрзший и голодный, входил в тёплую кухню, доедал остатки ужина и пробирался на деревянный сундук в передней, укрывался старым гимназическим пальто и сладко засыпал непробудным сном молодости.

Но тётка сказала однажды:

— Где ты шляешься, там и ночуй!

И строго-настрого запретила кухаркам впускать меня в дом по ночам. Тщетно я стучался в окно кухни. Что было делать? Куда пойти? Где ночевать? Бросить театр я не мог. Это было выше моих сил. А друзей, у которых я мог бы переночевать, у меня не было. В саду стояла беседка. На зиму она запиралась на замок. В ней лежали грубые солдатские ковры. Выломав две штакетины в беседке, я влезал в неё и, закутавшись в эти ковры, засыпал на морозе. И мне было тепло. А утром я приходил на кухню и пил чай, умывался и приводил себя в порядок, как ни в чем не бывало.

В конце концов тётка все же выгнала меня из дому, и я стал ночевать в чужих подъездах, просиживая ночи на ступенях холодных лестниц. А потом… потом у меня завелись другие знакомые и друзья — молодые поэты, художники, литераторы. Я попал в среду богемы. Тут мне стало немного легче. Потому что почти всем нам было одинаково плохо, мы делились друг с другом всем, что у нас было, и жили как-то сообща.

Юность в Киеве

В 1912 году в журнале «Киевская неделя» был напечатан мой первый рассказ — «Моя невеста». Рассказ был написан в модной тогда декадентской манере и оказался довольно заметным на фоне киевской беллетристики. Потом появился второй — «Папиросы «Весна» — в том же стиле. Потом одна из киевских газет, «Отклики», взяла у меня рассказ «Лялька». Обо мне уже стали поговаривать как о подающем надежды молодом литераторе.

Тут я попал в один хороший литературный дом, о котором на всю жизнь сохранил самые тёплые воспоминания. Это был дом Софьи Николаевны Зелинской, преподавательницы женской гимназии, очень образованной и умной женщины. У неё собирался весь цвет интеллигенции Киева. Мужем её был Н. В. Луначарский, брат Анатолия Васильевича Луначарского. Софья Николаевна приняла во мне дружеское участие. Меня подкармливали в этом доме, а впоследствии на даче оставляли даже жить. Многому я научился там. Зелинская была женщина с большим литературным вкусом. Её влияние удержало меня от чрезмерного упоения собственными дешёвыми успехами. Во мне развивалось настоящее, серьёзное отношение к литературе, вырабатывался вкус к настоящей поэзии. Вырабатывалось чувство меры в частности — очень важное чувство!

Неизвестно, что бы вышло из меня, если бы не этот уютный милый дом, где всегда было тепло, где вечерами на столе уютно кипел самовар и подавались к чаю бутерброды с холодными котлетами и колбасой. В её доме бывало много интересных людей. Поэты Кузьмин, Владимир Эльснер и Бенедикт Лифшиц, художники Александр Осмёркин, Казимир Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Золотаревский и другие, имена которых я уже забыл, и главное — много талантливой молодёжи.

В доме у Софьи Николаевны я встретил молодого киевского доцента Александра Брониславовича Селихановича — добрейшего и благороднейшего человека, прекрасно образованного, умного и начитанного, который, сразу оценив мои способности и видя безвыходность моего положения, взял меня к себе в свою, правда, холодную, нетопленую комнату — на Печерске, где он жил с братом. У него я и ночевал. Это все же было теплей, чем в беседке. У него была большая библиотека, из которой, должен сознаться, я потаскал немало книг. Книги эти я продавал на толкучке. Есть-то ведь надо было! Возможно, что он догадывался о хищениях, но со свойственной ему деликатностью

душевной и виду не подавал.

Через много лет, вернувшись на родину, я встретился с ним в Пятигорске; он профессор и преподаёт в одном из институтов, а мне до сих пор стыдно смотреть ему в глаза!

Я все время был в кругу поэтов, художников, актёров, журналистов. Может быть, у меня глаза разбегались? Но все никак не мог решить, кем хочу стать: то ли поэтом, то ли актёром, то ли писателем.

Купив на Подоле на толкучке подержанный фрак, я с утра до ночи ходил в нем, к изумлению окружающих. Вёл себя я вообще довольно странно. Выработав какую-то наигранную манеру скептика и циника, я иногда довольно удачно отбивался и отшучивался от серьёзных вопросов, которые задавали мне друзья и ставила передо мной жизнь. Не имея перед собой никакой определённой цели, я прикрывал свою беспомощность афоризмами, прибавлял ещё и свои собственные, которые долго и тщательно придумывал, и в скором времени прослыл оригиналом. Но пока я играл роль «молодого гения» и «непонятой натуры», ум мой неустанно и машинально искал выхода.

Мы, богема, собирались в подвале, в маленьком кабачке под Городской думой, где торговали дешёвым вином и сыром, и горячо спорили по целым дням, ничего фактически не делая и ничем не занимаясь. Я просиживал там дни и ночи — долговязый, презрительный и надменный, во фраке, всегда с живым цветком в петлице, снобирующий все и вся. Я эпатировал буржуа!

Киев был полон молодых красивых девушек. И я влюблялся то в одну, то в другую. Познакомившись со мной, эти девушки до какой-то степени подпадали под моё «дурное влияние». Тогда перепуганные родители, до которых доходили тревожные слухи, приезжали за ними в Киев и, вырвав своих дочерей из-под моего «демонического» воздействия, увозили домой в какой-нибудь Могилёв или Бердичев…

Когда у тётушки Марьи Степановны родились дети — Серёжа, потом Алёша, — она стала мягче и добрее. Дети, а главное — собственные, как-то переменили её характер. И ко мне она стала относиться лучше. Я уже не жил у неё, как прежде. Но иногда всё-таки, когда было трудно, поселялся у неё в доме на время. Моё место заняла Кинька — дочь Лидии Степановны, которая умерла к тому времени. Кинька училась в Киевском институте благородных девиц, закрытом дворянском учреждении, где воспитывали в полном неведении жизни стопроцентных дур, которых готовили в жены каким-нибудь лоботрясам и недорослям — сыновьям богатых родителей. Их учили языкам, музыке и хорошим манерам, и, выйдя из института, они ни к чему не были

приспособлены. Киньке отец оставил немного денег и кой-какие вещи, и она была, конечно, в доме Марьи Степановны на лучшем положении, чем я. Кроме того, она была благонравна, скромна и своим поведением не настраивала против себя весь дом. Я таскал из её комода всякие безделушки, продавал их на толкучке. С ней, беднягой, я совсем не церемонился. И когда мне хотелось сделать подарок какой-нибудь очередной своей пассии, я выцыганивал у Киньки какие-нибудь серёжки или браслетик, причём резоны приводил такие:

— Ты же рожа! Ну зачем тебе эти серьги? Посмотри на себя в зеркало! А Роза (или какая-нибудь Сонечка, в зависимости от того, как её звали) — красавица!

Бедная Кинька, потрясённая убедительностью этих аргументов, кротко отдавала мне свои скромные драгоценности. Действительно, я был бандит!

Мы влюблялись, писали девушкам стихи, ломались перед ними, играя то в Дорианов Греев, то в лейтенантов Гланов, по Кнуту Гамсуну, острили, снобировали, гениальничали и кружили их юные провинциальные головки.

Помню, был я влюблён в одну девушку-медичку. Звали её Кэт. Она была стройная, зеленоглазая, и брови у неё были похожи на крылья ласточки. Помню, что жила она на Ирининской улице, где-то на шестом этаже большого дома. Долго продолжался наш поэтически-платонический роман, потом как-то оборвался сам собой. Через тридцать лет, когда я, объехав весь свет, вернулся на родину, однажды в одном городке ко мне за кулисы перед концертом зашла крупная суровая чёрная женщина с усами.

— Вы не помните меня? — спросила она.

— Нет! — чистосердечно признался я.

— Меня зовут Кэт. Помните? Я — Кэт!

— Какая Кэт? — спросил я.

Вместо продолжения разговора эта дама вынула из сумочки мою маленькую уличную моментальную фотографию тех времён, в широкополой испанской шляпе, где было написано: «Чёрной ласточке, зеленоглазой Кэт от её вечного раба» и т. д. Я вспомнил… и мне стало бесконечно грустно.

— Я старший хирург местного госпиталя! — с достоинством сказала она.

И я представил себе, как безжалостно она кромсает человеческое тело.

— Зачем вы пришли сюда? — спросил я. — Вы бы навеки оставались у меня в сердце «чёрной ласточкой». А теперь вы убили «чёрную ласточку» моей юности навсегда.

Да… у женщин не всегда хватает ума и такта в таких вещах!

На модных тогда литературных «судах» и диспутах мы оттачивали свои мысли и свои языки. Эти общения дали мне новых друзей. Все это были более или менее благополучные юноши. Жили они безбедно, за счёт родителей. Они не нуждались, как мы, богема, и охотно делились с нами своими достатками.

А были и другие. Например, некий Сашка Войтиченко. Отец его жил в Нежине и солил огурцы. У него были две сестры, в одну из которых, Манечку, я даже кратковременно влюбился, пока не узнал, что она вышла замуж за околоточного надзирателя. Сашка был красивый украинец с огромными чёрными глазами и пышными кудрями. Больше всего ему хотелось, как и мне, славы, успеха, признания. Играл он на своих цимбалах по слуху неплохо, довольно задушевно. Но, конечно, не имел музыкального образования и заменял его большой самоуверенностью и наскоком. Он уезжал на курорты в Крым и на Кавказ, где-то выступал. О нем что-то писали. Все это он подклеивал в альбом, вырезал из газетных статей только то, что ему нравилось, остальное выкидывал. Мы дико завидовали его мнимым успехам. Цимбалы, купленные на толкучке, он выдавал за редчайший инструмент XVII века — «запорожский кимвал». Для большей достоверности он сделал этому «кимвалу» шикарную подставку-резонатор и обклеил его старинными медальонами, тоже купленными на толкучке.

В конце концов и он сам, и даже мы, скептики, поверили в эту явную аферу.

Я вскоре потерял его из виду и встретил много лет спустя в Ницце. Он разбогател благодаря женитьбе на состоятельной итальянке. На цимбалах уже не играл.

Был ещё Эдя Бурковский — неудачный баритон с вечным катаром горла, с какими-то полипами на связках, мешавшими ему сделать «мировую карьеру». Он только лечился, но не пел.

Иногда мы голодали все вместе, иногда жили получше (когда кто-нибудь получал деньги), бродили по Киеву, спорили до одури, писали, читали, пели, говорили, декламировали, но ничего не могли сделать, чтобы пробиться в люди.

Был ещё чудесный маленький человечек Александр Поляцкий, затевавший время от времени какие-то журналы, которые за отсутствием денег не шли дальше третьего номера. В этих журналах мы печатались всей коммуной.

Потом появился другой нищий издатель и редактор, некий Аполлон Карпов, выпускавший театральную газетку-программку в три страницы с репертуаром всех киевских театров. В ней я начал писать маленькие рецензии о спектаклях. Но газетка эта шла

плохо и вскоре зачахла. С большой нежностью вспоминаю я этого Карпова, его тихую, бедную, больную жену и то время, когда мы все спали в единственной крошечной комнатке редакции — он с женой на диване, а я — на полу, на газетах, которыми и укрывался. Каждый вечер они с женой покупали на наши скудные прибыли четверть фунта копчёного сала и несколько булок и делились со мной по-братски.

Потом я был корректором в типографии Борщаговского на Крещатике.

Потом в поисках работы я нанимался в помощники бухгалтера в Европейскую гостиницу, откуда меня скоро выгнали за неспособность, продавал открытки с «тёщиными языками» у фотографа Маркова, грузил арбузы на барках на Днепре, и много ещё профессий перепробовал я в то время. С гимназическими товарищами я все же не терял связи. Иные из них снабжали меня то бельём, то деньгами, конечно, тайком от родителей.

В эту пору я жестоко влюбился в тонкую, стройную и красивую двадцатилетнюю «разводку» Марусю Емельянову. И даже специально подружился с её братом Павликом, и даже снимал с ним пополам комнату за пять рублей в надежде, что Маруся иногда будет заходить к брату и я её смогу видеть. Но она, увы, так и не зашла ни разу за все время. Она сошлась с противным, толстым, похожим на борова жандармским полковником Ивановым и жила в маленькой гостинице у Золотых ворот. Я ходил влюблённый, замученный и несчастный вокруг этой гостиницы в надежде её встретить и, увы, не встречал! А когда я справлялся о ней у швейцара, он всегда отвечал: «Нет дома!» Очевидно, такой был ему дан приказ.

Однажды утром я прорвался через эту блокаду. Швейцара не было, я постучался в дверь номера и вошёл. Дверь была не заперта. Маруся лежала в кровати с жандармским полковником, который так рассвирепел при виде меня, что погнался за мной в коридор в одних подштанниках. После этого моя любовь тут же скончалась в страшных мучениях.

Все это как будто обыденно просто и даже, может быть, неинтересно, но каких мук мне это стоило! Каких страданий! Каких слез! Каких бессонных ночей!

Да… Если и есть на свете любовь, в чем я очень сомневаюсь, то она бывает только в юности. А теперь, перебирая в памяти все свои многочисленные «любви», которые заполняли когда-то мою жизнь, когда я вспоминаю, из-за каких женщин я страдал, и переживал, и мучился, я изумлённо думаю: «Какой же я был дурак! Как я мог так страдать из-за таких обыкновенных, злых, расчётливых и ограниченных женщин? Наваждение какое-то! Да

повторись все это ещё раз теперь — я бы и глазом не моргнув отвернулся бы от таких чувств». А вот поди ж ты, сколько все это мне стоило здоровья и нервов. И что же? Только вот об этих влюблённостях и бедной юности моей я и вспоминаю нежно и светло…

А жизнь шла своим чередом. Приезжали в Киев, в оперу, итальянские знаменитости Джузеппе Ансельми, Титто Руффо, Баттистини. Кое-кого мне удавалось порой послушать, проскочив мимо всевидящего капельдинера. Но в конце концов меня обычно ловили и выгоняли из зала. «Зайцем» трудно было проникнуть в театр, тем более что капельдинеры нас знали в лицо. Но иногда удавалось попасть в статисты на тот или иной спектакль, и тогда я уже слушал всю оперу с начала до конца. Оперу держали антрепренёры Бородай и Брыкин. У них пели лучшие артисты России: Давыдов, изумительный Германн в «Пиковой даме», Тартаков, выступавший в «Демоне», Бакланов — в «Риголетто», Собинов — в «Онегине» и даже сам Шаляпин! Что тогда делалось с киевлянами! Они дежурили дни и ночи у касс, платили барышникам бешеные деньги за билеты.

Впрочем, увлекались в Киеве не только оперой. Было, например, множество любителей французской борьбы. В цирк П. С. Крутикова на Николаевской улице, немного ниже Соловцовского театра, ходили все — и стар и млад. Борцы были первоклассные: Поддубный, Иван Заикин, Вахтуров, красавец Лурих, негр Бамбула, матрос Сокол, японец Катцукума Саракики, маленький, увёртливый, как обезьянка, который имел железные пальцы и, поймав противника за кисти рук, сдавливал их, как железными клещами, с такой силой, что заставлял от невыносимой боли ложиться в партер на обе лопатки. Впрочем, может быть, это был трюк для публики? Роли вообще были распределены между борцами, как в театре между актёрами. Один изображал из себя зверя — рычал и кидался, как тигр, на своего противника, другой хамил, пользовался запрещёнными методами, третий вёл себя, как джентльмен — Лурих, например, четвёртого якобы затирали и не давали ходу, и он жаловался публике. И каждый борец знал своё амплуа и строго придерживался его. Поэтому одних любили, других ненавидели.

Перед началом представления выходил на арену известный всему Киеву «дядя Ваня» Лебедев, арбитр и тренер, и хорошо поставленным голосом объявлял публике фамилии выступавших борцов. Он же следил за борьбой и время от времени бросал в публику колючие реплики, чтоб не скучали. Иногда борцы кидались на него, изображая ярость по поводу его лаконичных приказаний и категорических суждений. Но, конечно, все это был

розыгрыш, заранее подготовленный и прорепетированный. А мы шли на эту борьбу, как в церковь. И не было большего огорчения, чем пропустить ту или иную встречу. Слава Богу, билеты были дешёвые.

Помню, как в бытность мою статистом у «Соловцова» группа наших «маленьких» актёров пришла в цирк просить контрамарки. Администратор, необычайно важный и зазнавшийся тип, холодно пожал плечами и отказал.

— Почему я должен давать вам контрамарки? — спросил он. — Ведь наши лошади к вам в театр не ходят.

Мы ушли с носом.

Через несколько дней группа циркачей пришла к нам в театр за тем же.

Наш администратор Бунин, которому стал известен этот инцидент, так же холодно пожал плечами и сказал:

— Ведь ваш администратор обещал, что его лошади не будут ходить к нам в театр…

В Купеческом саду летом играл оркестр оперного театра, которым дирижировали известные в то время дирижёры Сафонов, Шнеефогт, Палицын, Эмиль Купер, Коутс и другие, приезжавшие из-за границы. Гастролировали и знаменитые скрипачи — Ян Крейза, Антон Берглер, Ян Кубелик…

Вход в сад стоил всего двадцать копеек. Но и этих денег у нас не было. И мы, для того чтобы попасть на концерт, пробирались со стороны Царского сада через забор или со стороны Александровской улицы, где нужно было взобраться на глазах у полицейских на огромный вал, обсаженный зелёным дёрном, и потом пролезть через ряды колючей проволоки, разрывая одежду, и только тогда мы попадали в нижнюю часть сада, где стоял деревянный театрик Саксаганского.

И мы лезли. И пролезали. И попадали в сад. И наслаждались музыкой.

Да-с! Искусство требовало жертв. И мы их приносили, эти жертвы. Одних штанов сколько порвали…

Однажды Жорж Зенченко повёл меня на Ямскую улицу, где были расположены дома терпимости. Не знаю, чем я заслужил такую высокую честь с его стороны, вероятнее всего, ему было просто скучно идти одному, поэтому он решил прихватить и меня. Открыла нам дверь хозяйка, старая, жирная и рыхлая, с огромным животом, с глубокими бороздами на лице, наштукатуренная до того, что с лица её сыпалась пудра, накрашенная, с подведёнными синим карандашом глазами, вся в рыжих с проседью буклях, с цыганскими серьгами в ушах и дутыми, толстыми браслетами. Все пороки и грехи мира

отражались на её лице. Было часов семь вечера. В маленьком вонючем зальце было полутемно. Горела только керосиновая лампа с розовым стеклянным абажуром. У стены стоял широкий грязный диван с засаленными подушками, у окон — скучные чахлые фикусы с мёртвыми картонными листьями, давно уже не знавшие воды, засиженные мухами. Тусклое трюмо, кисейные занавески на окнах, изнутри закрытых ставнями, и старое фортепьянишко с оторванной крышкой. За фортепьяно сидел тапёр, слепой старик с исступлённым лицом и мёртвыми костяшками пальцев, скрюченных подагрой, играл какой-то «макабр». А на диване вокруг него сидели девицы. У них были неподвижные лица-маски, точно все на свете уже перестало их интересовать. Они распространяли вокруг едкий запах земляничного мыла и дешёвой пудры «Лебяжий пух». Хозяйка, по-видимому, благоволила к Жоржу, потому что начала суетиться, сюсюкать и кокетничать, напоминая старую няньку, прыгающую козлом для развлечения капризного ребёнка, который не хочет есть. Меня передёрнуло от отвращения. Тапёр между тем заиграл блатную песню «Клавиши» и завопил диким голосом:

Ну так пойте же, клавиши, пойте!
А вы, звуки, летите быстрей!
И вы Богу страничку откройте
Этой жизни проклятой моей!

Мне все это совсем не понравилось. Я весь дрожал от омерзения и жалости к этим людям. Я стал умолять Жоржа:

— Уйдём отсюда! Ради Бога! Мне дурно!

Хозяйка гневно нахмурила брови. По-видимому, она боялась, что я уведу гостя.

— Эх, господин гимназист, — укоризненно сказала она, — как вам не стыдно! Вы же не мужчина! Вы какая-то… сопля на заборе!

Жорж расхохотался. А я растерянно вышел на улицу и поплёлся домой. И вдогонку мне неслась уже другая, совершенно безграмотная, но тоже «задушевная» песня. Я запомнил её навсегда:

Потом я, бедняжка, в больницу пошла,
Мине доктора осмотрели…
Но всё-таки с голоду я померла,
Скончалась на прошлой неделе!

… Заканчивалась моя жизнь в Киеве. Делать мне в этом городе было нечего. Слишком хорошо здесь знали меня и всю мою подноготную, а как вам известно — нет пророков в своём отечестве. Мне надо было куда-нибудь уехать, чтобы сделать карьеру. Но куда же?

В Москву, конечно! В столицу! В центр!

Я решил ехать. Накопив двадцать пять рублей, я подыскал себе компаньона — маленького актерика Сашку Муратова. Этот Сашка был категорической бездарностью. Но у него был «гардеробчик», то есть несколько костюмов для сцены. В то время нанимали маленьких актёров только по одному признаку — по наличию гардероба. Великим постом антрепренёры приезжали в Москву, и там, в театральном бюро Рассохиной, если не ошибаюсь, в Газетном переулке, где, кстати, была знаменитая Рассохинская театральная библиотека, заключали сделки с актёрами и, набрав «главных», брали потом «мелочь» на выхода по двадцать пять рублей в месяц, со своим гардеробом. Сашка этот был маленького роста, нагловатый и сообразительный «жучок». Он загодя завёл роман с толстой колбасницей Гейнце, которая и справила ему необходимые костюмчики. Мы сговорились ехать в Москву вместе. Купили билеты третьего класса. Объявив тётушке, что уезжаю в Москву за славой, я, очевидно, как-то тронул её сердце. Во всяком случае, она наварила и напекла мне на дорогу всего, чего только можно.

Поезд уходил утром.

Я пошёл на вокзал пораньше, а корзинку должна была принести к поезду девчонка Дунька, новая тёткина горничная. Какие-то котлеты ещё не были готовы, недожарились, поэтому я не взял корзинку с провизией.

Первый звонок, я уже сижу в вагоне и мучительно вглядываюсь туда, откуда должна появиться Дунька. Но Дуньки нет.

Второй звонок.

Нет!

Третий звонок.

Её нет!

Поезд двигается… Он набирает скорость… Мелькают стрелки, фонари… семафоры…

Вот она! Вот! Наконец эта проклятая Дунька! Она бежит, размахивая корзинкой, и силится догнать поезд. Куда там… Конец всему!

Я остался без еды. А сколько вкусных вещей было в этой корзинке! Боже мой! За что ты так жестоко наказываешь меня! Все, все пропало! Через два часа актерик Муратов вынул из

свёртка бутерброды с колбасой, ветчиной и сыром и скромно сказал:

— Простите, что не предлагаю вам! У меня так немного…

Я проглотил слюну и отвернулся к окошку.

Юность в Москве

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось…

А для моего — особенно. Я ведь столько мечтал о ней. Это был город моих надежд. Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир. Заставить умолкнуть все разговоры, кроме разговора обо мне, повернуть все взоры людей в мою сторону, чтобы вся Вселенная восхищалась только мной одним и ни на кого больше не обращала ни малейшего внимания! А я… Я буду стоять — высокий, гордый и прекрасный в совершенно новом фраке (не с толкучки, конечно, а от лучшего портного) и надменно улыбаться, скрестив руки…

Почему — «скрестив руки»? Не знаю. Так полагалось вождям индейцев у фенимора Купера.

Увы, этим «скромным» мечтам было ещё очень далеко до осуществления.

А пока… Собрав свои вещички и погрузившись на извозчика, мы не спеша тронулись в путь с вокзала, наказав кучеру ехать на Тверскую — единственную улицу, название которой было нам известно. Протрусив неторопливой рысцой через весь город, мы остановились в Газетном или Долгоруковском переулке в грязных номерах какой-то гостиницы, где внизу был постоялый двор для извозчиков, с трактиром и неизбежной «машиной», гудевшей с утра до ночи. Из окон нашего номеришка был виден двор, заставленный извозчичьими пролётками, а посреди двора стоял железный рельс, на котором укреплена огромная вывеска: «Просят господ извозчиков матерными словами не выражаться!» Это была уже явная забота администрации о постояльцах гостиницы.

В номере стояли одна кровать, стол, стул, комод, умывальник да ещё зеркало, засиженное мухами. Актерик немедленно узурпировал кровать, а мне предоставил ложе на полу, к чему я, собственно говоря, привык и чему особенного значения не придавал.

Прямо напротив входа в гостиницу была водогрейная Карамышева, где чайник кипятку стоил одну копейку, а ситный хлеб — три копейки. Правда, на керосинке в эмалированном корытце с утра до ночи кипела в сале чудесная беловская колбаса, которой давали на пятачок довольно много, да ещё с горчицей и хлебом. Но эта роскошь была уже не по моим средствам.

Актерик не вынимал своих денег, предпочитая, очевидно, тратить их на себя лично. Дело в том, что ещё в начале поездки я совершил одну непростительную ошибку. Я имел глупость отдать свои двадцать пять рублей на хранение. Этими деньгами он уплатил за номер за месяц вперёд, как полагалось, и преспокойно жил, тратя собственные деньги где-то на стороне, а мне предоставляя подыхать с голоду. Вероятно, киевская колбасница снабдила его какими-то средствами, потому что он всегда был в весьма хорошем настроении. Я подозреваю, что он даже обедал каждый день. Эдакая свинья! Моё же питание состояло только из кипятка — без заварки и без сахара — и ломтя ситного два раза в день, утром и вечером.

Каждое утро актерик надевал один из своих «костюмчиков» — то абрикосового цвета, то вишнёвого, то серого — с тщательно отглаженными брючками, которые он клал под матрац на всю ночь, и уходил в театральное бюро — «кидаться в глаза» антрепренёрам в надежде получить ангажемент.

Прожив спокойно месяц в оплаченном мною номере, он скоро устроился куда-то в Елабугу на летний сезон за двадцать пять рублей в месяц, откуда, впрочем, его быстро выгнали, как я узнал позже. Он уехал, даже не попрощавшись со мной, и я остался один. Правда, я получил возможность спать на кровати, но… месяц кончался, а других двадцати пяти рублей у меня не было. Пришлось расстаться с гостиницей.

Продав на Трубной площади свой киевский фрак, я снял у какой-то дворничихи за три рубля угол, оклеил стены открытками и начал новую жизнь.

Надвигалось трудное время. Профессии у меня — никакой, а найти работу в Москве было почти невозможно. Вот теперь, когда я вспоминаю то время, я сам не могу понять, как же и на что я жил тогда? Денег у меня не было. Друзей тоже. А вот жил же как-то! Очевидно, на одном энтузиазме. В дальнейшем все же постепенно появлялись знакомые. И хотя никто из них и не думал принимать какое-либо участие в моей судьбе, тем не менее я всё-таки как-то существовал в куче московских квартирантов из Киева. Они существовали, и я существовал, они дышали, и я дышал. Они обедали. И я… не обедал. А всё-таки жил всем назло.

А Москва была чудесная! Румяная, вальяжная, сытая до отвала, дородная — настоящая русская красавица! Поскрипывала на морозе полозьями, покрикивала на зазевавшихся прохожих, притопывала каблучками. По горбатой Тверской весело летели тройки, пары, лихачи-кудрявчики.

— Пади!.. Берегись!..

В узеньких лёгких саночках, тесно прижавшись друг к другу,

по вечерам мчались парочки, накрытые медвежьей полостью. В Охотном ряду брезгливые и холёные баре иногда лично выбирали дичь к обеду. Там торговали клюквой, капустой, мочёной морошкой, грибами. Огромные осетры щерили зубы, тускло глядя на покупателей бельмами глаз. Груды дикой и битой птицы заполняли рундуки. Длинными белыми палками висела на крючках вязига для пирогов. И рано утром какой-нибудь загулявший молодец (в голове шумел вчерашний перепой) подходил к продавцу, стоявшему у больших бочек с квашеной капустой, низко кланялся ему в ноги и говорил:

— Яви божескую милость! Христа ради!

И продавец, понимая его душевное и физическое состояние, наливал целый ковшик огуречного рассола, чтобы молодец опохмелился. И ничего за это не брал!

По ярко-белому снегу на площади возле Китайгородской стены важно ходили лоточники, неся на голове целые корыта с оранжевыми апельсинами.

В сорокаградусные морозы горели на перекрёстках костры, собирая вокруг бродяг, пьяниц, непотребных девок, извозчиков и городовых. Все это хрипло ругалось отборнейшим российским матом, притопывало валенками, хлопало рукавицами по бёдрам и выпускало облака пара. А вокруг по сторонам, куда ни кинь взор, — трактиры с синими вывесками. В трактирах бойко подавали разбитные ярославцы-половые, расчёсанные на пробор, «посерёдке», с большими «портмонетами» из чёрной клеёнки, заткнутыми за красные кушаки. Они низко кланялись гостю и говорили «ваше степенство» всем и каждому (даже мне, например) и летали, как пули, из зала на кухню и обратно.

— Счас дают-с! — только и можно было от них услышать на любой вопрос. — Счас дают-с! — А это «счас» продолжалось с час, не меньше.

Были трактиры и попроще, где можно было подойти к стойке — выпить шкалик водки и бесплатно закусить кислой капустой, или огурцами, или мелко нарезанной воблой. Были другие, чуть почище, с «дворянской» половиной, с зеркалами в золочёных рамах и тяжёлыми грязными портьерами; там всегда играла машина:

Вдали тебя я обездолен,
Москва, Москва — родимая земля!

У входа, с улицы, стоял огромного роста швейцар в треуголке — как у Егорова, например, в Охотном ряду.

Были чайные, где любители чаепитий могли получить по

вкусу десятки сортов разных чаев: китайских, индийских, цейлонских, цветочных, зелёных, чёрных и пр. Целый печатный прейскурант подавался вам при заказе.

А были особые чайные на Трубе, с хозяевами, любителями певчих птиц. Туда ходила особая публика. Эти чайные были увешаны клетками с соловьями, дроздами, щеглами, малиновками, канарейками. Щебет оглушал вас, как только вы входили. И степенные, окладистые, бородатые купцы задумчиво слушали курских, воронежских, сибирских и таёжных, украинских и подмосковных соловьёв и спорили о красоте и чистоте голоса, о виртуозности их трелей и пр., восхваляя или порицая качества тех или иных певцов и доходя в этом до особой тонкости оценок, как истые знатоки и «искусствоведы».

Были трактиры, где собирались книжники-букинисты, где с рук можно было купить редчайшую, чуть ли не первопечатную книгу или такую искусную подделку, что сам черт не мог бы отличить её от подлинной.

Москва была пёстрая, цветастая, шумная, не похожая ни на один город в мире. Не любить её было невозможно. У неё было своё, неповторимо-прекрасное, необычайно душевное бытовое лицо. Теперь этого лица у неё уже нет. Быт ушёл. Вместе с веком.

Религиозным центром Москвы была Иверская. В маленькой часовне у Красной площади стояла её икона, озаряемая сотнями свечей, которые ставили верующие. Икона сверкала бриллиантами, изумрудами и рубинами, которые жертвовали исцелённые от тех или иных недугов и горестей, невзгод и страданий. С неё начиналось все. Ни один приезжий купец не начинал дела, не поклонившись Иверской. Там всегда было жарко и душно. Мы тоже иногда несли свои скромные дары иконе. Я помню, как перед большими событиями, экзаменами, например, или в ожидании денег от родителей я и мои друзья шли к Иверской и ставили свечи или покупали белые розы на длинных стеблях и вставляли их в подсвечники.

Кого-кого только у неё не перебывало! И старые генералы, недовольные пенсией, и толстые москворецкие купчихи, не любившие своих мужей, влюблённые в молодцов-приказчиков, и модистки, отравленные романами Вербицкой, и пожилые актёры, не получившие ангажемента на сезон, и дельцы, и комбинаторы, и жулики. Все несли Иверской свои горести и мечтания. Все верили, что она поможет. Услышит их мольбу. Такова была сила веры!

Посреди Тверской, где сейчас Моссовет, против красного дома генерал-губернатора, дома, который чуть не продал какому-то иностранцу знаменитый авантюрист корнет Савин, примерно

там, где теперь ресторан «Арагви», был магазин цветов «Ноев и Крутов». В витринах его в самые жестокие морозы беззаботно цвели ландыши в длинных ящиках, гиацинты, сирень в горшках и фиалки. Пармские бледно-лиловые фиалки, которые привозили экспрессом прямо из Ниццы.

Я простаивал часами у этих витрин, любуясь праздником цветов среди московской суровой зимы. Подъезжали роскошные экипажи, заказывались великолепные корзины актрисам, именинницам-любовницам. А на простой тарелке в воде плавали опавшие бутоны камелий. Вот эти опавшие бутоны я и покупал иногда, когда заводился двугривенный в кармане, по три копейки за штуку, втыкал или прикалывал их к своей бархатной блузе и щеголял по городу «утончённый», «изысканный» и… голодный. Ибо лучше было купить такую камелию за три копейки, чем съесть тарелку борща в студенческой столовой, который стоил тоже три копейки. Но зато можно было появиться в этой столовой и произвести неотразимое впечатление на курсисток своим артистическим видом.

Весной, на масленице и великим постом, был в Замоскворечье вербный базар. Это было непередаваемое зрелище.

— Полная колода гадательных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеону! — орал продавец, суя всем в нос обыкновенные карты. — Вместо рубля — пять копеек!

А карты эти никогда больше пятака и не стоили.

— Сочинения графа Льва Николаевича Толстого. Вместо рубля — пять копеек! — хриплым голосом скрипел другой торгаш.

— А вот!.. Зять тёщу

Повёл в Марьину рощу!..

— А вот!.. На Воробьёвых горах

Два монаха сидять и горох едять!..

Дальше под одобрительный гогот публики шли совершенно нецензурные подробности похождения тёщи и монахов.

Иногда из-за угла откуда-то выскакивала подозрительная личность, делала необычайно конспиративное лицо, оглядываясь по сторонам, быстро совала вам в руки пачку открыток и говорила:

— Десять копеек! Платите скорей, а то околоточный увидит.

И, схватив гривенник, быстро исчезала. Вы несли открытки за угол, разворачивали пакет. Там оказывались самые невинные картинки, вроде «Дедки и репки» или «Вани и Маши».

А надо всей этой толкотнёй и сутолокой, так же как в Киеве, летали воздушные шары, орали «умирающие черти». Но…

Но реял над нами
Какой-то таинственный свет…
Какое-то лёгкое пламя,
Которому имени нет!

(Георгий Иванов)

Москва влекла к себе всю провинциальную молодёжь. Постепенно и некоторые из моих киевских друзей стали появляться.

Первым приехал мой гимназический товарищ Коля Бернер. Он был сыном богатых родителей, и ему не составило особого труда уговорить папашу на лишние расходы. Первым делом Коля влюбился в молоденькую красивую вдовушку, которая от скуки занималась искусством. Вдова жила где-то на Разгуляе, и Коля дни и ночи проводил в её обществе. Он был мягкий, лирически настроенный юноша, совершенно неприспособленный к жизни. Особых талантов у него не замечалось. Стихи, которые он писал, были расплывчаты, бессодержательны и часто даже внешне бесформенны — строки неслись по бумаге, как клочья облаков, гонимые ветром. Тем не менее он все же был настоящим поэтом — в этом никто не сомневался — и производил приятное впечатление своей мягкостью и приличными манерами.

Коля поступил в Московский университет и одновременно на драматические курсы, хотя никаких особых способностей в этой области он прежде не обнаруживал.

Потом в Москве объявился Саша Осмёркин, как говорится, мой «корешок». Мы дружили с ним в Киеве с юных лет, и всю мою художественную (в смысле познания живописи) зарядку я получил главным образом от него. В противовес Коле Бернеру он был очень талантлив, но совершенно не от мира сего. Он носил буйную шевелюру и свободные блузы (в очередь со мной). Денег ему отец высылал немного, и жили мы с ним, как птицы небесные. Бывало, раздобудешь где-нибудь полтинник и придёшь домой. А дома уже народ собрался разный, и все, разумеется, голодные. Я торжественно вынимаю полтинник из кармана и говорю:

— Сашка, пойди купи чего-нибудь поесть.

— Хорошо, — соглашается он.

Он уходит. На полтинник можно много чего купить. И колбасы, и сыру, и хлеба…

Через полчаса он является сияющий и довольный.

— Купил?

— Купил.

— Ну, давай.

Он разворачивает свёрток, и… в нем оказывается огромная репа, несколько кроваво-красных помидоров, зеленые кабачки, букет жёлтых листьев и пустой жестяной бидон из-под керосина.

— Сашка, что это? — в ужасе спрашивают товарищи.

— Это… Это для натюрморта! Смотри, как здорово будет. — И он торжествующе ставит на стол бидон и окружает его помидорами… и репой. — Вот! Помнишь, у Сезанна в натюрморте салфетка стоит крахмальная? А ведь как стоит! Никуда от неё не уйдёшь. Я этот бидон так раздраконю! Вот увидишь.

И он уже начинает ставить натюрморт.

— Осел! Кретин! Дегенерат! — в бешенстве кричу я. — А жрать мы что будем?

Смешно? Нет, совсем не смешно. Потому что все остались голодными. Ничего ему нельзя было поручить. Но зато писал он хорошо!

Затем приехал ещё киевлянин, Исаак Рабинович, смуглый, черноглазый, курчавый, с лицом библейского отрока, молчаливый, застенчивый и сосредоточенный, часами замиравший перед картинами больших мастеров то в Третьяковке, то у Щукина и писавший оригинально и талантливо, своим почерком.

Много прибивало к нашему берегу художников, которых никто не знал, молодых людей, мечтавших стать актёрами, непризнанных поэтов с удручающими стихами, мелких репортёров из газет, студентов, курсисток, учеников и учениц все тех же знаменитых зубоврачебных школ, где все были главным образом артистами и лучше разбирались в душевной боли, чем в зубной.

Жить стало уже легче. Жили, как говорится, компанией. Ходили в дешёвые студенческие столовки, проникали «зайцами» на вечера всяких землячеств, ухаживали за курсистками, декламировали, пели, читали, спорили, гуляли…

Когда же из поездки в Москву вернулась моя сестра, актриса Надя, мне стало совсем хорошо. Поселились мы с ней в Козицком переулке, в доме Бахрушина. Как ни странно, но через столько лет, вернувшись на родину, я получил квартиру в том же доме, только в другом подъезде.

С сестрой мы зажили дружно. Она очень любила меня и верила в то, что я «ещё буду человеком». Мы снимали очень скромную квартирку и даже держали кухарку — «за одну прислугу», как тогда говорили, то есть она и комнаты убирала, и обед готовила. Это были лучшие дни моей московской жизни. Тем не менее я все ещё ничего не делал, не зная, куда себя

приткнуть со всеми своими способностями. Ходил по театрам, бегал на лекции, бродил по Третьяковке и Щукинской галерее, торчал то в кафе у Филиппова, то в других кафе.

У меня завелись два новых друга — студенты Володя Лазаревич и Женя Хазин. Они были хорошо воспитаны, живо интересовались всем, что было нового в науке, литературе и искусстве, и, как ни странно, тоже верили в меня. Мы вместе посещали Московский университет, где я был вольнослушателем, ходили на лекции, совершали экскурсии по Москве, знакомясь с её стариной, бегали на лыжах по Москве-реке, по воскресеньям ходили на Воробьёвы горы — кататься на бобслеях — и, если были деньги, даже завтракали иногда там же в ресторане у Крынкина.

Кроме этого, мы выступали в разных кружках — то литературных, то драматических. Я, помню, даже ставил какую-то блоковскую пьесу. Появились в нашей компании две красивые девушки — Лиза и Машенька, дочери доктора Воронова. Володя ухаживал за старшей, Лизой, на которой впоследствии и женился, а я крутил голову младшей, Машеньке.

К сожалению, сестра моя Надя не могла подолгу жить в Москве — ей приходилось уезжать с труппой в длительные поездки; тогда я переселялся к Жене и Володе. Они снимали вдвоём довольно большую комнату, и я спал у них на диване. Их общество во многом оказало на меня благотворное влияние. Я меньше стал воображать о себе, больше учиться, проводил целые дни в университете или в Румянцевской библиотеке. От моей надменности и непонятности вскоре не осталось и следа.

Все же пробиться — обратить на себя внимание общества — мне никак не удавалось. Все мои достижения ограничивались успехами у курсисток, молодых студенток да ещё у купеческих девиц, которые томились в своих замоскворецких «теремах» и жаждали «просвещения».

На масленицу, на пасху и по большим праздникам нас, молодёжь, обязательно приглашали в такие купеческие дома, где закармливали блинами и кулебяками. Одной такой девице — совершенной психопатке, над которой дрожали любящие родители, — я даже давал «уроки сценического искусства» за десять рублей в месяц. Продолжалось это довольно долго — около года, и девица стала было уже делать кой-какие успехи, но, к сожалению, окончательно свихнулась, и её пришлось отвезти в лечебницу…

Знакомства у нас были самые разнообразные. Каким-то непонятным образом мы познакомились с Борисом Филипповым — сыном известного всей Москве булочника. Это был

неисправимый кутила, стоивший своему отцу немало денег, но весьма неглупый, весёлый и приятный человек. Учился он за границей и говорил на трёх языках. Языки эти ему сильно пригодились впоследствии. После революции он попал в эмиграцию. Я встретил его в Нью-Йорке. Он служил портье в отеле «Ансония», где мы, русские артисты-гастролёры, любили останавливаться «из патриотизма» — портье был наш, русский.

Как-то на масленой Борис пригласил нас к себе на блины. Жил он на Тверском бульваре в особнячке с балконом на улицу. К часу дня мы собрались у него в гостиной. Он рассказывал нам про маленького медвежонка, которого ему недавно подарили и который вертелся тут же, под ногами. А рядом в столовой был накрыт великолепный стол, уставленный балыками, винами, водками, хрустальными вазами с икрой и пр. Один вид этого стола вызывал аппетит необычайный. Разговор шёл о том, что медвежонок иногда выходит на балкон и начинает там делать всякие выкрутасы, собирая огромную толпу зрителей, причём Борис заметил, что у медвежонка все недостатки актёра: он любит успех и тщеславен до предела. Поэтому он целый день на балконе. Пока мы смеялись над этой характеристикой, тщеславный медвежонок, соскучившись, ушёл в столовую, взял за конец скатерть, которой был накрыт стол, и пошёл с ней на балкон показывать своё искусство зрителям.

Можете себе представить эту картину? С ней можно сравнить только «Гибель Помпеи» Брюллова.

Все погибло! Все!

Но Филиппов отвёз нас всех к Тестову, где и накормил «по-московски»…

Среди знакомцев наших были два журналиста — Коля Вержбицкий и Женя Хохлов. Много дней и главным образом ночей провёл я в их обществе, но где они работали и на что они жили, так до сих пор и не знаю. Парни они были задушевные и, главное, большие мастера по части раздобывания денег.

Коля, толстый, бритый наголо, носил какую-то тюбетейку и был похож на татарина, а Женя был худой, длинный, как жердь, носил рыжую бороду, которую все время задумчиво навивал на палец.

Кроме них было ещё много других людей, выскользнувших уже из моей памяти, которые вертелись вместе с нами на карусели тогдашней московской жизни. Это были 1910—1912 годы…

В нашем мире богемы (а я пишу только о нем) каждый что-то таил в себе, какие-то надежды, честолюбивые замыслы, невыполнимые желания, каждый был резок в своих суждениях,

щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиримостью критических оценок. Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой — дулись и пыжились, как лягушки из крыловской басни. А надо всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравившей не одно сердце мечтами о Прекрасной Даме, о Незнакомке…

И Горький, будто нам угрожая, писал:

А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут!
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

Стихи эти читались на всех концертах и действовали сокрушающе. Все вдруг испугались этой перспективы. Как будто о каждом обязательно надо было писать песню или рассказывать сказку! Помощники присяжных поверенных в безукоризненных визитках от Делоса стали писать стихи и почитывать их томным голосом на именинах за кулебяками; зубные врачи вешали у себя в приёмной портреты артистов с цитатами из ибсеновских пьес; доктора рассеянно выслушивали больных, но могли часами спорить о постановке андреевской «Жизни человека». Московские купцы скупали всякую живописную дрянь, выставленную у Данциро или Аванцо, на Кузнецком. В «Кружке» на Дмитровке ежедневно устраивались лекции, литературные «суды» над героями романов, вечера поэзии и пр.

Белотелые купеческие дочки, налитые жиром, надев скромные чёрные юбки с белыми блузками, тихо сидели на всех лекциях с тетрадками в руках и что-то записывали… Курсистки, приглашавшие к себе товарищей и подруг на чашку чая, укутывали электрические лампочки красной кисеёй, создавая интим, и читали стихи, до одури надушившись пронзительным «лориганом Коти» или ландышем «Иллюзион-Дралле». Принимали гостей, полулёжа на кушетках, курили папиросы из длинных мундштуков, стриглись под мужчин и кутались в пёстрые шали (стиль этот назывался «Сафо»). Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, говорили «унывными» голосами, звенящими и далёкими, точно из другой комнаты:

Я люблю лесные травы ароматные,
Поцелуи и забавы невозвратные…
Все, что манит и обманет нас загадкою
И навеки сердце ранит тайной сладкою!

Читая стихи, концы строчек они проглатывали для большего впечатления…

Молодые актёры из глубокой провинции держали экзамен на статистов при Московском Художественном театре и по страшнейшему отбору из пятисот человек допускались в количестве приблизительно пяти к конкурсу. Из них брали двух-трёх. В театре они годами изображали толпу. И это считалось за счастье и называлось: «Попасть в Художественный театр». Пакгаузы этого театра были битком набиты «талантами»… Запас был лет на десять!

В «Трёх сёстрах» какой-нибудь счастливец выносил в 3-м акте шарманку. Он благоговейно «играл» на ней, крутя рукоятку и «переживая», потом уходил, взвалив шарманку на спину. Утром на репетиции Станиславский говорил ему:

— Вот что. Вчера, уходя, вы неискренне встряхнули шарманку…

И все. Роль эта уже отдавалась другому…

В какой-то пьесе, не помню, должно было быть море. Для этого на сцене было разложено огромное размалёванное полотно, по краям которого сидели статисты. Сидели они на корточках и, задыхаясь, изображали «волнение» этого моря. Утром на репетиции «большие» актёры, явно издеваясь, говорили им:

— Вы вчера очень талантливо сыграли. Это море — то!

На приёмных экзаменах темпераментные молодые люди, приехавшие из глуши, поставив стул перед собой, буйно декламировали:

Без отдыха пирует
С дружиной удалой
Иван (тьфу!) Васильич (тьфу!) Грозный (тьфу)
Под матушкой-Москвой…

— А зачем вы плюётесь? — спрашивали его.

— Это лучшее средство для смазки горла, — отвечал молодой лицедей.

Нежные, худосочные девицы после отрывка из Достоевского или пяти строк прочитанного стихотворения уже бились в «настоящей» истерике — к удовольствию экзаменаторов, требовавших «подлинности чувств».

Так же было и в других театрах. Молодые актёры и актрисы томились годами на выходах и увядали. Одни, разочаровавшись, бросали сцену и выходили замуж, иные кончали жизнь

самоубийством. Надо было иметь меценатов-покровителей, или богатых любовников, или влиятельных мужей и родителей, а иначе… В поэзии и литературе господствовали декадентские влияния. В стихах воспевались неестественные красоты:

«О закрой свои бледные ноги…» — восклицал Брюсов, и сатирик Саша Чёрный добавлял:

«Бледно-русые ноги свои!»

Появился журнал «Перевал», в котором на дорогой ватмановской бумаге печатались «парфюмерно-изысканные» опусы Ауслендера из жизни маркиз и принцесс.

Продраться сквозь этот лес благополучно устроившихся бездарностей было невозможно.

Все это рождало протест. Мы, богема того времени, — были напичканы до краёв «динамитом искусства», мы могли сказать новое. Но нас никуда не пускали и не давали высказаться.

Вот тут-то и появился кокаин.

Кто первый начал его употреблять? Откуда занесли его в нашу среду? Не знаю. Но зла он наделал много.

Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках, по одному грамму. Самый лучший, немецкой фирмы «Марк», стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его уже продавали «с рук» — нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил он в десять раз дороже. На гусиное пёрышко зубочистки набирали щепотку его и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая весь порошок, как нюхательный табак. После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись, вы чувствовали необычайный подъем, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Вы говорили остроумно и ярко, тысячи оригинальных мыслей роились у вас в голове. Перед вами как бы открывался какой-то новый мир — высоких и прекрасных чувств. Точно огромные крылья вырастали у вашей души. Все было светло, ясно, глубоко, понятно. Жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда-то, исчезала и уже больше не интересовала вас. Вы улыбались самому себе, своим мыслям, новым и неожиданным, глубочайшим по содержанию.

Продолжалось это десять минут. Через четверть часа кокаин ослабевал, переставал действовать. Вы бросались к бумаге, пробовали записать эти мысли…

Утром, прочитав написанное, вы убеждались, что все это бред. Передать свои ощущения вам не удалось. Вы брали вторую понюшку. Она опять подбадривала вас. На несколько минут, но уже меньше. Стиснув зубы, вы сидели, точно завинченный котёл с

паром, из которого его уже невозможно выпустить, так крепко завинчены гайки. Дальше, все учащая понюшки, вы доходили до степени полного отупения. Тогда вы умолкали. И так и сидели, белый как смерть, с кроваво-красными губами, кусая их до боли. Острое желание причинить себе самому физическую боль едва не доводило до сумасшествия. Но зато вы чувствовали себя гением. Все это был, конечно, жестокий обман наркоза. Говорили вы чепуху, и нормальные люди буквально шарахались от вас.

Постепенно яд все меньше и меньше возбуждал вас и под конец совсем переставал действовать, превращая вас в какого-то кретина.

Вы ничего не могли есть, и организм истощался до предела. Пить кое-что вы могли: коньяк, водку. Только очень крепкие напитки. Они как бы отрезвляли вас, останавливали действие кокаина на некоторое время, то есть действовали как противоядие. Тут нужно было ловить момент, чтобы бросить нюхать и лечь спать. Не всегда это удавалось. Потом, приблизительно через год, появлялись тяжёлые последствия в виде мании преследования, боязни пространства и пр.

Короче говоря, кокаин был проклятием нашей молодости. Им увлекались многие. Актёры носили в жилетном кармане пузырьки и «заряжались» перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег…

Не помню уже, кто дал мне первый раз понюхать кокаин, но пристрастился я к нему довольно быстро. Сперва нюхал понемножку, потом все больше и чаще.

— Одолжайтесь!.. — по-старинному говорили обычно угощавшие. И я угощался. Сперва чужим, а потом своим. Надо было где-то добывать…

Обегав всю Москву в поисках работы и ничего не найдя, я как-то сидел в маленьком садике при Театре миниатюр, который держала Марья Александровна Арцыбушева с мужем Юрием Константиновичем, в Мамоновском переулке по Тверской (где сейчас помещается Театр юного зрителя).

Марья Александровна была женщина энергичная и волевая, довольно резкая и не лишённая остроумия. Собрав кой-какую труппу, она держала театр, хотя сборы были плохие; актёров приличных не было, костюмов тоже, а о декорациях и думать нечего. В оркестре сидел меланхолический пианист Попов и аккомпанировал кому угодно, по слуху. Он не выпускал трубки изо рта и ничему не удивлялся. Кроме того, Марья Александровна ещё давала уроки балетного искусства. Ученицами её были

молодые, довольно талантливые балерины, не попавшие в Большой театр, — Маруся Дарто, Лидия Бони, Катя Лорен, Мария Юрьева, Татьяна Бах и другие. Группа эта называлась «Частный балет».

Занимаясь у Марьи Александровны, молодые балерины выступали также и в её театре — для практики.

Марья Александровна была грозная женщина, за словом в карман не лезла, и я лично боялся её как огня. В театр я ходил к знакомым актёрам и часто сидел с ними днём в садике после репетиции. Многие из них жили там же, при театре, наверху, в уборных. Марья Александровна не любила людей, слоняющихся без дела, вроде меня. И потому, когда она замечала такого человека, то всегда думала, как его использовать, приспособив к своему театру.

Завидев меня среди своих актёров, она как-то вскользь заметила:

— Что вы шляетесь без дела, молодой человек? Шли бы лучше в актёры, ко мне в театр.

— Да, но я же не актёр, — возразил я. — Я ничего, собственно, не умею.

— Не умеете, так научитесь.

Я призадумался.

— А сколько я буду получать за это? — деловито спросил я.

Она расхохоталась.

— Получать? Вы что, в своём уме? Спросите лучше, сколько я с вас буду брать за то, что сделаю вас человеком!

Я моментально скис.

Заметив это, Марья Александровна чуть подобрела.

— Ни о каком жалованье не может быть и речи, но… в три часа дня мы садимся обедать. Борщ и котлеты у нас всегда найдутся. Вы можете обедать с нами.

Сказав это, она повернулась и пошла на репетицию. Что же мне оставалось делать? Я согласился.

Таким образом, моим первым жалованьем в театре были борщ и котлеты.

Делать мне в её театре было нечего. Шли маленькие одноактные пьески и старинные водевили вроде «Льва Гурыча Синичкина». Или вдруг Марья Александровна ставила одноактную оперку Пергамента «Княжна Азвяковна» и энергично решала, что главного героя — какого-то Доброго молодца — должен петь я.

— Но я же не умею петь! Я никогда не учился этому, — пробовал я возражать.

— Неважно. Научитесь. Разучивайте роль!

И я пел. Как? Не будем говорить об этом.

В это время на танцевальном горизонте появилась новинка. Последний крик моды. Танго.

Марья Александровна, учтя интерес публики к этому танцу, немедленно вызвала из Большого театра балетмейстера Домашева и сговорилась, что за какую-то сумму он поставит танго для её «девочек».

Домашев выбрал хорошо сложенную и довольно красивую Эльзу Крюгер, а в партнёры к ней взял молодого студента, её поклонника Валентина (фамилию я позабыл), тоже очень интересного и стройного юношу. Эльзе сшили апельсиново-оранжевое платье, а Ваяли (так значился он по афише) взяли напрокат фрак из костюмерной Талдыкина.

Домашев поставил танец интересно и, главное, по-новому, с большой дозой секса. Публика пришла в восторг. Дела в театре стали поправляться, а к этой экзотической паре Марья Александровна ещё добавила красавицу Валентину Кашубу, хорошенькую Дарто, талантливую Юрьеву — довольно сильную балерину — и иногда даже брала потихоньку балерин из Большого театра — Лидию Маклецову и других. Театр ожил. Появились собственные балетоманы — молодые безусые лицеисты и правоведы, покупавшие первый ряд и приезжавшие к балетному отделению. Сборы поднялись.

Мне совершенно нечего было делать в этой программе, и я серьёзно задумался над своим положением в театре.

Вспомнив о своих поэтических способностях, я решил написать острые пародии на злобу дня. Главной заботой дня было, конечно, танго. Я написал первую пародию «Танго — танец для богов». Потом ещё пародию «Фурлана» (это было название нового танца, появившегося вслед за танго). Потом третью, в которой вышучивалась любовная история светской дамы, изменившей мужу с богатым поклонником из-за каракулевого сака, который ей очень хотелось иметь и который был очень моден в этом сезоне в Москве. Прошли годы, и из этого каракуля она теперь шьёт зимние шапки своим детям… Пародия называлась «Тёплый грех».

Потребовав себе фрак напрокат, я выходил немедленно после танго Крюгер и Валли и довольно бесцеремонно вышучивал их. Публика снова была в восторге…

Однажды в театр пришёл журналист, кажется, Сергей Яблоновский из «Русского слова» — самой большой газеты того времени — и написал рецензию о нашем театре. Нельзя сказать, чтобы она была хвалебной — критик всех поругивал, только обо мне выразился так: «остроумный и жеманный Александр

Вертинский».

Этого было достаточно, чтоб я задрал нос и чтоб все наши актёры меня возненавидели моментально.

Но уже было поздно. Успех мой шагал сам по себе. Меня приглашали на вечера. А иногда даже писали обо мне. Однако кокаин я не бросил.

Марье Александровне пришлось дать мне наконец жалованье двадцать пять рублей в месяц, что при борще и котлетах уже являлось каким-то базисом, на котором можно было разворачиваться. Но увы… деньги эти шли главным образом на покупку кокаина.

Вернулась из поездки моя сестра. Мы поселились вместе, сняв большую комнату где-то на Кисловке. К моему великому огорчению, она тоже не избежала ужасного поветрия и тоже «кокаинилась». Часто целыми ночами напролёт мы сидели с ней на диване и нюхали этот проклятый белый порошок. И плакали, вспоминая своё горькое детство. Нас подобралась небольшая компания. Мы вместе ходили по ресторанам, вместе нюхали до утра.

Куда только мы не попадали! В три-четыре часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в «Комаровку» — извозчичью ночную чайную у Петровских ворот, где в сыром подвале пили водку с проститутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали, нюхали это дьявольское зелье.

Конечно, ни к чему хорошему это привести не могло. Во-первых, кокаин разъедал слизистую оболочку носа, и у многих таких, как мы, носы уже обмякли, и выглядели мы ужасно, а во-вторых, наркоз уже почти не действовал и не давал ничего, кроме удручающего, безнадёжного отчаяния.

Я где-то таскался по целым дням и ночам и даже сестру Надю стал видеть редко. А ведь мы очень любили друг друга. Надя была единственным близким мне человеком в этом огромном шумном городе. И я не сберёг её! Что это — кокаин? Анестезия. Полное омертвение всех чувств. Равнодушие ко всему окружающему. Психическое заболевание…

Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили (окно выходило на крышу), и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько их было? Я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год!

И в первый раз в жизни я испугался. Мне стало страшно! Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут ещё галлюцинации… Я уже жил в мире призраков!

В одну минуту я понял все. Я встал. Я вспомнил, что среди

моих знакомых есть знаменитый психиатр — профессор Баженов. Я вышел на Тверскую и решил ехать к нему. Баженов жил на Арбате. Подходя к остановке, я увидел совершенно ясно, как Пушкин сошёл со своего пьедестала и, тяжело шагая «по потрясённой мостовой» (крутилось у меня в голове), тоже направился к остановке трамвая. А на пьедестале остался след его ног, как в грязи остаётся след от калош человека.

«Опять галлюцинация! — спокойно подумал я. — Ведь этого же быть не может».

Тем не менее Пушкин стал на заднюю площадку трамвая, и воздух вокруг него наполнился запахом резины, исходившим от его плаща.

Я ждал, улыбаясь, зная, что этого быть не может. А между тем это было!

Пушкин вынул большой медный старинный пятак, которого уже не было в обращении.

— Александр Сергеевич! — тихо сказал я. — Кондуктор не возьмёт у вас этих денег. Они старинные!

Пушкин улыбнулся.

— Ничего. У меня возьмёт!

Тогда я понял, что просто сошёл с ума.

Я сошёл с трамвая на Арбате.

Пушкин поехал дальше.

Профессор Баженов тотчас принял меня.

— Ну? В чем дело, юноша? — спросил он.

— Я сошёл с ума, профессор, — твёрдо выговорил я.

— Вы думаете? — как-то равнодушно и спокойно спросил он.

— Да. Я уверен в этом.

— Ну тогда посидите пока. Я занят, и мне сейчас некогда.

И он начал что-то писать. Через полчаса он так же спокойно вернулся к нашему разговору.

— Из чего же вы, собственно, заключаете это? — спросил он просто, как будто даже не интересуясь моим ответом.

Я объяснил ему все, рассказав также и о том, как ехал с Пушкиным в трамвае.

— Обычные зрительные галлюцинации, — устало заметил он. Минуту он помолчал, потом взглянул на меня и строго сказал: — Вот что, молодой человек, или я вас посажу сейчас же в психиатрическую больницу, где вас через год-два вылечат, или вы немедленно бросите кокаин! Сейчас же!

Он засунул руку в карман моего пиджака и, найдя баночку, швырнул её в окно.

— До свидания! — сказал он, протягивая мне руку. — Больше ко мне не приходите!

Я вышел. Все было ясно.

Был сентябрь 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В Московском Художественном были объявлены конкурсные испытания — приём статистов, или сотрудников, как это называлось. Я пошёл на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи. Многие были настолько бедны, что не имели даже средств, чтобы снять комнату, и спали на вокзалах и на скамейках парков. Все волновались, заглядывали в какие-то тетрадки и книжечки стихов, что-то повторяли, что-то заучивали наизусть, разговаривали сами с собой вслух и, никого не замечая, бродили по коридорам и фойе театра, бормоча и жестикулируя. Мужчины, подражая провинциальным актёрам, носили буйные шевелюры и бархатные блузы с небрежно повязанными бантами. Женщины — гладко зализанные, с локонами-сосисками, свисавшими с боков, одеты в чёрные пышные платья из тафты или бархата, затянутые в талии и широкие книзу. Шуршащие и мягкие, стилизованные под героинь тургеневских пьес, с белыми строгими камеями в виде брошек, они сжимали в мокрых руках маленькие бархатные книжечки стихов, изданные в виде католических молитвенников.

Почти никто не читал классиков на этом конкурсе. Читали новых поэтов — Блока, Брюсова, Ахматову… Экзаменаторы дивились.

Никто из экзаменаторов не знал ни Цветаевой, ни даже сильно нашумевшего, скандально объявившего себя гением Игоря Северянина с его «Громокипящим кубком» и «Ананасами в шампанском». А молодёжь читала именно этих новых.

Отбирали нас артисты Художественного театра, сидевшие в разных комнатах, и по очереди «допрашивали». Я попал к Мчеделову. Он очень подробно и внимательно гонял меня по установленному курсу и держал довольно долго. В конце концов я был допущен к конкурсу. Это была уже большая победа. Из пятисот-шестисот человек к конкурсу было допущено всего пять. Я помню из них Церетелли, Смышляева, Веру Орлову.

Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом, накрытым сукном, сидел весь цвет театра: Москвин, Качалов, Лужский, Артём, Книппер, Леонидов и, конечно, Станиславский с Немировичем-Данченко.

Первые три актёра прошли благополучно. Церетелли изысканно манерничал, Смышляев закатил истерику из Достоевского, Верочка Орлова плакала настоящими, «вот такими» крупными слезами, видными издалека. Я был последним.

Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись

экзаменаторы.

— Чьи это стихи? — спрашивали меня. Я называл никому не известные имена молодых поэтов моего круга. Артисты Художественного театра пожимали плечами и переглядывались.

— А Пушкина вы читаете?

— Нет.

— Почему? Не любите его, что ли?

— Люблю, конечно. Как можно не любить Пушкина!

— Так как же так, любите и не читаете?

Тут я осмелился выразиться весьма необдуманно, что, по-видимому, и погубило меня.

— Оскар Уайльд говорит, — заявил я, — что классики — это писатели, которых надо внимательно проштудировать и… немедленно забыть.

Это была неслыханная дерзость. Тем не менее меня ещё долго гоняли по программе и улыбались как будто весьма дружелюбно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с Немировичем, повертев в руках карандаш, неожиданно спросил меня:

— Вот вы плохо произносите букву «р», что вы думаете делать с этим дефектом?

— Я буду учиться и исправлю его! — отвечал я дрожащим голосом.

— Довольно. Спасибо.

На мне экзамен закончился. Товарищи поздравляли меня. Все были уверены, что я принят. На другой день я, придя в театр, бросился к доске, где были вывешены имена принятых сотрудников. Моего имени не было.

Началась война. Госпитали Москвы были забиты ранеными. Госпитали эти были не только казённые. Многие богатые люди широко откликались на патриотические призывы земства и открывали на свои средства больницы для раненых.

Однажды вечером я шёл по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Саввишны Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых. В этом особняке был госпиталь её имени. Раненых вынимали из кареты и на носилках вносили в дом. Я стал помогать. Когда последний раненый был внесён, я вместе с другими тоже вошёл в дом. В перевязочной доктора спешно делали перевязки, разматывая грязные бинты и промывая раны. Я стал помогать. За этой горячей работой незаметно прошла ночь, потом другая, потом третья. Постепенно я втягивался в эту новую для меня лихорадочную и интересную работу. Мне нравилось стоять до упаду в перевязочной, не спать ночи напролёт.

В этом была, конечно, какая-то доза позёрства, необходимого мне в то время. Я уже всю свою энергию отдавал госпиталю. Я читал раненым, писал им письма домой, присутствовал на операциях, которые делал знаменитый московский хирург Холин, и уже был вовлечён с головой в это дело. Появились сестры — барышни из «общества»: Верочка Дюкомен, Надя Лопатина, Наташа Третьякова и другие. Все работали на совесть — горячо и самозабвенно, и о кокаине я как-то стал забывать. Мне некогда было о нем думать. Дома я почти не бывал, ночевал в госпитале.

Потом Морозова решила организовать свой собственный санитарный поезд. Подчинялся он «Союзу городов» и имел номер 68-й. Начальником его был назначен граф Никита Толстой. Двадцать пять серых вагонов третьего класса плюс вагон для перевязок, плюс вагоны для персонала, кухня, аптека, склады — таков был состав поезда. Все это было грязно и запущено до предела. Мы все горячо взялись за уборку. Мыли вагоны, красили их, раскладывали тюфяки и подушки по лавкам, устраивали перевязочную, возили из города медикаменты и инструменты. Через две недели поезд был готов. На каждом вагоне стояла надпись: 68-й санитарный поезд Всероссийского союза городов имени Марии Саввишны Морозовой. Я был уже в его составе и записался почему-то под именем «Брата Пьеро». И тут не обошлось без актёрства!

Поезд ходил от фронта до Москвы и обратно. Мы набирали раненых и сдавали их в Москве, а потом ехали порожняком за новыми. Работали самоотверженно. Не спали ночей. Обходили вагоны, прислушивались к каждому желанию, к каждому стону раненого. У каждого был свой вагон. Мой — один из самых чистых и образцовых. Мне была придана сестра — Наташа Третьякова, очень красивая и довольно капризная девушка, в которую я, для начала, немедленно влюбился. Очень скоро с чёрной работы меня перевели на перевязки. Я быстро набил руку, освоил перевязочную технику и поражал даже врачей ловкостью и чистотой работы. Назывался я по-прежнему Брат Пьеро, или попросту Пьероша, а фамилии моей почти никто и не знал. Выносливость у меня была огромная. Я мог ночами стоять в перевязочной. Этим я, конечно, бравировал. В свободные часы, когда не было раненых и поезд шёл пустым, мы собирались в вагоне-столовой, и я развлекал товарищей шуточными стихами, написанными на злобу дня, и даже иногда пел их на какой-нибудь знакомый всем мотив под гитару такого же брата милосердия, Златоустовского или Кости Денисова. Несколько первых рейсов с нами ездила в качестве старшей сестры графиня Толстая, Татьяна Константиновна, родственница графа Никиты.

Это была очаровательнейшая, седая уже, добрая и благородная барыня. Она очень любила цыган и цыганские песни и пляски — крестила у них детей, женила их и вообще была «цыганской матерью». Её скромная квартирка в Настасьинском переулке всегда была полна цыган. Кроме того, она сама писала неплохие по тому времени романсы. А её знаменитую «Спи, моя печальная» на слова Бальмонта пела вся Москва. Меня она заметила сразу, и вскоре я сделался её любимцем.

— Пьероша, спой что-нибудь, — просила она в часы досуга. И я пел — или цыганский романс, или какую-нибудь довольно беззастенчивую, нагловатую пародию на наше житьё-бытьё, никого не щадя и все подмечая. Это имело успех (можно похвастаться?). Тем все и ограничивалось. Я писал, правда, и лирические стихи, но никому их не показывал.

Работы было много. Мы часто не имели даже времени поесть. Людей тогда не щадили на войне. Целые полки гибли где-то в Мазурских болотах; от блестящих гвардейских, гусарских и драгунских полков иногда оставались одни ошмётки. Бездарное командование бросало целые дивизии в безнадёжно гиблые места; скоро почти весь цвет русской императорской гвардии был истреблён.

У нас в поезде солдаты молчали, покорно подставляли обрубки ног и рук для перевязок и только тяжело вздыхали, не смея роптать и жаловаться. Я делал все, что в моих силах, чтобы облегчить их страдания, но все это, конечно, была капля в море!

Помню, где-то в Польше, в местечке, я перевязывал раненых в оранжерее какого-то польского пана. Шли тяжёлые бои, и раненые поступали непрерывным потоком. Двое суток я не смыкал глаз. Немцы стреляли разрывными пулями, и ранения почти все были тяжёлыми. А на перевязках тяжелораненых я был один. Я делал самую главную работу — обмывал раны и вынимал пули и осколки шрапнели. Мои руки были, так сказать, «священны» — я не имел права дотрагиваться ими до каких-либо посторонних вещей и предметов. Каждые пять часов менялись сестры и помощники, а я оставался. Наконец приток раненых иссяк. Простояв на ногах почти двое суток, я был без сил. Когда мыл руки, вспомнил, что давно ничего не ел, и отправился внутрь оранжереи, где было помещение для персонала. Раненые лежали как попало — на носилках и без, стонали, плакали, бредили. В глазах у меня бешено вертелись какие-то сине-красные круги, я шатался как пьяный, мало что соображая. Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу.

— Спойте мне что-нибудь, — попросил голос.

Я наклонился, присел на корточки. Петь? Почему? Бредит он,

что ли?

— Спойте… Я скоро умру, — попросил раненый. Словно во сне, я опустился на край носилок и стал петь. По-моему, это была «Колыбельная» на слова Бальмонта:

В жизни, кто оглянется,
Тот во всем обманется.
Лучше безрассудною Жить мечтою чудною,
Жизнь проспать свою…
Баюшки-баю!

Закончил ли я песню — не помню. Утром мои товарищи с трудом разыскали меня в груде человеческих тел. Я спал, положив голову на грудь мёртвого солдата.

Да, мы отдавали раненым все — и силы свои, и сердца. Расставаясь с нами, они со слезами на глазах благодарили нас за уход, за ласку, за внимание к их несчастной судьбе. За то, что спасли им жизнь. И в самом деле — случалось, что делали невозможное.

Однажды ко мне в купе (вагоны были уже забиты до отказа) положили раненого полковника. Старший военный врач, командовавший погрузкой, сказал мне:

— Возьмите его. Я не хочу, чтобы он умер у меня на пункте. А вам все равно. Дальше Пскова он не дотянет. Сбросьте его по дороге.

— А что у него?

— Пуля около сердца. Не смогли вынуть — инструментов нет. Ясно? Он так или иначе умрёт. Возьмите. А там — сбросите…

Не понравилось мне все это: как так — сбросить? Почему умрёт? Как же так? Это же человеческая жизнь. И вот, едва поезд тронулся, я положил полковника на перевязочный стол. Наш единственный поездной врач Зайдис покрутил головой: ранение было замысловатое. Пуля, по-видимому, была на излёте, вошла в верхнюю часть живота и, проделав ход к сердцу и не дойдя до него, остановилась. Входное отверстие — не больше замочной скважины, крови почти нет. Зайдис пощупал пульс, послушал дыхание, смазал запёкшуюся ранку йодом и, ещё раз покачав головой, велел наложить бинты.

— Как это? — вскинулся я.

— А так. Вынуть пулю мы не сумеем. Операции в поезде запрещены. И потом — я не хирург. Спасти полковника можно только в госпитале. Но до ближайшего мы доедем только завтра к вечеру. А до завтра он не доживёт.

Зайдис вымыл руки и ушёл из купе. А я смотрел на полковника и мучительно думал: что делать? И тут я вспомнил, что однажды меня посылали в Москву за инструментами. В магазине хирургических инструментов «Швабе» я взял все, что мне поручили купить, и вдобавок приобрёл длинные тонкие щипцы, корнцанги. В списке их не было, но они мне понравились своим «декадентским» видом. Они были не только длинными, но и кривыми и заканчивались двумя поперечными иголочками.

Помню, когда я выложил купленный инструмент перед начальником поезда Никитой Толстым, увидев корнцанги, он спросил:

— А это зачем? Вот запишу на твой личный счёт — будешь платить. Чтобы не своевольничал.

И вот теперь я вспомнил об этих «декадентских» щипцах. Была не была! Разбудив санитара Гасова (он до войны был мороженщиком), велел ему зажечь автоклав. Нашёл корнцанги, прокипятил, положил в спирт, вернулся в купе. Гасов помогал мне. Было часа три ночи. Полковник был без сознания. Я разрезал повязку и стал осторожно вводить щипцы в ранку. Через какое-то время почувствовал, что концы щипцов наткнулись на какое-то препятствие. Пуля? Вагон трясло, меня шатало, но я уже научился работать одними кистями рук, ни на что не опираясь. Сердце колотилось, как бешеное. Захватив «препятствие», я стал медленно вытягивать щипцы из тела полковника. Наконец вынул: пуля!

Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. За моей спиной стоял Зайдис. Он был белый как мел.

— За такие штучки отдают под военно-полевой суд, — сказал он дрожащим голосом.

Промыв рану, заложив в неё марлевую «турунду» и перебинтовав, я впрыснул полковнику камфару. К утру он пришёл в себя. В Пскове мы его не сдали. Довезли до Москвы. Я был счастлив, как никогда в жизни!

В поезде была книга, в которую записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжёлых. Лёгкие делали сестры. Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счёту было тридцать пять тысяч перевязок!..

— Кто этот Брат Пьеро? — спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих.

— Да так… актёр какой-то, — ответил дежурный ангел. — Бывший кокаинист.

Господь задумался.

— А настоящая как фамилия?

— Вертинский.

— Ну, раз он актёр и тридцать пять тысяч перевязок сделал, помножьте все это на миллион и верните ему в аплодисментах.

С тех пор мне стали много аплодировать. И с тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы аплодисментов или что они уже на исходе.

Шутки шутками, но работал я в самом деле как зверь…

Попав в санитарный поезд, я совсем потерял связь с сестрой Надей и вспомнил о ней тогда, когда однажды одна из девушек-медсестёр, которая немножко ближе знала меня, сказала:

— Ты знаешь, Пьероша, говорят, твоя сестра умерла!

— Умерла? Где?

— В Москве. В гостинице. Легла в кровать, закрыла двери и приняла сразу несколько граммов кокаина…

И все. Больше я ничего не узнал. Сколько я ни искал потом эту гостиницу, сколько ни наводил справок, так ничего до сих пор не знаю — ни где она умерла, ни где её похоронили…

А события развивались своим чередом. Назревала революция. Бездарное командование проигрывало войну, солдаты роптали, не верили начальству, некоторых особенно зарвавшихся командиров, издевавшихся над ними, иногда пристреливали в спину во время боя. У престола сидел хитрый мужик Распутин и вертел как угодно слабовольным государем. Всюду открыто говорили об измене и предательстве.

Весь 1914-й и 1915-й я провёл в поезде. Лишь в начале 1916 года он был расформирован. Мы разошлись кто куда. Я вернулся в Москву и опять завертелся в богеме…

Ещё до войны в России началось новое течение в искусстве, известное под названием футуризма. В переводе это означает «искусство будущего». Прикрываясь столь растяжимым понятием, можно было в конце концов делать все что угодно. Для нас — молодых и непризнанных — футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание.

Мы, объявившие себя футуристами, носили жёлтые кофты с чёрными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. Мы размалевывали себе лица, как индейцы, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи, сокрушая и ломая все веками сложившиеся вкусы и понятия.

«Футурист жизни», как он себя называл тогда, атлет и красавец, некий Владимир Гольдшмит, ходивший полуголым лето и зиму, поставил сам себе памятник в скверике напротив Большого театра.

Правда, этот памятник через полчаса разбили уличные

мальчишки, но скандал был на всю Москву. А мы этого только и желали.

Помню, как-то в кружке на Дмитровке была лекция академика Овсянико-Куликовского. После лекции были объявлены прения. Мы все во главе с Маяковским пришли, когда прения уже начались. Маяковский взял слово:

— Наш уважаемый лектор, — начал он, — господин Лаппо-Данилевский…

Председатель отчаянно зазвонил в колокольчик:

— Не Лаппо-Данилевский, а Овсянико-Куликовский! — строго поправил он.

— Простите, — извинился Маяковский, — но я не могу согласиться с мнением академика Семёнова-Тяньшанского. Он сказал, что поэзия…

Снова яростно зазвонил колокольчик. Часть публики негодовала, многие смеялись.

Маяковский перекрыл негодущие крики и смех:

— А поэзия, многоуважаемый господин Новиков-Прибой, это…

Зал буквально взорвался:

— Балаган! Долой! Вон их отсюда!

Но Маяковский не успокоился. Академик был переиначен ещё в Муравьёва-Апостола, Сухово-Кобылина и наконец в Кулика-Овсяновского… Это было последней каплей: трясущегося от возмущения Овсянико-Куликовского унесли в кресле за кулисы.

Диспут был сорван. Что и требовалось доказать!

Конечно, Маяковский был самой яркой и крупной фигурой среди футуристов.

Ещё не сняв военную форму, я однажды попал на какой-то поэтический вечер. Там был Маяковский. Он поразил меня силой своих последних стихов. Они были беспощадны. Они яростно хлестали по лицу, били по голове, оглушали:

Я лучше в баре… буду
Подавать ананасную воду.

Мизерабельные, тщедушные поэтишки всей сворой злобно вцеплялись в его широкие бархатные штаны. Малокровные, нервические девицы, визжа, затыкали уши…

Я отыскал его в углу гостиной, где он сидел с Бурлюком, и, пожав ему руку, сказал:

— Вы здорово выросли, Володя!

— Правда? — радостно улыбнулся он. И глаза его заблестели.

А Давид Бурлюк, наставив монокль, через который

разглядывал моё боевое обмундирование, сказал:

— Вот вы благородное дело делали. А мы тут варимся, как пельмени в бульоне…

В жизни Маяковский, мне кажется, был нелёгкий человек: замкнут, суров, надменен до предела, и выражение его лица с брезгливо выпяченной нижней губой было всегда презрительным. При этом он читал свои стихи каким-то особенным, нарочито фатовским голосом, подчёркнуто растягивая слова и снисходительно их бросая. Не знаю, как он читал впоследствии, когда я уже уехал за границу, но в моё время он читал их так. Во всей его манере держаться, в фигуре, осанке и жестах чувствовались непередаваемое презрение к окружающим и явный вызов обществу. Он был непримирим и беспощаден в своих суждениях и оценках. Прирождённый революционер, после Октябрьской революции он сразу же стал на сторону большевиков.

За словом в карман Маяковский, как говорится, не лез. Помню, как-то довольно серенький, но очень самолюбивый поэт Мешков, у которого уже был напечатан тощий сборничек «Снежные будни», осмелился критиковать какое-то стихотворение Маяковского в его присутствии. Маяковский, презрительно усмехнувшись, скривил рот и процедил сквозь зубы:

— Ну, конечно, вам оно не нравится! Да ведь вы небось привыкли:

Сучка божия не знает
Ни заботы, ни труда!

Взрыв хохота присутствующих окончательно сразил Мешкова. Он встал и вышел.

Первые успехи

Вечерами летом мы часто собирались на Тверском бульваре, где было кафе Грека. Стакан чаю с куском кулебяки стоил пятнадцать копеек. Но и эти деньги были не у каждого из нас. Поэтому одно время было решено, что каждый вечер за все эти чаи и кулебяки будет платить кто-нибудь один из присутствующих. Зато потом целую неделю ему уже не надо ничего платить, ибо это сделают другие товарищи — по очереди. Очередь дошла и до меня. В моем кармане в этот вечер было копеек тридцать. А счёт был рубля на полтора. Где достать ещё рубль? Я уже, конечно, не ел и не пил ничего, а побежал в конец бульвара к Страстному, чтобы подкараулить там кого-нибудь, у кого можно бы перехватить рубль. Как назло никто из знакомых не проходил. Я начал нервничать. Шутка сказать — в залоге у Грека сидела вся наша братва и не могла двинуться! Грек не понимал шуток и в долг не давал. Я уже стал приходить в отчаяние. Как вдруг — о небо! — в глубине бульвара замаячила грузная фигура одного знакомого и солидного журналиста, с которым меня когда-то познакомила за кулисами театра сестра Надя. Это был один из редакторов весьма распространённой бульварной газеты «Раннее утро» Александр Осипович Волк. Я бросился к нему:

— Здравствуйте, Александр Осипович, — радостно вскричал я, чуть не кидаясь ему на шею. Волк шёл, по-видимому, после сытного ужина и перекладывал зубочистку из одного угла рта в другой.

— А… здравствуйте, милейший! — равнодушно сказал он, не особенно, по-видимому, обрадовавшись встрече. И тут же начал меня журить: — Послушайте, дорогой… Ну как вам не совестно? На кого вы похожи? Ходите размалёванный, как клоун какой-то. Занюханный, несчастный, смешной… Ведь вы же молодой человек! Подаёте кой-какие надежды, так сказать. Я вот слушал вас в театре у Арцыбушевой. Даже написать хотел. Ведь из вас может ещё выйти прекрасный куплетист, например, и прочее. Одумайтесь!

Я дал ему высказаться. Потом, набрав воздуху и сделав покорное лицо, сразу выпалил:

— Александр Осипович, одолжите мне рубль!

Волк поморщился. Пауза.

— Я, конечно, дам вам этот рубль, но… Это ведь вас не исправит, голубчик, — задумчиво сказал он. — Нате, возьмите. — И он полез в жилетный карман и вытащил оттуда серебряный

рубль!

Урра!

Больше он мне был не нужен. Запрятав рубль в карман, я моментально обнаглел.

— А чего, вы, собственно, хотите от меня? — спросил я, глядя ему в глаза. — У меня ведь жизнь ещё только начинается. А так как вы к тому же не мой папаша, меня не содержите и обо мне не заботитесь. Не правда ли? Я пока ещё… — тут я на минутку задумался, — я волк, только не такой жирный, как вы! Я голодный волк-одиночка! Меня не кормят кроликами в зоологическом саду, как вас. Я сам добываю себе пищу!.. А вот если я захочу… — это уже было совсем по-мальчишески, — если захочу, я через три года буду знаменитостью! Хотите пари на три рубля?

Волк улыбнулся.

— Ну что ж, я только порадуюсь за вас!… — снисходительно сказал он, принимая пари.

Зажав рубль в кулаке, я помчался в кафе, где уже складывали скатерти перед закрытием, и заплатил по счёту, выкупив всю нашу уже потерявшую надежду компанию.

Знаменитостью же я стал не через три года, а через год. Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперёд, получал я уже сто рублей в месяц. Нотные магазины на Петровке были завалены моими нотами: «Креольчик», «Жамэ», «Минуточка».

В витринах Аванцо на Кузнецком и в кафе у «Сиу» стояли мои портреты в костюме Пьеро. На сцену ежевечерне мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты меня изощрённо крыли. А публика частью аплодировала, частью свистала. Но шла на мои гастроли лавой. Студенты и курсистки переписывали мои стихи, раскупали ноты и развозили их по всей Руси великой.

Куда же дальше? Я выиграл. Это было ясно. А Волка этого самого, увы, нигде не встречал. И вот ещё через год или два, когда я уже уехал за границу и, прибыв в Константинополь, поставил свои чемоданы в холле гостиницы «Пера-Палас», навстречу мне с одного из огромных кресел поднялась грузная фигура.

— Вы не узнаете меня? — спросил он меня.

— Нет.

— Я — Волк. Александр Осипович Волк. Помните? Я проиграл вам три рубля. Вот уже три года, как я ношу их в

бумажнике, чтобы вручить вам. — И он подал мне новенькую зеленую трёшку.

«Санта мадонна… — подумал я. — И это он отдаёт долг мне теперь, когда, во-первых, деньги эти мне не нужны, а во-вторых, уже целая тысяча русских рублей ничего не стоит на турецкие деньги». Я только покачал головой.

О, если бы он дал мне «зелёненькую» тогда, на бульваре!

Вернёмся, впрочем, в Москву военных лет.

С фронта везли и везли новые эшелоны калек — безногих, безруких, слепых, изуродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. Все школы, частные дома, где были большие залы, институты, гимназии, пустующие магазины — все было приспособлено под госпитали.

Трон шатался… Поддерживать его было некому. По стране ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене генералов, занимавших командные должности, о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов.

Страна дрожала как от озноба, сжигаемая внутренним огнём. Россию лихорадило. Но богемы это пока не касалось. Все продолжали жить своими интересами: издавали сборники стихов, грызлись между собой, эпатировали буржуа, писали заумные стихи, выставляли на выставках явно издевательские полотна и притворялись гениями. И сквозь весь этот вороний грай, крик, писк и вой, покрывая его своей мощью, грозно гремел голос Маяковского:

> Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и тёплый клозет!
> Как вам не стыдно о представленных к Георгию, вычитывать из столбцов газет?!

Ему свистели. В кабаре и кафе в него летели бутылки. Помню, как я ловил их и швырял обратно в публику, когда мы выступали как-то в Петрограде в «Бродячей собаке», и как Борис Пронин — директор кабаре — вывел нас через чёрный ход на улицу, спасая от разъярённой толпы гостей.

О войне никто не хотел думать. В зале Политехнического музея в Москве самозабвенно пел свои «поэзы» изысканногалантерейный Игорь Северянин. Вспотевшие от волнения курсистки яростно аплодировали ему, единогласно избрав его «королём поэзии»…

> Тиана, как больно! Как больно, Тиана!

Вложить вам билеты в лиловый конверт
И звать на помпезный поэзоконцерт!
Тиана, мне грустно! Мне больно, Тиана!

— Браво! — задыхаясь кричали курсистки. — Браво!..

А он стоял, гордый и надменный, в чёрном глухом сюртуке, с длинным лицом немецкого пастора, и милостиво кивал головой, даже не улыбаясь.

Каретка куртизанки в коричневую лошадь
По хвойному откосу спускается на пляж… —

распевал он, раскачиваясь в стихотворном ритме.

Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить;
Блюстителем здоровья назначен юный паж.
Цилиндры солнцевеют, причёсанные лосско,
И дамьи туалеты — пригодны для витрин…

— А вы были когда-нибудь на пляже, Игорь? — спрашивал я его.

— А что?..

— Да так! Кто же ходит на пляж в цилиндрах и «туалетах»? Туда приходят в купальных костюмах. А куртизанок в калошах вы когда-нибудь видели?

Он даже не удостоил меня ответом.

К концу вечера, отдавая дань тяжёлому положению на фронте, он читал какие-то беспомощно-патриотические стихи. Не помню их содержание, а голове засели лишь две заключительные строки:

Тогда, ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

И тем не менее успех у него был потрясающий.

Северянин был человек бедный, но тянулся он изо всех сил, изображая пресыщенного эстета и аристократа. Это очень вредило ему. Несомненно, он был талантлив: в его стихах много подлинного чувства, выдумки, темперамента, молодого напора и искренности. Но ему не хватало хорошего вкуса и чувства меры. А кроме того, его неудержимо влекло в тот замкнутый и пустой

мир, который назывался «высшим светом».

Сидя же на чердаке, где-то на Васильевском острове, на шестом этаже (ход у него, как и у меня, через хозяйку), в дешёвой комнате, было довольно трудно казаться утончённым денди…

В Москве на Тверской — насупротив гостиницы «Люкс»[2] — клоун М. А. Станевский-Бом открыл кафе. Глубокой осенью, когда кафе «Грек» уже закрыли на зиму, мы перекочевали в «Бом» — кафе очень уютное, тёплое и нарядное. Подавали там хорошенькие официантки в белых чистых передничках и накрахмаленных головных наколках. Под стеклом столиков и на стенах — рисунки художников, посещавших кафе, стихи поэтов и автографы литераторов. Кроме того — ещё книга, в которую мы писали хозяину на память рифмованные комплименты.

Там можно было встретить кого угодно. Иногда в «Боме» сидел Алексей Толстой, бывали Эренбург, Сургучев, Анатолий Каменский, Лев Никулин, Владимир Лидин, Дон-Аминадо… Из художников — скульптор Меркулов, Сарьян, Кончаловский, Ларионов, Гончаров, футуристская молодёжь. С неугасающей трубкой с утра до вечера сидел в углу художник Александр Койранский, наезжали из Петрограда Судейкин, Бенуа…

Часто можно было увидеть там Динку сумасшедшую — графиню Роттермунд — в больших жёлтых бриллиантах, которые оттягивали ей уши, ещё очень красивую, но уже увядающую от курения опиума и употребления кокаина. Бывали знаменитая Настя-натурщица, Шурка-зверёк — Монахова, хорошо известные Москве звезды кафешантанов, и много ещё молодых и красивых женщин. Словом, кафе процветало, и мы привыкли к нему.

Как-то мы с Маяковским шли по Тверскому бульвару от Никитских ворот к Страстному. Мы направлялись в это кафе. Была пронзительная злющая осень. Мелкий колючий дождик залезал нам в нос, в уши, за воротник. Было очень холодно. Мы ёжились и мёрзли. Маяковский читал стихи Ахматовой о Пушкине:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озёрных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов…

Стихи ему, по-видимому, очень нравились: читал он их задушевно, вполголоса.

Придя к «Бому», мы сели за столик в углу, на бархатный розовый диванчик. В кафе было полно народу. Через минуту к нам подошла чистенькая накрахмаленная подавальщица и

спросила:

— Вам что?..

Маяковский задумался. Потом, глядя ей в глаза, спокойно сказал:

— Стакан очень горячего чаю и… драповое пальто!..

Февральская революция многих обрадовала, многих огорчила, но поразила всех, а иных как-то выбила из колеи. Спешно прикрепляя к груди красные банты, перепуганные буржуа, крупные и мелкие чиновники встретили её с растерянной улыбкой на дрожащих губах, уверяя друг друга, что она и «великая» и «бескровная»!.. Везде, где только можно было, произносились успокоительные речи… Все будет хорошо, вот увидите! Только не надо волноваться! А главное, надо продолжать «войну до победного конца!» — иначе «что же подумают о нас наши союзники?».

На именинах, за кулебяками, на блинах, на банкетах, в кружках и собраниях все те же энергичные помощники присяжных поверенных в форме всевозможных санитарных учреждений, «земгусары», как их называли, стучали ножами по тарелкам, требуя внимания, и, раскупорив застоявшиеся фонтаны ещё не использованного красноречия, рвали и метали в припадках «революционного» патриотизма. Они были всюду. Куда бы вы ни ткнулись, вы везде натыкались на них. Они ездили на фронт уговаривать солдат продолжать войну, соловьями заливались на митингах, грозно бряцали оружием, которого никогда и в руках не держали, и срывали голоса.

На вакантном после отречения Николая престоле сидел «Александр четвёртый» — рыжий присяжный поверенный в защитном френче и крагах с причёской бобриком, как у фельдфебеля. Это был актёр. И плохой актёр!

К нему скоро приклеилась этикетка «Печальный Пьеро Российской революции».

Собственно говоря, это был мой титул, ибо на нотах и афишах всегда писали: «Песенки печального Пьеро». И вообще на «Пьеро» у меня была, так сказать, монополия! Но… я не возражал!

По улицам водили «разоружённых» городовых, прятавшихся кто у кумы, а кто в подвалах «раскамуфлированных» приставов и околоточных с перекошенными от страха лицами. А в милиции, в уголовном розыске, сидела в качестве главного комиссара тоненькая, тщедушная и анемичная, юридического факультета девица Сонечка Вайль и испуганно косилась на блестящий наган, прикрытый сумочкой. Наган лежал на столе перед ней — он полагался ей по чину, а она его смертельно боялась. Я был знаком с Сонечкой. Это была приличная, хорошенькая и

несколько рахитичная девственница-барышня, тщательно охраняемая своими родителями. Мы, по их просьбе, по очереди провожали её обычно домой после разных диспутов и лекций, ибо она очень боялась возвращаться одна по тёмным улицам.

На площадях, у памятника Скобелеву, на Страстном, у Манежа с утра до вечера шли митинги. Но все оставалось пока на своих местах: магазины торговали, кафе тоже, театры работали, спешно перестраивая репертуар. В маленьком Петровском театре, где я выступал, режиссёр Давид Гутман, большой шутник и выдумщик, ставил наспех сколоченную пьеску «Чашка чая у Вырубовой»; предприимчивые кинодельцы — Дранков, Перский и другие — уже анонсировали фильмы с сенсационными названиями вроде «Тайна Германского посольства» и пр. Появились новые деньги, сразу же названные «керенками» в честь их создателя. Они были маленькие, имели жалкий вид и походили на этикетки от лекарств. Спекулянты стали сразу «зарабатывать» их целыми простынями.

Все чего-то ждали. Не может быть, чтобы все так спокойно кончилось! Ведь это же революция!.. И — не страшная? Это было подозрительно.

— Ничего! Ещё увидите! Подождите! — говорили скептики. — Это ведь только цветочки! А ягодки-то впереди!

Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак. Как будто её и не было. Пооткрывались новые кафе, «Питерск» на Кузнецком и «Кафе поэтов» в Настасьинском. Жёлтых кофт мы уже не носили, но чудили, как всегда. Впрочем, это уже не производило особого впечатления. К нам уже привыкли и слушали нас спокойно, со снисходительными улыбочками. Скандал не может длиться бесконечно! Футуризм сделал своё дело, обратив на нас внимание общества, и больше он уже не был нужен ни нам, ни публике. Приезжал из Италии «отец футуризма» Маринетти, но большого успеха уже не имел. Постепенно мы стали отходить от футуризма. Каждый уже шёл своим путём. В итоге футуризм ничего и никого не создал. Маяковский? Но Маяковский был велик сам по себе, независимо ни от чего. Его цели и устремления были иными и совсем других масштабов.

А я в это время (как уже вам докладывал) стал «знаменитостью» на московском горизонте и жалобно мурлыкал свои «ариетки» в костюме и гриме Пьеро. От страха перед публикой, боясь своего лица, я делал сильно условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко-красный рот. Чтобы спрятать своё смущение и робость, я пел в таинственном «лунном» полумраке, но дальше пятого ряда меня, увы, не было слышно. И заметьте, это в театрике, где всего было триста мест! Впечатлительный и

падкий на романтику женский пол принимал меня чрезмерно восторженно, забрасывая цветами. Мне уже приходилось уходить из театра через чёрный ход. Мужчины хмурились и презрительно ворчали:

— Кокаинист!

— Сумасшедший какой-то!

— И что вы в нем нашли? — недоуменно спрашивали они женщин.

Я и сам не знал. Петь я не умел! Поэт я был довольно скромный, композитор тем более наивный! Даже нот не знал, и мне всегда кто-нибудь должен был записывать мои мелодии. Вместо лица у меня была маска. Что их так трогало во мне?

Прежде всего наличие в каждой песенке того или иного сюжета. Помню, я сидел на концерте Собинова и думал: «Вот поёт соловей русской оперной сцены… А о чем он поёт? Розы-грёзы. Опять розы. Соловей — аллей. До каких пор? Ведь это уже стёртые слова! Они уже ничего не говорят ни уму, ни сердцу».

И я стал писать песенки-новеллы, где был прежде всего сюжет. Содержание. Действие, которое развивается и приходит к естественному финалу. Я рассказывал какую-нибудь историю вроде «Безноженьки» — девочки-калеки, которая спит на кладбище «между лохматых могил» и видит, как «добрый и ласковый боженька» приклеил ей во сне «ноги — большие и новые»… Я пел о «Кокаинетке» — одинокой, заброшенной девочке с «мокрых бульваров Москвы», о женщине в «пыльном маленьком городе», где «балов не бывало», которая всю жизнь мечтала о Версале, о «мёртвом принце», «о балах, о пажах, вереницах карет». И вот однажды она получила дивное платье из Парижа, которое, увы, некуда было надеть и которое ей наконец надели, когда она умерла! И так далее…

У меня были «Жамэ», «Минуточка», «Бал господен», «Креольчик», «Лиловый негр», «Оловянное сердце»… Одну за другой постепенно создавал я свои песни. А публика, не подозревавшая, что обо всем этом можно петь, слушала их с вниманием, интересом и сочувствием. Очевидно, я попал в точку. Как и все новое в искусстве, мои выступления вызывали не только восторги, но и целую бурю негодования. В чем только не упрекали меня! Как только меня не поносили и не ругали! Страшно вспомнить. Уже позже, в Киеве, на концерте какой-то педагог вскочил на барьер ложи и закричал:

— Молодёжь! Не слушайте его! Он зовёт вас к самоубийству!

Молодёжь с хохотом стащила его с барьера ложи.

А все потому, что в своей песенке «Кокаинетка» я осмелился сказать:

Так не плачьте! Не стоит, моя одинокая деточка,
Кокаином распятая в мокрых бупьварах Москвы!
Лучше синюю шейку свою затяните потуже горжеточкой
И ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы!

Конечно, это было жестоко и не весьма педагогично. Но, увы, это было единственное, что можно было ей посоветовать. Сергей Городецкий в Тифлисе как-то написал рецензию на моё выступление. Там были слова:

«Я ещё не знаю, что лучше — некрасовское «позовём-ка её да расспросим» или его «И ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы!».

Во время выступлений в Киеве я заметил мужчину и женщину, которые не пропускали ни одного моего концерта. Сидели они всегда в первом ряду. Она бешено аплодировала мне, а он, как безумный, наотмашь лупил её по щекам. И так каждый раз. Я уходил за кулисы в слезах отчаяния, догадываясь, что эта женщина — из тех самых, «распятых» кокаиновой смертью. Да, несладок был этот мой успех.

В одно лето мы с нашим театриком, который держала добрейшая Марья Николаевна Нинина-Петипа — бывшая актриса, происходившая из славной театральной династии Петипа, — отправились на гастроли в Тифлис, в сад Общественного собрания. В её труппе было много разных актёров — Поль, Женя Скован, молодой Покрасс (Аркадий, кажется) и другие.

Гастролёром был я.

Однажды в театр пришёл пианист Игумнов и сказал Марье Николаевне, что хочет послушать меня. Я перетрусил и отказался выступать. На другой день, к ужасу своему, я снова увидел его фигуру в театре. Я хотел было опять уклониться от выступления, но Марья Николаевна сказала:

— Этак вы сорвёте мне весь сезон.

Пришлось петь. После спектакля Игумнов пришёл ко мне за кулисы. Мы познакомились. Потом ужинали в саду. Я был очень недоволен его посещением и сказал ему:

— Зачем вы пришли? Ведь вы же только смутили меня своим визитом.

— Почему? — удивлённо спросил он.

— Потому что я не понимаю, как вы, музыкант высокого класса, воспитанный на Бахе, Генделе и Шумане, можете слушать такую дилетантщину! Это же просто издевательство надо мной!

Он улыбнулся.

— Я должен вам заметить, — сказал он, — что искусство

двигают вперёд почти всегда дилетанты, люди, не связанные никакими канонами!..

Грузины принимали меня очень хорошо. Театр был всегда переполнен, а в день моего бенефиса на сцену вкатили автомобиль, сделанный из цветов, и подарили большой, оправленный серебром рог. Вечером на Куре был дан в честь меня банкет. Произносились тосты и речи, от которых таяло моё сердце. Все было хорошо до тех пор, пока не стали пить из моего бенефисного рога. Когда очередь дошла до меня, тамада (надо отдать ему справедливость) разрешил не пить его до конца, поскольку у меня нет соответствующей практики. Однако из самолюбия и молодечества я осушил содержимое рога до последней капельки. В результате «полёг костьми» и обнаружил себя лишь утром в кустах над пенящейся Курой.

По приезде из Грузии, о которой у меня остались самые нежные воспоминания, я снова окунулся с головой в московскую жизнь. Я выступал в различных театрах миниатюр и наконец снова водворился в своём милом театрике в Петровских линиях у Марьи Николаевны под крылышком. Появился «мсье Алли» (Алексей Зарубаев), который в своё время жил в Париже, где и научился петь французские песенки. Ему ещё дописали несколько бойких и забавных песенок на русском языке, с которыми он выступал с большим успехом, а его песенку «Я не такая, я иная!..» напевали все. Это был до некоторой степени мой соперник, но меня это не волновало. Появилась Анна Степовая с цыганскими романсами. Гастролировал Хенкин, был неплохой балет — Бони, Кирсанова, Мария Юрьева… Дирижировал Владимир Бакалейников.

Театр прочно завоевал московскую публику, и попасть на спектакли (хотя они шли двумя сеансами ежедневно) было трудно. Назывался он теперь «Театр сольных выступлений».

Я выезжал время от времени на гастроли. Был в Одессе, пел в Петрограде в театре «Павильон де Пари», но в общей программе пел по три-четыре песенки, не больше. Потом возвращался в Москву и пел сезон на своём обычном месте.

У меня был издатель, очень ловкий и предприимчивый, некий Андржеевский, в своё время купивший мою первую песню «Минуточка» за двадцать пять рублей. Он скупал у меня все мои песни на корню, по дешёвке, и издавал их большими тиражами, украшая ими витрины всех нотных магазинов и в Москве, и в провинции. Все это вместе взятое плюс яростная травля прессы делали мне большую рекламу. Все же меня эти выступления в «миниатюрах», в общей программе, не удовлетворяли, хотя я и был главным гастролёром. Мне хотелось чего-то большего.

Однажды ко мне за кулисы пришёл антрепренёр Леонидов. Это была довольно крупная фигура в театральном мире. Он возил по провинции больших гастролёров: Художественный театр, Собинова, Гельцер, Нежданову и даже, кажется, Шаляпина. Приходил он в театр несколько раз, очевидно, приглядываясь ко мне, и однажды спросил меня:

— Ну и что же? Вас удовлетворяет ваше теперешнее положение?

— Нет! — откровенно сознался я.

Он задумался, но ничего больше не сказал.

Я продолжал петь. В сущности, это был мой первый серьёзный театральный сезон. Был октябрь 17-го года. Дирекция решила дать мне бенефис. Я написал несколько новых песен, заказал себе новый костюм Пьеро — чёрный вместо белого, и Москва разукрасилась огромными афишами: «Бенефис Вертинского».

Билеты были распроданы за один час, и, хотя в этот день было три сеанса вместо двух, все же публика могла бы наполнить ещё пять таких театров. Начался вечер. Москва буквально задарила меня! Все фойе было уставлено цветами и подарками. Большие настольные лампы с фарфоровыми фигурами Пьеро, бронзовые письменные приборы, серебряные лавровые венки, духи, кольца-перстни с опалами и сапфирами, вышитые диванные подушки, гравюры, картины, шёлковые пижамы, кашне, серебряные портсигары и пр. и пр. Подарки сдавались в контору театра, а цветы ставили в фойе прямо на пол, так что уже публике даже стоять было негде.

По старому календарю это было 25 октября. День, как вам известно, начала Великой Октябрьской революции.

После бенефиса, в первом часу ночи, захватив с собой только те цветы, которые были посажены в ящиках: ландыши, гиацинты, розы, сирень в горшках, — я на трёх извозчиках поехал домой, в Грузины. Подарки я оставил в театре, в конторе.

Доехав до Страстного, я вдруг отчётливо услыхал звуки выстрелов. Начиналась революция. На этот раз настоящая. Её ждали. В «Метрополе» сидели юнкера, охраняя спекулянтские чемоданы. У Никитских ворот засели белогвардейцы.

Извозчики остановились, потом переглянулись, пошептались и сказали:

— Слезай, барин. Дальше не поедем. Стреляют.

Что было делать? Куда девать цветы? Я подумал, велел извозчикам снести ящики и вазоны к памятнику Пушкина и пешком пошёл в Грузины.

Если хотите проверить мои слова, пойдите в Ленинскую

библиотеку и просмотрите газеты за этот день — 25 октября 1917 года. И вы увидите, что во всех газетах в этот день были большие объявления: «Бенефис Вертинского».

Увы. Тогда я не понял, с каким великим событием совпал мой первый бенефис… Я бы сказал заведомую неправду, если бы стал уверять вас, мой дорогой читатель, что сразу уверовал в революцию. Нет, прошлое ещё цепко держало меня под своим влиянием, я не был ни достаточно мудр, ни достаточно политически образован, ни достаточно проницателен, чтобы её принять и понять.

На всех постах революции стояли новые, никому не известные люди, какие-то «большевики», которых раньше никто не видел, — прямые и напористые, грубоватые и совсем простые, пришедшие с фабрик, заводов, шахт, крепко севшие на свои места и, по-видимому, не собиравшиеся их уступать никому.

Сразу переменилось лицо Москвы. Куда девались корректные, элегантные разговорщики — помощники присяжных поверенных, бодрые, любезные, как приказчики из знаменитых молочных магазинов Чичкина? Куда исчезли снисходительно-либеральные московские баре, земцы, общественные деятели? Они исчезли. Притаились и выжидали, переодетые во все «старенькое». Москва примолкла.

Я же пел в своём Петровском театрике у Марьи Николаевны, писал новые вещи.

Однажды Леонидов сказал:

— Я хочу вас попробовать. По-моему, вы и ваше искусство шире и больше тех рамок, в которых вы находитесь. Театр миниатюр мал для него. Насколько я понимаю, вас надо вывести на широкую дорогу. Хотите рискнуть?

— Что это значит? — спросил я.

— Это значит, что я сниму несколько городов, выпущу ваши афиши и попробую сделать из вас концертанта. Солиста. Настоящую артистическую величину. Я верю в вас и думаю, что не ошибусь. Хотите?

Я согласился. Уж очень это было заманчиво. Взяв отпуск в театре, я уехал с ним.

Первый город был Екатеринослав (теперь Днепропетровск). Приехав в город, я прежде всего пошёл посмотреть театр. В нем было тысяча двести мест! Мне стало ясно, что я не одолею этого театра. В моем Петровском театрике триста мест, и то дальше пятого ряда меня уже не слышно. А тут тысяча двести. Я испугался и стал умолять Леонидова отпустить меня домой. В отчаянии я предлагал ему даже уплатить неустойку.

— Я провалюсь! Я не смогу! — убеждал я его. — Марья

Николаевна вам все заплатит!

Леонидов был неумолим.

— Падать, так с большого коня! — сказал он… и повёл меня в кассу.

Старенькая горбатая кассирша, двадцать пять лет прослужившая в этом театре, сказала мне:

— Сбор полный, но мало того, у меня в театре есть за колоннами десять таких мест, с которых ничего не видно. За двадцать пять лет, что я здесь, в этом театре, они ни разу ещё не продавались. На ваш концерт впервые даже эти десять мест проданы!

Ну что было делать? Чтобы ещё больше подбодрить меня, Леонидов показал мне две телеграммы. В одной было написано: «Провал полный. Леонидов». В другой: «Огромный успех! Наша лошадка пришла!»

— Вот, — сказал он, — я заготовил эти две телеграммы моему компаньону Варягину. От вас зависит, какую из них я пошлю сегодня ночью.

И ушёл.

Я остался в театре. Разложив свой чемоданчик в уборной, я поставил икону Александра Невского, которую всегда возил с собой, зажёг лампадку, вызвал пианиста и сел за рояль — репетировать. Начало было в восемь часов вечера.

Кое-как я распелся. Но сердце… нервы… мучительный страх перед публикой… Я чувствовал, что не могу владеть собой.

Без четверти восемь я велел принести мне стопку коньяку. Перед открытием занавеса я выпил её до дна.

И сразу все стало просто. По телу разлился блаженный покой.

«Будь что будет. Все равно, — подумал я. — Падать так падать!»

Концерт я начал тихо, как всегда. Публика насторожилась. Тишина была особенная. Выжидающая, но пока ещё недоверчивая. Да… я забыл ещё сказать, что моему концерту был придан антураж. Сначала профессор Иодко играл на цитре, потом выходил чтец-рассказчик — маленький пожилой Володя Сладкопевцев, неподражаемый исполнитель рассказов Горбунова и Щедрина, скромный и талантливый.

Эти выступления до меня все же как-то расположили публику. Атмосфера была хорошая. Первое отделение прошло благополучно. Леонидов не показывался. Во втором отделении, подкрепившись ещё глотком коньяку, я уже пел увереннее. «Бал господен» тронул наконец все сердца. Мне аплодировали довольно много.

Последней была песня «То, что я должен сказать». Я уже был

в ударе, что называется. В полной боевой готовности. Подойдя к краю рампы, я бросал слова, как камни, в публику — яростно, сильно и гневно! Уже ничего нельзя было удержать и остановить во мне… Зал задохнулся, потрясённый и испуганный.

Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!..

Я кончил.

Я думал, что меня разорвут! Зал дрожал от исступлённых аплодисментов. Крики, вой, свистки, слезы и истерики женщин — все смешалось в один сплошной гул.

Толпа ринулась за кулисы. Меня обнимали, целовали, жали мне руки, благодарили, что-то говорили…

Я ничего не слышал и ничего не понимал. Я упал в кресло. Меня трясла нервная дрожь. Так вот он, этот страшный экзамен на звание артиста! Я выдержал его на этот раз. И вдруг сквозь всю эту толпу я увидел лицо Леонидова. Он шёл ко мне. В глазах у него были слезы.

— Молодец, мальчик! — сказал он, обнимая меня. — Умница! Вот… я рву обе телеграммы и посылаю эту…

Он прочёл мне её: «Успех небывалый. Вертинский победил. Нас можно поздравить! Мы угадали будущего гения. Леонидов».

С тех пор я стал концертантом.

С этого дня я уже не пел в «миниатюрах». Я пел концерты со своим хорошо подобранным антуражем. Билеты раскупались задолго до моего выступления. Я делал аншлаги, получал большие гонорары…

А в Москве жить становилось все труднее. В магазинах все припрятали. Исчезли сахар, белый хлеб. Пить приходилось чуть ли не денатурат. Ничего нельзя было достать за все мои деньги. А тут я ещё, как назло, влюбился в одну балерину. Балерина была талантлива, но злая, капризная и жадная невероятно. С большими усилиями, благодаря своему имени и гонорарам, я доставал ей все, что было возможно, — духи, одеколон, мыло, пудру, шоколад, конфеты, пирожные. «По знакомству» мне давали все. Я покупал ей золотые вещи, материалы для платьев — шёлк и шифон, бархат и кисею… Все это она принимала как должное, но всего этого ей было мало.

Танцует она, например, в «Эрмитаже». Я захожу к ней за кулисы. Смотрю, она «вытрющивается» перед каким-то невзрачного вида посетителем.

— Что это за тип? — спрашиваю я. — И чего вы так перед ним выворачиваетесь?

— Он мне обещал принести одеколон, — говорит она.

— Ничтожество! — в бешенстве кричу я. — Я ведь только сегодня утром прислал вам ящик от «Ралле», где этого одеколона пять флаконов, и духи, и пудра, и мыло!

Она пожимает плечами. Ей мало этого!

Гуляем как-то мы с ней по Мясницкой (теперь улица Кирова). Правую сторону занимают магазины земледельческих орудий, в окнах выставлены шарикоподшипники. Подходим к витрине.

— Муся, — говорю я, — вот… шарикоподшипники! Купить вам?

— Купите.

— А зачем?

— Да так. Пусть лежат!

Есть же такие балерины, прости господи!..

Театральный сезон кончился. Театр закрылся. Марья Николаевна «уступила» меня одесскому театру «Гротеск» на ряд гастролей. Я сильно побаивался за свой успех в этом своеобразном городе. Одесситы — большие патриоты, у них свои особые вкусы, они имеют своих актёров, которых очень любят, и признают «привозных» очень осторожно и неохотно. Тем более что у них была своя собственная «звезда» в песенном жанре — Иза Кремер, довольно талантливая исполнительница французских и немецких песенок, переведённых на русский язык, а также еврейских. Разница между нами была та, что она пела чужие песни, а я — свои собственные, ну и в различии жанров, конечно. Муж её был главным редактором самой крупной газеты — «Одесские новости», и я боялся, что эта газета мне «не даст ходу». Однако этого не случилось. Иза, с которой я был знаком в Москве, пришла на мой концерт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность. Она привела с собой даже мужа — всесильного редактора Хейфеца. Публика приняла меня тепло, и отзывы в газетах на другой день были прекрасные. У меня до сих пор сохранилась рецензия Эдуарда Багрицкого, тогда скромного одесского репортёра.

… Рассказывая о своих театральных и концертных дебютах, я вовсе упустил из виду и позабыл ещё одну сферу искусства, в которой тоже подвизался. Речь идёт о кино. А забыл я об этом скорее всего потому, что кинематограф тогда искусством не считали. Это было, по общему мнению, низкое развлечение, что-то вроде балагана, оснащённого новейшей (по тем временам!) техникой. Но заработать, снимаясь в кино, можно было неплохо. И ещё до того, как я начал выступать со своими песенками, мне довелось подрабатывать на первой русской кинофабрике Ханжонкова. Поначалу там работали наощупь и наугад, никто

ещё не имел опыта в этом деле, но фабрика постепенно крепла и завоёвывала положение на кинорынке, который до этого питался только привозными иностранными картинами. Первыми режиссёрами, насколько я помню, были Чардынин и Старевич, потом Евгений Бауэр, потом некоторое время был Иванов-Гай, потом уже появились Протазанов и другие. Была небольшая труппа. Из неё я помню Тамару Гедиванову, Нельскую и Триденскую. Из мужского персонала помню Ивана Мозжухина. Совсем юный актёр Народного дома, он был необычайно фотогеничен (хотя тогда этого слова ещё и не знали, оно появилось позже).

Пробегая мысленно взором свою актёрскую жизнь, я вспоминаю то один, то другой эпизод, который сам по себе настолько забавен, что его очень жалко не рассказать, пропустить. Но хронологически его место не здесь. Его нужно было рассказать раньше. Но в своё время он выпал из памяти. Что делать? Волей-неволей приходится нарушать последовательность повествования. И вот эта сумбурность, что ли, моего письма очень огорчает моих милых редакторов. Вы уж простите! Тем более что я заранее предупредил, сознался со всей откровенностью, что хронология — моё самое слабое место… Итак, я хочу рассказать об одном замечательном случае из времён моей кинодеятельности, рассказ о котором в нужном месте я поведать забыл. Я тогда не пел ещё своих песен, а только начал работать на фабрике у Ханжонкова.

Если не ошибаюсь, в 1914 году на фабрике появился Илья Львович Толстой, сын Льва Толстого, как две капли воды похожий на отца. Он искал актёра на одну из ролей сценария, который написал по рассказу отца «Чем люди живы». Он сам и ставил этот фильм. Согласно сюжету фильма один из ангелов захотел узнать, как и чем живут люди на земле, и, спустившись с неба на землю, попал в семью сапожника. Все актёры у Толстого были уже подобраны, и ему нужен был только ангел.

Вначале он предложил эту роль Мозжухину. Иван со смехом отказался.

— Ну какой же я ангел? — сказал он. — Вот если б черта… Я бы сыграл!

Трудность заключалась ещё в том, что этот ангел падает с неба зимой прямо в снег, совершенно голый, с одними только крыльями за спиной. Никто не соглашался на такое неприятное дело. Толстой обратился ко мне. Из молодечества и озорства я согласился.

— Ты с ума сошёл! Голым прыгать в снег! Ты же схватишь воспаление лёгких! — изумлялись товарищи.

— Ничего. Не схвачу! Я спортсмен! — презрительно возражал

я.

— Сколько вы хотите за эту роль? — спросил Толстой.

— Сто рублей! — прошептал я.

Все затаили дыхание. Это была огромная по тем временам сумма. К всеобщему изумлению, Толстой немедленно согласился. Очевидно, «ангелы» были дефицитным товаром. Был подписан договор и выдан аванс — пятнадцать рублей. Я повёл всех в кабак и был, разумеется, героем дня.

Через несколько дней Толстой приехал за мной. Снимать натуру надо было в Ясной Поляне. С вечера мы сели в поезд и утром сошли на маленькой станции. Во дворе за вокзалом нас ждали сани-розвальни с медвежьей полостью. В доме нас встретила Софья Андреевна, напоила чаем с баранками, и мы уехали в поле на съёмку. Ехали мы в закрытом возке вроде кареты. Для бодрости Илья Львович дал мне флягу с коньяком. Поставили аппарат. Я разделся в каретке догола, прицепил на спину крылья, глотнул коньяку и полез на крышу. Оттуда я должен был спрыгнуть в снег, оглядеться и пойти по снегу вдаль не оглядываясь (спиной к аппарату).

Все это я проделал точно и аккуратно, как требовалось. Противнее всего было идти вдаль… Хорошо ещё, что сцена снималась только один раз. Я остекленел и окоченел. После съёмки меня схватили, укутали в тулупы, усадили в карету и вскачь повезли в деревню. В крестьянской избе меня стали быстро растирать снегом, дали ещё коньяку, и вскоре я блаженно заснул на печке под горой тулупов и шуб, которые на меня навалили. Все это произошло довольно быстро. Кроме того, я был пьян и почти ничего не замечал. Помню только, что какая-то древняя старуха, узревшая меня в таком виде, очевидно, решила, что меня ограбили, и заголосила навзрыд:

— Что ж они с тобой, родименьким, сделали? Ироды проклятые! Голубочек ты мой чистенький! Ограбили дите и в снег бросили!

Ей, конечно, нельзя было объяснить, что это кино, и на неё никто не обратил внимания. Так она и осталась при своём мнении.

Я проспал на печи до вечера. Потом меня посадили. в поезд, и я уехал в Москву. В Москве, к моему удивлению, меня уже на вокзале встречали журналисты. Мне это очень польстило. Оказывается, все уже было известно. Для них это, конечно, была сенсация. Меня расспрашивали о доме Толстого, о Софье Андреевне, о моей «работе». Я врал изо всех сил, описывая свой геройский подвиг.

— Сколько же вы получили за эту роль? — спросил меня

один из газетчиков.

— Сто рублей, — честно ответил я. И добавил: — Дурак был! Мало взял!

На другой день в газетах было напечатано интервью со мной. Кончалось оно так:

«— Сколько же вы получили за эту роль? — спросили мы Вертинского.

— Сто рублей. Мало взял! Дурак был! — отвечал он.

Мы не стали возражать талантливому артисту и откланялись».

Позор был на всю Москву. Иван Мозжухин полгода издевался надо мной после этого.

С Мозжухиным мы были друзьями. Он был у Ханжонкова на положении первого актёра и сразу завоевал симпатии публики. Своим серым глазам красавец Мозжухин умел придавать любое выражение. Он хорошо чувствовал свет и аппарат и был необычайно «статуарен». Иван служил на договоре и получал семьдесят пять рублей в месяц, продолжая играть в театре. А я не пошёл на договор. Я снимался на «разовых» — три рубля за съёмочный день. Но так как я снимался почти ежедневно, то мне выходило около девяноста рублей в месяц. На пятнадцать рублей больше, чем Ивану. Этого он не мог допустить и требовал, чтобы я пропивал с ним ту разницу в пятнадцать рублей. Что мы охотно и делали.

Среди моих тогдашних знакомых была очень красивая молодая женщина, жена прапорщика Холодного — Вера Холодная. Как-то, повстречав её на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привёз её на кинофабрику и показал дирекции. Холодная понравилась. Постепенно её стали втягивать в работу. Не успел я, что называется, и глазом моргнуть, как она уже играла картину за картиной, и успех её у публики возрастал с каждой новой ролью.

В это время большие актёры неохотно шли в кино.

— Это не искусство, — говорили они.

Конечно, это было не то искусство, которому они служили. Немое кино у актёра отнимало самое главное — слово! А что можно сыграть без слов? — думали актёры. Это было действительно трудно. В конце концов аппарат — это судебный следователь, внимательный и безжалостный. Следя и поглядывая пристально и зорко за актёром, он все до малейших деталей видит, замечает и фиксирует. Его обмануть нельзя. Поэтому даже лучшие актёры часто терялись перед этим «всевидящим оком». К тому же нужно было играть молча, но приходилось все же что-то

говорить. А текста не было, и только перед самой съёмкой репетировали мизансцены, и каждый говорил, что хотел, и все это было, конечно, в ущерб картине, потому что говорили иногда черт знает какую чушь, которая смешила и выбивала из настроения.

Вообще настоящий ключ к этому новому искусству был подобран не скоро, и много картин покалечили актёры, прежде чем научились играть для кино. Постепенно все же большие актёры сменили гнев на милость. Стали сниматься Владимир Максимов из Малого театра, Пётр Старковский, Пётр Бакшеев и другие. На женском киногоризонте восходили новые звезды — Вера Коралли, Наталья Кованько, Наталья Лисенко.

Появились халтурные кинодельцы — Талдыкин, Перский, Дранков, которые быстро снимали какой-нибудь сенсационный или просто бойкий сценарий со случайным режиссёром и актёрами и пускали в прокат, зарабатывая большие деньги. Все же ханжонковское дело оставалось первым и наиболее серьёзным.

У Ханжонкова была своя кинофабрика с павильоном и лабораторией, свой кинотеатр на нынешней площади имени Маяковского. Да и актёры были уже опытнее, и имена были покрупнее. Самыми яркими из них были Вера Холодная и Иван Мозжухин.

Много всяческой ерунды играли мы в то время. Я уже не могу вспомнить названия этих картин: «Вот мчится тройка почтовая», «У камина», «Позабудь про камин» и так далее. Одно время вообще сценарии писались на сюжет романсов: «Отцвели уж давно хризантемы в саду» и прочее, и даже на мой «Бал господен» был написан сценарий и сыгран фильм с Наташей Кованько. Но из всего этого мусора мне запомнилась только одна серьёзно поставленная тургеневская «Песнь торжествующей любви» с Полонским и Верой Холодной. Эта картина была вершиной её успеха.

Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах: «Королеве экрана». Титул утвердился за ней. С тех пор её так называла вся Россия и так писали в афишах.

Я часто бывал у неё и был в хороших отношениях и с ней, и с её сестрой, и с её мужем. А с её маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них. Вера всегда помнила, что я впервые подсказал ей путь в кино. Из никому не известной молодой женщины она сделалась кинозвездой. Многие свои песни я посвящал ей. Как-то, помню, я принёс ей показать свою последнюю вещь «Ваши пальцы пахнут

ладаном». Я уже отдавал её издателю в печать и снова посвящал Холодной. Когда я прочёл ей текст песни, она замахала на меня руками:

— Что вы сделали! Не надо! Не хочу! Чтобы я лежала в гробу! Ни за что! Снимите сейчас же посвящение!

Помню, я немного даже обиделся. Вещь была довольно удачная, на мой взгляд (что и подтвердилось впоследствии). Все же я снял посвящение.

Потом, через несколько лет, когда я пел в Ростове-на-Дону, в номер гостиницы мне подали телеграмму из Одессы: «Умерла Вера Холодная».

Оказалось, она выступала на балу журналистов, много танцевала и, разгорячённая, вышла на приморскую террасу, где её прохватило резким морским ветром. У неё началась «испанка» (как тогда называли грипп), и она сгорела как свеча в два-три дня.

Рукописи моих романсов лежали передо мной на столе. Издатель сидел напротив меня. Я вынул «Ваши пальцы» из этой пачки, перечёл текст и написал: «Королеве экрана — Вере Холодной».

Сам я много ещё снимался. Сыграл кадета в гончаровском «Обрыве», сыграл в комедии «Суфражистки» с польским актёром, комиком Антоном Фертнером, его секретаря. Играл блаженненького в какой-то картине, переделанной из «купеческого» романа, не помню какого, играл Параго в фильме Вильяма Локка «Любимый бродяга», где наклеил себе почему-то такие брови треугольником, что вспомнить страшно, и… погубил картину. Играл в фильме «Король без венца» и во многих ещё разных картинах, даже названий не помню теперь.

Играл с Бегичевой, Кованько, Софьей Лирской, с Верой Леонидовной Юреневой. Но после первых больших концертных успехов отказался от кинематографа очень надолго.

А Мозжухин рос с каждой картиной. После «Пиковой дамы», где он играл Германна, и «Отца Сергия» он был уже признанным «королём экрана» и любимцем публики. В театре же он был малозаметным вторым актёром.

Затем появилась фирма «Ермольев». Это было тоже весьма серьёзное дело, с лучшими актёрами, с хорошим выбором постановок, с хорошими режиссёрами. Туда Мозжухин вскоре и перешёл, уйдя от Ханжонкова. Снимать стали интереснее, появились хорошие операторы, из которых я помню только одного — француза Форестье. Появился режиссёр Волков, художник Лошаков, уже снимались Колин из Художественного театра, Н. Римский, Анна Ли и другие. Картины стали

осмысленней, серьёзней.

Кино становилось на ноги, крепло и росло с каждым днём, завоёвывая прочное положение и своё место в искусстве. Впоследствии Ермольев, человек очень практичный и неглупый, хороший организатор и знаток своего дела, увёз из Ялты всю свою труппу вместе с Мозжухиным и Лисенко, Туржанским и молодым, очень красивым актёром Радченко-Стрижевским в Париж, где установил связи с фирмой «Гомон» и образовал новую труппу «Альбатрос». Таким образом, Иван Мозжухин стал кинозвездой Европы и завоевал мировое признание.

Прощание с Родиной

Из Одессы я попал в Ростов, потом в Екатеринослав и Харьков. Меня возили то Леонидов и Варягин, то Галантер и Гросбаум, то сама Марья Николаевна.

Иногда я шёл в какой-нибудь театр миниатюр на гастроли и пел в его программе отдельным номером, иногда давал сольные концерты в костюме Пьеро, а впоследствии — во фраке. Да и публике любопытно было посмотреть, как же я выгляжу без грима. Весь 17-й и почти весь 18-й год я ездил по России. Ноты, рассыпанные Андржеевским по всей стране, делали мне большую предварительную рекламу. Я побывал и на Кавказе, и в Крыму, и во многих городах. Отношение ко мне публики было самое лучшее.

Между тем контрреволюция поднимала голову. Формировалась белая армия. Офицерство бежало на Дон к Каледину, в Ростов к Деникину и так далее. В Киеве сидел гетман Скоропадский. В Москве все труднее становилось жить.

Марья Николаевна стала подумывать о том, чтобы закрыть театр и куда-нибудь уехать… Её выбор остановился на Киеве. Везти туда весь театр, то есть всю труппу, было рискованно. Там и без неё много разных театральных дел. Кроме всего, в Киеве были немцы, и туда из Германии наезжали всякие гастролёры. Гораздо проще взять одного меня и со мной работать, что она и сделала.

Советская власть никого не удерживала, и мы решили направиться в Киев. Уложив свои личные вещи, подарки, серебряные венки, ленты с золотыми надписями и прочее в лёгкий парусиновый сундук, я, по совету Марьи Николаевны, оставил его на хранение какой-то даме, её приятельнице, и покинул Москву. Думал ли я, что покидаю Москву на двадцать пять лет?..

Киев был уже не тот, каким я его оставил в юности. Он до отказа был забит всякого рода публикой. Спекулянты, беженцы, дельцы и предприниматели всякого рода, аристократия, вывезшая с собой все, что можно было провезти, офицерство, опять нацепившее погоны, студенты и гимназисты, синежупанники гетманских полков, с кривыми саблями на боку, отрастившие себе висячие усы и «оселедцы», немцы в приподнятых спереди и сзади фуражках, с моноклями в левом глазу, дамы сомнительной репутации, актёры, бывшие шансонетки, жены, потерявшие мужей, — все это заполняло улицы, театры, магазины. Белый хлеб продавался запросто.

Всего было полно, и после голодной Москвы люди пьянели от

счастья, строя всевозможные планы.

Мои гастроли начались в Интимном театре — на Крещатике, против Фундуклеевской. Было сразу объявлено десять концертов, и билеты моментально распроданы. Принимали хорошо, но Киев не узнал меня. Возможно, потому, что публика была новая, совсем чужая.

Я побродил по знакомым с детства улочкам и переулкам. Мой дом был тот же, садик и террасы те же. Внешне все было как будто по-прежнему. Но все ли? Я навестил родных. Тётушка Марья Степановна была больна и уже лежала в кровати. Дядя, Илларион Яковлевич, постарел, а кузены, Серёжа и Алёша, выросли, возмужали и уже ходили в студентах. Большинства друзей и товарищей моей юности уже не было в городе, и лишь двое или трое давних знакомых, узнав о моем приезде, пришли меня навестить. В перерывах между концертами я скучал, не знал, куда себя деть. Душа жаждала встряски. И, как часто бывает, встряхнуться пришлось совсем не так, как хотелось.

Одновременно со мной в Киеве гастролировал Павел Троицкий, талантливый комик и куплетист, который обычно имел у публики большой успех. Мы с ним были приятелями. Узнав, что он в городе, я отправился к нему в гостиницу. Он мне очень обрадовался, ибо бутылка водки, с которой до моего прихода он делил свой досуг, плохой собеседник. На мне были чудесные жёлтые заграничные ботинки, только что купленные, и Павел привязался:

— Давай пропьём твои ботинки!

Я пробовал возражать. У меня, да и у него денег было сколько угодно — платили тогда десятками тысяч. Зачем же пропивать ботинки? Но он был неумолим:

— Какой интерес пить на деньги, когда их полно? Я хочу пропить твои ботинки. Будь другом, дай я их свезу на толкучку…

Чокнувшись с ним раз, другой, третий, я почувствовал, что идея Павла начинает захватывать и меня. Смелая идея, оригинальная! И вот Павел, только накануне купивший мотоциклет и ещё не научившийся на нем ездить, берет ботинки и катит на Подол. Продаёт первому встречному. Через час возвращается: рожа разбита в кровь — налетел на столб, но смотрит героем. Разжимает кулак — и на стол вываливаются грязные, мокрые рубли… Через три часа без своих замечательных заграничных ботинок я ехал на извозчике в свою гостиницу. Распахнувший передо мной дверь швейцар изумлённо взирал на мою «обувку»: носки не самое лучшее средство, предупреждающее простуду.

Что же касается Павла, то, прощаясь со мной, обняв и

расцеловав, он сказал:

— Ты — настоящий друг!

И заплакал.

И я тоже еле себя сдержал. Нет, ботинок было не жалко. Жалко было, что ещё одно мгновение жизни кануло в прошлое…

Из Киева я попал в Харьков. Жизнь в этом городе била ключом. В особенности театральная. В городе был прекрасный драматический театр Н. Н. Синельникова — большого и умного режиссёра, воспитавшего целое поколение блестящих актёров. В его труппе в это время были Виктор Петипа, Тарханов, Ходотов, Глаголин, Багров, Путята, из женщин помню Тиме, Маршеву, Леонтович, Валерскую…

Актёры были один другого краше.

На Сумской улице, в доме номер 6, в подвале помещался Дом артиста. Это было весёлое и шумное место.

После спектаклей туда собирались актёры из всех театров. Зал был хорошо оборудован. Впереди — довольно приличная и большая сцена, все остальное место занимали столы и ложи со столами. Постоянной программы не было. Кроме нескольких уже твёрдо установившихся номеров, остальные — экспромтного характера, и составлялись и придумывались тут же, на месте. Актёры выдавливались из публики и приглашались на сцену. Никто не смел отказаться. Там, на сцене, спешно придумывались номера. Кто пел, кто читал, кто танцевал, кто разыгрывал уморительные сцены. Помню, как почтённая актриса Блюменталь-Тамарина в костюме укротительницы львов выводила на сцену дрессированного осла. Осла же изображал Данильский — блестящий опереточный комик. Публика буквально помирала со смеху.

Конферансье было три: опереточные артисты Греков и Данильский и молодой актёр Гриша Ратов. Они то менялись быстрее молнии, то вдруг вылетали все трое сразу. Их реплики были отточены, как шпаги, и разили публику, не щадя никого. Хохот стоял такой, что люди не успевали ни есть, ни пить. В конце концов буфетчик заявил нам претензии:

— Буфет плохо торгует. Все смеются, а ничего не заказывают. Не успевают.

Пришлось подсократить программу и сделать антракты подлиннее — для торговли.

В это кабаре я попал прямо с поезда, только что приехав из Киева.

Маленький, знакомый мне по Киеву суфлёр Волынский повёл меня в бар. Было ещё рано, часов девять вечера. На высоком табурете у стойки сидела молодая красивая женщина.

— Познакомьтесь, — сказал он, — Валентина Санина.

На меня медленно глянули безмятежно спокойные, огромные голубые глаза с длинными ресницами, и узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Её голова была точно в тяжёлой золотой короне. У неё были чуть раскосые скулы, красиво изогнутый, немножко иронический рот.

Кроме того, она ещё была очень похожа на пушистую ангорскую кошку. Санина лениво тянула через соломинку какой-то гренадин и спокойно разглядывала меня, как змея кролика, перед тем как проглотить.

Я понял, что погиб, но сдаваться без боя не собирался. Так же спокойно я разглядывал её. На ней было чёрное, глухое до горла закрытое платье, а на шее висел на ленточке белый хрустальный крест. К сожалению, меня узнала публика, и через несколько минут уже окружили актёры, актрисы и разные люди. Меня тормошили, целовали, обнимали и расспрашивали. Это была обычная тогда картина моего появления в каком-нибудь публичном месте.

Когда ажиотаж вокруг меня несколько поутих, Санина, иронически улыбаясь, сказала:

— И вам не надоело все это?

— Что именно?

— Ну… это… идолопоклонство?

— Разумеется, надоело, — ответил я. — Я вот мечтаю подыскать себе дублёра!

Она рассмеялась.

— Бедненький! — сказала она. — Мне вас жаль. И давно это с вами?

— О да!.. Уже года три.

Она покачала головой:

— Лечиться надо.

— Чем?

— Не знаю. Чем-нибудь… В монастырь идите. Может, это поможет.

— Ещё чего! — удивился я. — Пойдёмте лучше в зал. Уже начинается программа.

Мы вышли из бара и сели за столик. Так началась «история моей болезни».

Придя домой, я записал:

Надо жить потише, повнимательней,
Перечитывая книгу вновь и вновь,
И поплакать тоже обязательно

Над страницей, где написано: «Любовь»…

… Садясь за книгу, я было решил опускать те страницы воспоминаний, которые связаны с моими так называемыми увлечениями. Но потом подумал: а не будет ли она в результате подобных изъятий скучна, суховата? И не подумает ли читатель, что я, несчастный, был лишён некоторых — вполне симпатичных — человеческих слабостей? Нет, я бы не хотел, чтобы читатель так плохо обо мне думал. Поэтому признаюсь: много пудов соли скормили мне по чайной ложечке столь нежно вспоминаемые мной женщины. Много мук, крови и слез стоили мне они. Но… без женщин жизнь моя была бы пресна и безвкусна, как гороховый кисель!..

Я пел концерты и ухаживал за Валентиной. В свободные от концертов вечера ходил в её театр смотреть, как она играет, хотя роли у неё были маленькие.

— Ещё молоды… Пусть поучатся, — говорил Николай Николаевич Синельников о молодых актёрах и актрисах. И Валентина училась, работала, пробуя свои силы главным образом на мне. Я был для неё чем-то вроде подопытного кролика.

Она была то резка со мной, то очень ласкова и после дикой ссоры вдруг сама приходила ко мне в «Астраханку» просить прощения.

— С чего это вы, — подозрительно осведомлялся я, — такую кротость на себя напустили?

Она делала мученическое лицо, низко, по-монашески кланялась в пояс и говорила:

— Сегодня прощённое воскресенье. Надо просить у всех прощенья. Простите, Христа ради, если чем обидела.

И хохотала, как сумасшедшая.

— Бог простит, матушка, — говорил я.

Это она играла — «для практики».

Иногда «для практики» она начинала что-нибудь мне рассказывать. Притом говорила взволнованным, можно даже сказать, испуганным голосом:

— Вы знаете, Вертиша, со мной сегодня был такой ужас!

Такой ужас!.. Я сижу на бульваре на скамейке и смотрю на клумбу роз — помните её? Против нашего театра? Ну вот. Сижу, учу роль, и вдруг… — Тут зрачки её глаз расширяются, руки вжимаются в грудь, она дрожит, будто до сих пор не может успокоиться. — Вдруг чувствую, что на меня опускается какая-то огромная чёрная тень… Вы понимаете? Страшная, зловещая тень! И я ощущаю, что это что-то неизбежное и роковое… Понимаете? Я

хочу вскочить, убежать и вся холодею, не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой, меня словно приковало к скамейке… Я дико вскрикиваю, в ужасе закрываю лицо руками и…

— И что же это было? — насмерть перепуганный, спрашиваю я.

— Это был… это был… каштановый лист!

— Фу!.. Слава Богу! — я вытираю со лба холодный пот. — Хорошо, что не балкон…

Валентина окидывает меня сожалеющим взглядом:

— Вы удивительно нечутки, — говорит она, холодно отворачиваясь. — И черт знает, почему вас считают поэтом и певцом женской души. Чурбан какой-то!

Жили мы под гетманом. По-моему, так, потому что Петлюра пришёл позже. А может, это уже было его время. Помню только, что верховодил в Харькове какой-то полковник Балбачан, от которого все зависело и к которому бегали на поклон все местные спекулянты. По-видимому, он был сговорчивый человек, потому что дела они делали хорошие. Нас, актёров, он не трогал, и за то спасибо. Потом он куда-то исчез вместе со своими подручными, а однажды вечером в Доме артистов появился заросший бородой Юрка Саблин — левый эсер. Оказалось, что он «взял» Харьков! Именно «взял» — как берут со стола серебряную ложку и прячут в карман. Ибо Харькова, по-моему, никто не защищал. Боев никаких не было. Во всяком случае, выстрелов никто не слышал, а балбачанцы тихонько удрали ещё с утра.

Юрка Саблин — наш приятель по Москве. Он был внуком старика Федора Адамовича Корша и вырос в нашей актёрской среде. Многие из актёров помнили его ещё ребёнком. Поэтому встретили мы его как своего. Он был преисполнен важности и делал загадочное лицо. Нам, во всяком случае, он был не страшен. Его отряд вскоре ушёл куда-то дальше. В городе утвердилась советская власть.

Я же двигался по своей артистической, увы, совершенно независимой от политики и вообще неосознанной орбите и скоро опять оказался в Одессе.

По улицам этого прекрасного приморского города мирно расхаживали какие-то экзотические африканские войска: негры, алжирцы, марокканцы, привезённые французами-оккупантами из жарких и далёких стран, — равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам и гоготали, переговариваясь на гортанном языке. Зачем их привезли сюда, они и сами точно не знали.

Испуганные обыватели, устрашённые их маскарадным видом,

сначала прятались, потом вылезли на свет и, убедившись, что они «совсем не страшные» и не кусаются, успокоились.

В Одессе было сравнительно спокойно. Город развлекался по мере возможности. Красные были где-то далеко. В кафе, у Робина, у Фанкони сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар. Всего было вдоволь. Не хватало только вагонов… По улицам ходил городской сумасшедший Марьешец и за стакан кофе «разоблачал» местных богачей, каких-то разбухших от денег греков и евреев.

Ловкие и пронырливые нищие вскакивали на подножку вашего экипажа и услужливо сообщали очередные новости.

На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой.

Все были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орёл, то без всякого повода. Потом стреляли из наганов в люстры.

Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда-то, вероятно, на гауптвахту.

Вот в это самое время у меня были гастроли в Доме артистов. Внизу — фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху — маленький игорный зал. Кабаре — для привлечения публики. А центр тяжести находился в игорном зале.

Я пел — в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой — ежевечерне. Там же, при Доме артистов, мне отвели комнату, так как гостиницы были переполнены.

Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лёг спать. Часа в три ночи меня разбудил стук. Я встал, зажёг свет и открыл дверь. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку.

— Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащов просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина.

— Господа, — взмолился я, — три часа ночи! Я устал! Я хочу отдохнуть!

Возражения были напрасны. Адъютанты оказались любезны, но непреклонны.

— Его превосходительство изъявил желание видеть вас, — настойчиво повторяли они.

Сопротивление было бесполезно. Я встал, оделся и вышел. У

ворот нас ждала штабная машина.

Через десять минут мы были на вокзале.

В огромном пульмановском вагоне, ярко освещённом, за столом сидело десять — двенадцать человек.

Грязные тарелки, бутылки и цветы…

Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная, статная фигура Слащова. Огромная рука протянулась ко мне.

—-Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поёте о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?

— Нет, благодарю вас.

— Лида, налей Вертинскому! Ты же в него влюблена!

Справа от него встал молодой офицер в черкеске.

— Познакомьтесь, — хрипло бросил Слащов.

— Юнкер Ничволодов.

Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.

Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, я увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином и что в руках у сидящих были маленькие гусиные пёрышки-зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали, загоняя его то в одну, то в другую ноздрю. Привёзшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях.

Я внимательно взглянул на Слащова. Меня поразило его лицо.

Длинная, белая, смертельно-белая маска с ярко-вишнёвым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленоваточерные гнилые зубы.

Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными молочными струйками.

Я выпил вина.

— Спойте мне, милый, эту… — Он задумался. — О мальчиках… «Я не знаю зачем…»

Его лицо стало на миг живым и грустным.

— Вы угадали, Вертинский. Действительно, кому это было нужно? Правда, Лида?

На меня глянули серые глаза.

— Мы все помешаны на этой песне, — тихо сказала она.

Я попытался отговориться.

— У меня нет пианиста, — робко возражал я.

— Глупости. Николай, возьми гитару. Ты же знаешь наизусть

его песни. И притуши свет. Но сначала понюхаем.

Он взял большую щепотку кокаина.

Я запел.

И никто не додумался
Просто стать на колени
И сказать этим мальчикам,
Что в бездарной стране
Даже светлые подвиги —
Это только ступени
В бесконечные пропасти
К недоступной Весне!

Высокие свечи в бутылках озарили лицо Слащова — страшную гипсовую маску с мутными глазами. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался.

Я кончил.

— Вам не страшно? — неожиданно спросил он.

— Чего?

— Да вот… что все эти молодые жизни… псу под хвост! Для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит!

Я молчал.

Он устало повёл плечами, потом налил стакан коньяку.

— Выпьем, милый Вертинский, за родину! Хотите? Спасибо за песню!

Я выпил. Он встал. Встали и гости.

— Господа! — сказал он, глядя куда-то в окно. — Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать. А вот он умеет! — Он положил руку на моё плечо. — А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И ещё неизвестно, нужно ли это было… Он прав.

Гости молчали.

— Вы устали? — тихо спросил Слащов.

— Да… немного.

Он сделал знак адъютантам.

— Проводите Александра Николаевича!

Адъютанты подали мне пальто.

— Не сердитесь, — улыбаясь, сказал он. — У меня так редко бывают минуты отдыха… Вы отсюда куда едете?

— В Севастополь.

— Ну, увидимся. Прощайте.

Слащов подал мне руку.

Я вышел.

Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая

кого-то, пронзительно свистел паровоз…

Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезли с горизонта. Оставались простые, серые фронтовые офицеры, плохо одетые, усталые и растрёпанные. Вместе с армией «отступал» и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта. Пустая, продуваемая сквозным осенним ветром, брошенная временно населявшими её спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал. Некому было их слушать.

Несколько дней городом владел какой-то Орлов, не подчинявшийся приказам белого командования. Потом его убрали. Все затихло. Ждали прихода красных. Я уехал в Севастополь.

Под неудержимым натиском Красной Армии белые докатились до Перекопа. Крым был последним клочком русской земли, ещё судорожно удерживаемым горстью усталых, измученных, упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Были только разрозненные и кое-как собранные остатки. Генералы перессорились, не поделив воображаемой власти, часть из них уже удрала за границу, кто-то застрелился, кто-то перешёл к красным, кто-то исчез в неизвестном направлении.

Но армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта, оборванные, грязные и исхудавшие, наивно переодетые в случайное штатское платье, бродили по Севастополю, заполняя улицы, рестораны, где уже нечем было кормить, пустые магазины, грязные кафе и кондитерские. Они ждали чего угодно, но только не такого отчаянного поражения. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто-нибудь пытался с ними заговорить.

Спали всюду: в вестибюлях гостиниц, на бульварных скамейках и прямо на тротуарах, благо ночи в Крыму были тёплые. А те, кто ещё носил форму, отпускные, командированные в тыл, по целым дням толклись в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники, охрипшие и ошалевшие, которые сами ничего не знали и никому и ничему помочь уже не могли. Они рвали взятки с живого и мёртвого и этим ограничивались.

Высокие, худые, как жерди, великосветские дамы и девицы, бывшие фрейлины двора, графини, княжны и баронессы с длинными, породистыми, лошадиными лицами, некрасивые и надменные, продавали на чёрном рынке по утрам свои фрейлинские бриллиантовые шифры и фамильные

драгоценности, обиженно шевеля дрожащими губами. Слезы не высыхали у них на глазах. Спекулянты платили им «колокольчиками» — крупными корниловскими тысячерублевками, которые уже никто не хотел брать.

Днём они толклись в посольствах и консульствах иностранных держав, в коридорах в какой-то тайной надежде на что-то, в учреждениях, бюро и комитетах, где вовсю торговали пропусками, где за приличные деньги можно было купить паспорт любой иностранной державы. Их было видно отовсюду. Котиковый сак. Тюрбан на голове. Заплаканные глаза и мольба: «Визу на Варну!», «в Чехию, в Сербию, в Турцию!» Куда угодно! Только бежать!.. Они не мылись неделями, спали не раздеваясь. От них шёл одуряющий запах пронзительного «лоригана Коти», перемешанный с запахом едкого пота. Никто из них ничего не понимал. Точно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом.

В небольшом театрике «Ренессанс», где ещё играла чья-то халтурная труппа, по ручкам бархатных кресел ползали вши. Ведро холодной воды для умывания стоило сто тысяч. Все исчислялось в миллионах, или «лимонах», как их называли.

Поэт Николай Агнивцев, худой и долговязый, с длинными немытыми волосами, шагал по городу с крымским двурогим посохом, усеянным серебряными монограммами — сувенирами друзей, и читал свои последние душераздирающие стихи о России:

Церкви — на стойла, иконы — на щепки!
Пробил последний, двенадцатый час!
Святый Боже, святый крепкий,
Святый бессмертный, помилуй нас!

Аркадий Аверченко точил свои «Ножи в спину революции». «Ножи» точились плохо. Было не смешно и даже как-то неумно. Он читал их нам, но особого восторга они ни у кого не вызывали.

По ночам в ресторанах и кабаре, где подавали особы женского пола весьма сомнительного вида, пьяное белое офицерьё, пропивая награбленное, стреляло из револьверов в потолок, в хрустальные люстры и пело «Боже, царя храни», заставляя публику вставать под дулами револьверов.

В гостинице Киста, единственной приличной в городе, собралась вся наша братия. Там жили актёры, кое-кто из писателей и бесконечное количество дам.

По улицам ходил маленький князь Мурузи и, встречая знакомых, сладко и заливисто разговаривал, сильно картавя.

— Тут нет жизни, — восклицал он, всплескивая ручками. — Надо ехать на фгонт! Это безобгазие!

Однако сам он ни на какой «фгонт» не ехал. Уговаривать нас он начал ещё в Одессе. И теперь докатился до Севастополя. Исчерпав источник патриотического возбуждения, он озабоченно спрашивал у меня:

— Скажите, догогой, а где тут хагошо когмят?

— Тут. У Киста, — отвечал я. — Тут же и хорошо, тут же и плохо. Потому что другого места все равно нет…

Перекоп — узкая полоска земли, отделявшая нас всех от оставленной родины, — ещё держался. Его отчаянно и обречённо защищал Слащов. Город кишел контрразведками и консульствами всех национальностей. Какие-то люди на улицах вслух предлагали вам принять любое подданство.

Знакомый восточный князь Меламед купил шхуну и гостеприимно предлагал актёрам ехать на ней в Турцию. Предлагал мне, Собинову, Барановской и Плевицкой. Молодые актёры нанимались кочегарами на «Рион», большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали все, что возможно, чтобы только отделаться от корниловских «колокольчиков». В такие дни на стенах города вдруг появлялись расклеенные приказы генерала Слащова: «Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас Перекоп!»

Иногда в осенние ночи, когда море шумело и билось за окнами нашей гостиницы, часа в три приезжал с фронта Слащов со своей свитой. Испуганные лакеи спешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали меня и пианино. Я одевался, стуча зубами. Сходил вниз, пил с ними водку, разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла. Голова болела, было грустно, страшно и пусто. Слащов дёргался, как марионетка на нитках, — хрипел, давил руками бокалы и, кривя страшный рот, говорил, сплёвывая на пол:

— Пока у меня хватит семечек, Перекопа не сдам!

— Почему семечек? — спрашивал я.

— А я, видишь ли, иду в атаку с семечками в руке! Это развлекает и успокаивает моих мальчиков!

Мы уже были на «ты».

Черноморский матрос Федор Баткин, краснобай, демагог и пустомеля, «выдвиженец» Керенского, кого-то в чем-то безуспешно убеждал. Люди пожимали плечами и, не дослушав, уходили, потому что им была нужна только виза.

— Визу, визу, визу! Куда угодно! Хоть на край света!

Остальное никого не интересовало. А Слащов уже

безумствовал. В Джанкое он приказал повесить на фонарях железнодорожных рабочих за отказ исполнить его приказы. С Перекопа бежали. Офицеры переодевались в штатское. Однажды утром я получил от него телеграмму:

«Приезжай ко мне, мне скучно без твоих песен. Слащов».

На рейде стоял пароход «Великий князь Александр Михайлович». Капитан его, грек, был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нем уезжал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, я попросил его взять меня с собой. Он согласился.

Утром, захватив с собой своего единственного друга, актёра Путяту, и пианиста, я уехал из Севастополя.

Эмиграция началась

До сих пор не понимаю: откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного языка, будучи капризным, избалованным русским актёром, неврастеником, совершенно не приспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя, так необдуманно покинуть родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это?

Задавая себе этот вопрос сейчас, через столько лет, я все ещё не могу найти у себя в душе искреннего и честного ответа.

Я ненавидел советскую власть? О, нет! Советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Ибо убеждений у меня никаких в то время не было.

Но тогда что же случилось? Что заставило меня уехать?

Почему я оторвался от той земли, за которую сегодня легко и радостно отдам свою жизнь, если это будет нужно?

Очевидно, это была просто глупость.

Может быть, страсть к приключениям, к путешествиям, к новому, ещё не изведанному? Не знаю. Так или иначе, я приехал в Турцию.

Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень весёлую жизнь эмигранта, человека без родины. Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома, поставленный в благоприятные условия существования — искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется, — может быть, я бы не дошёл до такой остроты чувств, до такого понимания чужого горя, которые мне дали эти годы скитания.

Говорят, душа художника должна, как Богородица, пройти по всем мукам. Сколько унижений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства перенёс я за эти годы! Сколько неотвеченных фраз застряло у меня в горле, сколько проглоченных обид.

Это была расплата. Расплата за то, что в один прекрасный день я посмел забыть о родине. За то, что в тяжёлые для родины дни, в годы её борьбы и испытаний, я ушёл от неё.

Оторвался от её берегов.

И вот они уходили, эти берега…

И вот уже новые очертания чужой земли выплывали в утреннем тумане.

Рано утром мы вошли в Босфор.

Сказочный город, весь залитый солнцем, сверкнул перед моими глазами. Тонкие иглы минаретов. Белосахарные дворцы. Какая-то башня, с которой будто бы сбрасывали в Босфор неверных жён. Маленькие лодочки-канки. Красные фески, море красных фесок. Люди в белом. Солнце. Гортанный говор. И флаги, флаги, флаги. Без конца. Как на параде. Как в праздник!

Большие военные корабли стоят на рейде. Ярко начищенные медные части маленьких катеров сверкают, играют под яркими лучами солнца тысячами бликов.

Я сошёл с парохода. В Константинополь. В эмиграцию. В двадцатипятилетнее добровольное изгнание. В долгую и горькую тоску.

Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далёких стран, все, что я видел, все, чем восхищался, — я отдаю за один самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на родине!.. А к этому я согласен прибавить ещё весь мой успех, все восторги толпы, все аплодисменты, все цветы, все деньги, которые я там зарабатывал. Все, все, все, ибо все это мне было не нужно. Лучше быть бедняком на родине, чем богачом на чужбине.

Поселились мы с Борисом Путятой не более и не менее как в самом фешенебельном отеле Константинополя «Пера Палас». Разутюжили наши российские «кустюмчики» — знаменитый актёрский «гардеробчик», по которому великим постом в бюро антрепренёры оценивали молодых актёров, и… вышли на улицу. На Гранд-рю-де-Пера, по которой уже взад и вперёд прогуливалось немало наших соотечественников, приехавших раньше нас. Путята даже гвоздичку в петлицу воткнул. Совсем как дома — где-нибудь в Харькове, на Сумской — гуляли.

— Ба! Откуда вы? Когда приехали? На чем?

Приподымались шляпы. Пожимались руки.

— Вы уже обедали? Нет? Ну, зайдём куда-нибудь. Хотите в «уголок»? Тут русские держат!

Заходили. Выпивали. Закусывали. Разговаривали по душам.

Борщ подавали отменный. Мы от такого борща давно уже отвыкли. Все было первоклассного качества. А главное, подавали дамы. Молодые, нарядные, слегка кокетничавшие своим неумением подавать.

«Ну, откуда же мне знать это?.. — говорили её глаза.

— Я же не привыкла!»

— Горчички? Ах да!.. Забыла… Ещё чего хотите?

Смелый, немного беспомощный взгляд и… улыбки, улыбки без конца…

Это заменяло недостаток сервиса. Обалдевшие с непривычки,

подвыпившие гости уходили, оставляя «на чай» больше, чем стоил весь обед. Неудобно. Она такая милая!..

Мы с другом тоже оставляли с непривычки много. Но потом спохватились и стали ходить в турецкие кофейни. Это было гораздо дешевле.

Была весна. Город шумел, орал и сверкал, как огромный базар. Тысячи гортанных голосов. Щёлканье бичей «ара-баджи», гордо восседавших на козлах своих фаэтонов, окрики полицейских, гудки машин, вой нищих, вопли уличных продавцов, лай собак. Все сливалось в общий гул. На улицах был настоящий карнавал. Сотни офицеров и солдат в самых экзотических формах и нарядах заполняли город. Шотландцы в юбочках с волынками в руках маршировали под какую-то детскую музыку. Негры в фесках и шароварах, итальянцы с петушиными пёрышками на шляпах, французы в голубых с золотом кепи, американцы в белых шапочках, англичане со стеками в руках, греки, чехи, сербы, румыны… Кого только там не было! Все это двигалось, маршировало, играло, пело.

На углу, около кафе Токатлиана, старый турок жарил каштаны на маленькой жаровне и плакал. Один из «победителей» толкнул его жаровню — она мешала ему пройти, — и каштаны рассыпались по мостовой. По вечерам в узких улочках, прямо на тротуарах пристраивался «кафеджи» — продавец кофе, чудесного, ароматного турецкого кофе — в маленьких чашечках с напёрсток величиной. За пять пиастров он подавался тут же на улице. Вы могли сесть на маленькую табуретку, покурить, послушать заунывную восточную мелодию, сыгранную бродячим турецким музыкантом, и погрустить о родине.

В Галате можно было посмотреть пляски дервишей, которые кружились в длинных одеждах с босыми ногами в священном танце. Кружились до тех пор, пока в судорогах не падали на землю.

Раз в году, в большой праздник байрам, мы ходили в Галату смотреть дешёвую иллюминацию и бродили по базарам без цели, покупая всякую дрянь.

А посреди базара, широко раскинув руки, лежал без памяти пьяный великан и атлет — наш русский борец матрос Сокол. И никто не смел к нему подойти. Турецкая полиция, маленькая и щуплая, боялась его как огня.

Один раз у Сокола уже было столкновение с полицией. И двадцать полицейских летели от него в стороны, как собаки от дикого кабана. Больше его не трогали.

В Галате, в публичных домах, на подоконниках сидели, как звери за решётками, страшные, уродливые женщины и, заманивая

посетителей, кричали, похлопывая себя по голому животу: «Рус! Рус! Карашо!»

А в тёмных прохладных магазинах сидели мудрые седобородые турки, поджав под себя ноги, и терпеливо торговали чудесными коврами, угощая посетителей крошечной чашкой кофе с рахат-лукумом.

Турецкие женщины, в национальной одежде, с вуалями, закрывавшими пол-лица, обжигали прохожих быстрыми и любопытными взглядами диких зверьков.

В больших грязных кафе ели плов из барашка, крошечные шашлыки, «долму» и запивали все это «дузикой» — анисовой водкой, разбавленной холодной водой. Какие-то допотопные органы, вроде наших московских «машин», что когда-то были в извозчичьих трактирах, ревели, гудели, цокали, внезапно останавливаясь, когда кончался завод.

По узеньким, кривым, немощёным уличкам и переулкам бегали страшные опаршивевшие собаки и рылись в мусоре, который тут же выбрасывали на тротуар добрые обыватели. Трогать собак было нельзя. По мусульманским законам собаки считались священными животными. Англичане долго думали, что с ними делать. Наконец полковник Максвельд додумался. Переловив всех собак, он свёз их на какой-то пустынный остров, где они издохли сами по себе — перегрызли друг друга.

Яркий, красочный быт Турции ещё существовал, но уже исчезал понемногу под напором цивилизации, нахлынувшей вместе с оккупационной армией. Победители давили собой. Один из талантливейших журналистов эмиграции, остроумный и злой поэт Дон Аминадо писал:

Лаванда, амбра, запах пудры…
Чадра и феска и чалма…
Страна, где подданные мудры,
Где сводят женщины с ума,
Где от зари и до полночи
Перед душистым наргиле,
На ткань ковра уставя очи,
Сидят «народы» —
на земле
И славят мудрого аллаха
Иль, совершив святой намаз,
О бранной славе падишаха
Ведут медлительный рассказ.
Где любят нежно и жестоко
И непременно в нишах бань.

Пока не будит глас
Пророка:
«Селим! Довольно!
Перестань!»
О бред проезжих беллетристов!
Которым сам
Токатлиан, и друг артистов,
Давал и деньги и кальян!
Он фимиам курил
Фарреру,
Сулил бессмертие
Лоти,
И Клод Фаррер, теряя меру,
Сбивал читателей с пути!

Конечно, той Турции, о которой писал Клод Фаррер, в которую был когда-то влюблён Пьер Лоти, уже не было. Она угасала, задушенная Версальским договором, разбитая, придавленная непомерными контрибуциями, истоптанная сапогами победителей. Турция молчала, стиснув зубы и «зажав своё сердце в руке». Мне было нестерпимо жаль этот мудрый и благородный народ. Он был истощён войной и, казалось, уже агонизировал. Где-то во дворе сидел султан — великолепный восточный повелитель, давным-давно купленный европейцами и оставленный ими только для декорации, без власти, без силы и без всякого значения. Народ даже не говорил о нем, как будто его и не было. Правда, в его великолепном дворце «Ильдиз-Киоске» по пятницам ещё бывали приёмы. На них присутствовал весь дипломатический корпус. Но и туристы тоже. Приглашение на эти приёмы можно было получить по знакомству за деньги.

Вскоре в Константинополе объявился и Слащов. Он поселился где-то в Галате с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. В их числе была и знаменитая Лида. Мы встретились. Вернее, я сам разыскал его. Он жил в маленьком грязноватом домике где-то у черта на куличках. Он ещё больше побелел и осунулся. Лицо у него было усталое. Темперамент куда-то исчез.

Кокаин стоил дорого, и, лишённый его, Слащов утих, постарел сразу на десять лет.

Разговор вертелся вокруг одной темы — о Врангеле. Слащов его смертельно ненавидел. Он говорил долго, детально и яростно о каких-то приказах своих и его, ссылался на окружающих, клялся, кричал, грозил, издевался над германским

происхождением Врангеля.

Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства. Помню только, что мне было его почему-то мучительно жаль.

Всем своим новым, штатским видом он напоминал мне больную птицу, попавшую в клетку. Адъютанты молчали, потихоньку перестригаясь из «львов» в «пуделей» и подумывая о новом хозяине. Как ни странно, но о красных Слащов ничего дурного не говорил. По-видимому, он уже что-то понял.

Лида, надевшая женское платье, сразу же потеряла всю свою оригинальность. Выглядела она, как учительница или сестра милосердия.

В это время, встретив в городе одного турка, которого я знал по России, некоего Нуридин-бея (он был дипломатом в Петрограде и говорил по-русски), я уговорил его открыть кабаре. Надо же было что-то делать. Кабаре называлось «Чёрная роза» и сразу привилось с большим успехом. Как-то случайно я рассказал Нуридину о Слащове и о том, что он нуждается. Добрый турок сразу предложил посылать ему хлеб на всю братию (у него была своя булочная) и обеды из нашего ресторана.

Так продолжалось с полгода. Потом я потерял Слащова из виду. Ещё через год я ушёл из «Чёрной розы» и пел уже в загородном саду «Стелла». Хозяин его был знаменитый русский негр Федор Фёдорович Томас, бывший хозяин московского «Максима». Однажды вечером в «Стеллу» приехал Слащов. Он был с компанией неизвестных мне лиц, много пил и молчал. Я подошёл к нему. Он обрадованно, но грустно улыбнулся. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Это уже не был «герой Перекопа», как его величали, это был грустный, усталый и старый человек.

Я, конечно, не претендую на точность или значительность своих выводов, но мне кажется, что чувствовал я его всё-таки верно. Слащов любил родину. И страдал за неё. По-своему, конечно.

Он предложил мне вина. Мы помолчали.

— А ты ведь действительно что-то знаешь, — вдруг раздумчиво сказал он. — Но и ты ошибся. Как я. Мы все ошиблись, ужасно, непоправимо, непростительно ошиблись. Мы проглядели самое главное! Мы не имеем права жить!

Он взял в руку деревянную палочку-мешалку, которую подают к шампанскому, и сломал её. Его лицо скривилось в мучительной гримасе.

— Хочешь послушать моего совета? — спросил он. — Возвращайся в Россию!

Я молча кивнул головой. Увы, я это понял, едва ступив на

берег Турции. Но поправить мою ошибку я уже не мог.

Вскоре я узнал, что Слащов уехал в Советский Союз, а ещё через несколько лет из газет мне стало известно, что его убил рабочий, брат одного из тех, кого он повесил в Джанкое. Просто, встретя на улице, вынул револьвер и убил. Советское правительство присудило его к десяти годам тюрьмы.

Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека…

В Константинополе сначала все эмигранты были полны надежд.

— Это ненадолго! — говорили спокойные, уверенные спекулянты, которым удалось кое-что вывезти и кое-что заработать. Многие заходили в своём оптимизме ещё дальше.

— Англичане дают деньги, экипировку и вооружение, — говорили они.

— Но они уже давали, — робко возражал я.

— Будет сформирована новая армия, которая будет на английских кораблях отправлена и высажена.

— Но они уже высаживали! — деликатно напоминал я.

— Ничего. На этот раз это вполне серьёзно!

Возражать было бы напрасно.

Какой-то купец из старых московских фамилий — не то Зотов, не то Филиппов или Морозов — даже принимал пари на любую сумму, что к Новому году будем в Москве.

Некоторых подозрительных персонажей спешно вызывали в разведки и штабы, вели с ними какие-то переговоры.

Много обещали, много предлагали. Немолодые особы сомнительной репутации, работавшие в «Осваге» и в белых разведках, делая хорошую мину при плохой игре, загадочно улыбались и иногда по большой доверенности интимно говорили:

— Ждите больших событий! Скоро поедем домой!

А в Галиполи на острове тихо умирала бессильная разоружённая армия. А на другом острове, Принкипо, в настоящем земном раю, среди роз, глициний и магнолий, в лучшем отеле мира сидели, как в концлагере, русские беженцы на английском пайке и играли в карты на коробки «корн биф» — консервов, проигрывая друг другу свои полуголодные пайки. С горя они отвинчивали дверные медные ручки и продавали их за гроши на барахолке, чтобы курить и пить турецкую водку.

Старые желтозубые петербургские дамы в мужских макинтошах, с тюрбанами на голове, вынимали из сумок последние портсигары — царские подарки с бриллиантовыми орлами — и закладывали или продавали их одесскому ювелиру Пурицу. Они ходили все одинаковые — прямые, с плоскими

ступнями больших ног в мужской обуви, с крымскими двурогими палочками-посохами в руках и делали «бедное, но гордое» лицо.

Молодые офицеры, сопровождавшие этих дам, какие-то Вовочки и Николя — бывшие корнеты лихих гусарских и драгунских полков — «красиво» проживали деньги своих спутниц.

В фешенебельном игорном доме, открытом предприимчивым одесситом Сергеем Альдбрандтом, выступал Жан Гулеско, знаменитый скрипач-румын, игравший в своё время у Донона и у Кюба, любимец петербургской кутящей публики. Было одно желание — забыться. Забыться во что бы то ни стало. Сперва играли в баккара, потом ужинали, потом пили «шампитр». Собирались мужскими компаниями по нескольку человек и кутили, вспоминая старый Петербург.

— Жан, нашу Конногвардейскую!

Гулеско знал наизусть все «чарочки» всех полков. Раздувая свои цыганские, страстные ноздри, он подходил к столу.

— Гулеско, наш Егерский! Ну-ка!..

— Встать! Господа офицеры!

Вставали. Пили. Требовали «Боже, царя храни».

Гулеско играл, сверкая белками цыганских глаз, и как-то особенно ловко подхватывал на лету и перекладывал в карман брошенные десятки.

А сидевшие рядом английские офицеры пожимали плечами и презрительно улыбались.

Русские легко осваиваются повсюду. У нас есть какое-то исключительное умение обживать чужие страны. Ибо куда бы мы ни приехали,

К Мысу ль Радости,
К Скалам Печали ли,
К Островам ли Сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы ни причалили

— как писала Н. А. Тэффи, — всюду мы приносили много своего, русского, только нам одним свойственного, так разукрашивали своим бытом быт чужой, что часто казалось, будто не мы приехали к ним, а они — к нам.

— Ну как вам нравится Константинополь? — спросил я одну знакомую даму.

— Ничего, довольно интересный город. Только турок слишком много, — отвечала она.

Конечно, в больших городах, таких, как Париж, Лондон или Берлин, русские растворялись в многомиллионных массах коренного населения, но зато в городах поменьше…

С нашим приездом Константинополь стал очень быстро русифицироваться. На одной только рю-де-Пера замелькали десятки вывесок: ресторанов, кабаре (дансингов тогда ещё не было), магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных… Все это звало, кричало, расхваливая свой товар, напоминало о счастливых днях прошлого: «Зернистая икра», «Филипповские пирожки», «Смирновская водка», «Украинский борщ». Все это дразнило аппетит, взывало к желудку. И деньги тратились легко. Турецкие деньги. Ибо наши «колокольчики» уже ничего не стоили. Кто успел выменять их раньше — тот был спасён. Остальные с горечью говорили:

— Вот чемодан «лимонов», а жрать нечего.

Положение женщин было лучше, чем мужчин. Они «привились». Их охотно брали на всякие должности, мужчинам же найти работу было очень трудно. Мужчины устраивались главным образом при тех же ресторанах: чистили картошку или ножи, мыли посуду. Почтённые генералы и полковники охотно шли на любую работу чуть ли не за тарелку борща. Все это было очень грустно. Но помочь этому было трудно. Какие-то организации вроде Земского союза пытались что-то делать, устраивая бесплатные столовки и ночлежки, но за недостатком средств учреждения эти дышали на ладан…

И всё-таки все как-то жили. Около тех, кто ел пироги, как всегда, питались крохами голодные. Голодных, конечно, было больше, чем сытых, но и сытых было немало. Предприимчивые купцы возили что-то в Батум, нагружали пароходы, возвращались и снова куда-то что-то везли. Потом, когда возить уже было нельзя, «загоняли» свои пароходы, часто не им принадлежавшие, и долго ещё жили на эти деньги. Всякого рода сделки, барыши, деловые знакомства — все это «вспрыскивалось» по-старинному шампанским, отмечалось кутежами, швырянием денег.

Главный заработок был от иностранцев. Им очень нравилось все русское. Начиная от русских женщин, капризных и избалованных, которые требовали к себе большого внимания и больших затрат, и кончая русской музыкой и русской кухней. Простодушные грубоватые американцы, суховатые снобирующие англичане, пылкие и ревнивые итальянцы, весёлые и самоуверенные французы — все совершенно менялись под «благотворным» влиянием русских женщин, ибо переделывали они их изумительно. А русские женщины любят переделывать мужчин! Для иностранцев условия были довольно тяжёлые. Но чего не претерпишь ради любимой!

Помню, был у меня один приятель француз. Человек довольно неглупый, молодой, богатый и весёлый. Подружились

мы с ним потому, что он обожал все русское.

— Гастон, — спросил я его однажды. — Вот вы так любите все русское. Почему бы вам не жениться на русской?

Он серьёзно посмотрел мне в глаза. Потом улыбнулся.

— Вот видите ли, мой дорогой друг, — раздумчиво начал он, — для того чтобы жениться на русской эмигрантке, надо сперва… выкупить все её ломбардные квитанции. А если у неё их нет, то её подруги. Раз! Потом выписать всю её семью из Советской России. Два! Потом купить её мужу такси или дать отступного тысяч двадцать. Три! Потом заплатить за право учения её сына в Белграде, потому что за него уже три года не плачено. Четыре! Потом… положить на её имя деньги в банк. Пять! Потом… купить ей апартамент. Шесть! Машину. Семь! Меха. Восемь! Драгоценности. Девять! и т. д. А шофёром надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь. И такой милый. И у него отняли все-все, кроме чести, конечно. После этого… — Он задумался. — После этого она вам скажет: «Я вас пока ещё не люблю. Но с годами я к вам привыкну!» И вот, — вдохновенно продолжал он, — когда она к вам наконец почти уже привыкла, вы ловите её… со своим шофёром! Оказывается, что они давно уже любят друг друга и, понятно, вы для неё нуль. Вы — иностранец. «Чужой». И к тому же хам, как она говорит. А он всё-таки бывший князь. И танцует лучше вас. И выше вас ростом. Ну, остальное вам ясно. Скандал. Развод. На суде она обязательно вам скажет: «Ты имел моё тело, но души моей ты не имел!» Зато ваш шофёр имел и то и другое. Согласитесь, что это сложно, мой друг!

Шарж был ядовитый, но в общем довольно верный. И тем не менее женщины всё-таки побеждали. Они выходили замуж за кого угодно, начиная от самых больших особ первого класса и кончая самыми маленькими. А турки вообще от них потеряли головы. Разводы сыпались как из рога изобилия. Мужья получали отступного и уезжали искать счастья кто в Варну, кто в Прагу, кто куда, а жены делались «магометанскими леди» и одевались иногда в восточные одежды, которые носили не без шика.

Константинополь был буквально переполнен молодыми и хорошенькими женщинами. Вся эта военная молодёжь из белых армий где-то в Крыму, в Ростове и Екатеринодаре «с перепугу» переженилась на молодых девчонках и привезла их с собой, надеясь на знаменитый русский «авось». Девчонки сразу освоились и как-то внезапно, точно по уговору, все оказались дочерьми генералов, полковников, губернаторов и миллионеров. Иностранцам они рассказали о себе чудеса. Те слушали их разинув рты. Мужья сердились, но терпели. Главой в доме была

жена. Сменив военную форму на штатское, мужчины чувствовали себя как-то неуверенно. Имея много свободного времени, они ревновали своих жён, тяготились создавшимся положением или, наоборот, спокойно мирились с ним и от скуки целые дни торчали в бильярдных.

Я пел в «Чёрной розе».

Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали, а преимущественно цыганские. Весёлые — с припевами, в такт которых они пристукивали, прищёлкивали и раскачивались. Это нравилось. Почти ежевечерне по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристолю. Он приезжал с женой и со всей своей свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую «Гусарскую песенку» («Оружьем на солнце сверкая»), которую я пел, искусно заправляя её всякими имитациями барабанов и военных труб. Тратил он очень много, и мой патрон был в восторге. А за адмиралом тянулась и остальная денежная публика. Постепенно меня стали приглашать на официальные банкеты и приёмы в посольстве — я танцевал с пожилой адмиральшей и разговаривал с ними по-французски, ибо английского я не знал. Однажды адмирал пригласил меня даже обедать на свой флагманский корабль. В это время Кемаль-паша, будущий создатель новой Турции, сидел в Анатолии, ощетинившись всеми верными ему штыками, и не обращал внимания на все угрозы союзников. Американские и английские корабли блокировали анатолийское побережье. Воевать победителям не хотелось.

Где-то шли какие-то переговоры, а пока остальная Турция с султаном во главе была изолирована от мира.

Однажды я был приглашён в «Ильдиэ-Киоск» к султану, на «селямлик». Я приехал со своим оркестром и в ожидании его выхода стоял в приёмном зале дворца и разговаривал со знакомыми дипломатами. Тогдашний греческий атташе Псилари объяснял мне, как надо заводить роман с турчанками, чтобы не повредить их репутации. Я слушал и смотрел в окно. До приёма султан по ритуалу должен был посетить мечеть.

Мечеть находилась тут же, в ограде дворца, и скоро показалось его ландо, запряжённое шестёркой белых лошадей. Султан в блестящем, расшитом золотом мундире, с лентой и орденами сидел один, а с боков его коляски в полных парадных одеяниях и также при всех орденах и регалиях пешком бежали его министры, положив одну руку на крыло экипажа. Полюбовавшись парадом, я отошёл от окна. Вечером после приёма, вдоволь напевшись, я получил от султана в подарок ящик его личных сигарет из чудесного турецкого табака, с длинными картонными

мундштуками, украшенными его эмблемой.

Галиполи в переводе с греческого значит «Город красоты». Трудно себе представить, почему так назвали пустынное, выжженное солнцем место. Наши солдатики называли его «Голополе» — это название больше подходило. Солнце. Синие горы вокруг. Жара. Раскалённый камень. Ящерицы. Очень мало зелени. Так выглядел Галиполи, когда из чёрных закоптелых транспортов там высадилась тридцатитысячная армия усталых, разочарованных, отвоевавших людей — без родины, без будущего и даже без настоящего.

Когда-то здесь стояли шатры крестоносцев. Белые перья рыцарских шлемов развевались по ветру. Здесь был рынок, где продавали рабынь. Когда-то разъярённый Ксеркс приказал здесь высечь цепями Геллеспонт. Потом все смывающий ветер истории начисто выдул отсюда все признаки прошлого. Только забытые турецкие могилы — серые камни в белых тюрбанах — скучно молчат на серо-жёлтом фоне. А вокруг море и море… Для русского лагеря отвели место на земле какого-то турецкого полковника. Называлось оно Долина Роз и Смерти, потому что хотя над речкой, в расселинах гор, рос дикий шиповник, но москиты, скорпионы и змеи подстерегали на каждом шагу.

Вот на этом-то голом месте в очень короткое время вырос белый полотняный город. Почти год прожила там армия, зализывая боевые раны. Отмылась, избавилась от вшей, от тифа, от дизентерии. Кутепов завёл строгую дисциплину. За малейший проступок сажал на гауптвахту. Он хотел спасти армию во что бы то ни стало, спасти самое сердце «белой идеи». Но идеи уже не было. Идея угасла ещё там, в России, оторвалась вместе с территорией родины. И правда, кому были нужны или дороги интересы белой армии, кроме неё самой? Никто даже не вспоминал о ней. Спекулянты наживались, интеллигенция стремилась к европейским центрам — в Париж, Берлин, Лондон.

Молодёжь просилась в Америку, Бразилию, Аргентину — куда угодно, лишь бы вырваться отсюда и начать новую жизнь.

Союзники помогали слабо. Судьба белой армии перестала их интересовать. Кроме консервов да кое-какой одежды, от них ждать было нечего. Жили впроголодь. Вначале солдаты даже просили милостыню. От селитры, которая была в консервах, у многих на теле стали появляться язвы. Только американцы помогали немного. Давали детям молоко, шерстяные одеяла, тёплые фуфайки. Земсоюз подкармливал женщин и детей. Были полотняные церкви, библиотека, художественный кружок, театрик-балаганчик. Днём проходили ученья, маршировали, занимались, как полагается. В юнкерском училище юнкерам

читали лекции. Россия жива. Россия будет. И надо ей служить. Все равно где, здесь или в Африке. Сторожили знамёна. Тосковали по родине. Мечтали о походе на Константинополь… Так легко! Взять можно сразу. Захватить суда — потом в Россию. Восемь офицеров застрелились от тоски по родине. Два генерала сидели в приморском кафе — пили. Увидели на рейде маленький истребитель, захватили наганы и, как обезумевшие, бросились в воду. Доплыть, захватить истребитель и в Россию! В воде, однако, протрезвились…

Когда по всему миру русские эмигранты впали в истерику, когда их «политики» стали делать ставку на «эволюцию большевизма», на «крестьянские восстания», «голод», когда «Общее дело» заявляло, что через две недели начнётся поголовное бегство комиссаров из Кремля, сухопарые, очкастые галиполийские лекторы, загибая тощие пальцы, говорили: «Не верьте! Все это истерика или выдумка. Не сегодня и не завтра придёт спасение. Не верьте политиканам. Они ослепли в политической мгле. Это самообман, а правда проста. Мы одни. Мы полузабыты, и мы должны крепить свой дух».

Конечно, это был «белый монастырь». Конечно, это были подвижники. Конечно, все эти белые мальчики, все эти Алёши Карамазовы искренне и свято верили в свой белый подвиг. Отделённые от остального мира в своём полотняном городе, как в белом скиту, они уже очистились «от всякия скверны» — от всей грязи и несправедливости, которую рождает гражданская война. И ждали. Ждали Россию. Верили в свою миссию, в своё предназначение. Это они, последние оставшиеся в живых, считали себя призванными сохранить честь и мощь армии, чистоту её оружия и силу.

Я понимаю, как трудно будет читать эти строки сегодняшнему патриотически настроенному читателю, для которого через вереницу лет уже все понятно и все ясно. Конечно, они ошиблись. Конечно, они проиграли. Они — то есть вся эмиграция, оторвавшаяся от родины, посмевшая поднять меч свой против НЕЁ!

Но ведь они верили! Они думали, что приносят свои жизни для родины, для её счастья, её спасения. Белые воевали за старое, за прошлое. Красные воевали за новое, за будущее. Кто из них был нужен России, тогда ещё никто не знал. Тогда можно было только верить. История решила вопрос.

В книге Ивана Лукаша «Голое Поле» — поручик Миша говорит: «Я пошёл потому, что верил в наше дело. И в армии вся молодёжь так же как я верующие. Мы пошли потому, что вера наша была как ОБРЕЧЕНИЕ, и, может быть, все мы были обречены

смерти за Россию…

Вы думаете, в душе мы не знали, что нас трагически мало? Что большевикам помогает историческая удача, а мы обречены умереть? Пусть история безжалостна. Но она справедлива. И дело не в нас, а в исторической справедливости. Дело в нашей вере, что Россия тихая, а не бешеная! Что Россия будет построена миром, а не войной. Мы верили ОБРЕЧЕННЫЕ. Вы понимаете? Да. Ну вот. Мы воевали, и нам казалось, что за нас думают. Нам бы только победить, а за нас уже постоят! Только теперь мы видим, что кругом нас пустота! Мы одни. А за Галиполи, за нашей монастырской стеной — пустота. И опустошённые души. Не генералов и не царей мы хотели. Мы не пушечное мясо генеральских авантюр, мы живое мясо самой России, нас вырвали с кровью — мы не могли устоять. И вот мы здесь»[3].

А на рейде время от времени появлялся старый закоптелый пароход «Решид-паша», который ходил в Одессу и мог увезти на родину. И долго смотрели на него люди в белых рубашках, и тысячи мыслей о том, как бежать, как вырваться, как вернуться, рождались в их головах. И бессильно умирали. Возврата не было.

В зеленой гуще деревьев и пальм в Бебеке, где стояли турецкие виллы, увитые снизу доверху огромными чайными розами, пели соловьи. В «Пти Шане» пели шансонетки. Балетмейстер Виктор Зимин ставил «Шехерезаду». В «Стелле», в саду у нашего московского негра Томаса, играли русские музыканты, танцевали русские балерины, русские дамы пленяли сердца американцев, англичан и французов… Все шло как по маслу… Но деньги кончались.

Те, кто «устроился», так или иначе ещё существовали, остальные, истратив все и продав все фамильные драгоценности, невольно вынуждены были как-то обдумывать свою дальнейшую судьбу. Опять началась беготня за визами. Кое-куда их ещё давали. Интеллигенцию принимали чехи. Туда двинулись профессора, писатели, журналисты. Желающих «сесть на землю» звали в Аргентину. Туда устремилось казачество. Люди со средствами уезжали во Францию, в Париж. Эмиграция рассасывалась.

Турецкое правительство, слегка опомнившись от собственных переживаний, подбодрённое независимым положением неукротимого Кемаль-паши, потихоньку приходило в себя. На эмиграции это отразилось довольно чувствительно. Появился ряд декретов и законов, сильно ограничивших свободу эмигрантов в Турции.

Нужно было куда-то бежать. Об этом стал думать и я. Тут передо мной возникли два основных вопроса. Первый: куда ехать?

А второй — с какими документами? (Кроме ветхозаветного метрического свидетельства, у меня не было никаких документов.) Да ещё был и третий вопрос: с какими средствами?

Того, что я зарабатывал пением, хватало на жизнь, но и только. А пароходные билеты до любой страны стоили сотни лир. Но, очевидно, судьба думала обо мне. Вскоре возле меня стал вертеться маленький юркий театральный человечек — русский грек, некий Кирьяков. У него родилась идея повезти меня в Румынию, главным образом в Бессарабию, где было коренное русское население и где можно было на мне заработать. Выбирать было не из чего. Я искренне обрадовался его предложению и стал готовиться к отъезду. Вскоре у меня появился греческий паспорт, купленный Кирьяковым за сто лир, на имя греческого подданного, рождённого в городе Киеве, — Александра Вертидиса (так переделал мою фамилию предприимчивый Кирьяков для большего сходства с Грецией). О родителях было сказано, что отец из Афин, а мать с Украины. В общем, выходил недурной коктейль.

С благодарностью вспоминаю об этом человеке. Что бы я делал, если б не он? И не только в тот момент, но и в дальнейшем. Как-никак, но с этим паспортом я объехал чуть не полсвета, минуя все эмигрантские затруднения.

На прощанье симпатичный чиновник, продавший мне паспорт, сказал:

— Можете ездить по всему свету, только старайтесь никогда не попадать в Грецию, а то у вас его моментально отберут!

Этот завет я помнил всю жизнь. Вероятно, поэтому я так и не видел Греции.

Постепенно закрывались рестораны, прижатые новыми правилами, прикрывались игорные дома и лото-клубы, сворачивались магазины, лопались дутые предприятия, отбирались пароходы… Пленительные русские женщины увозились эа границу счастливыми мужьями.

Правительство его величества султана висело на волоске, а Кемаль рычал, как разъярённый тигр, на мирно отдыхавших «победителей» и не давал им покоя.

Все это портило им настроение и вредило пищеварению. Приходилось «сматывать удочки» и собирать свои палки для гольфа.

Я не дождался переворота.

Я взял билет в Констанцу и, закурив последнюю ароматную сигарету, подаренную мне его величеством, отплыл в неизвестность, навсегда попрощавшись с этой солнечной страной — родиной талантливой Шехерезады, Босфором, Золотым Рогом,

минаретами, муэдзинами, осликами, страной добрых, и благородных людей, всё несчастье которых было в том, что они были «слышком» благородны и благодушны и не спешили жить.

В Румынии

Один из моих приятелей, итальянский дипломат герцог Д'А-а, однажды на одном банкете в Бухаресте в «Атеней-Паласе», на котором мне пришлось выступать, говорил:

— Румыния, мой друг, это страна смычка и отмычки. Тем или иным путём, но они уж сумеют добраться до ваших денег!.. «Берут» буквально все. Но «берут» не за то, чтобы помочь вашему делу, а за то, чтобы вам не «сделать гадости»!

И он был прав.

Вот, бывало, приходит какой-нибудь тип к моему менеджеру и знакомится:

— Я такой-то.

— Очень приятно! Чем могу служить?

— А вот, видите ли, — заявляет тип, — я могу сделать так, что ваш концерт не состоится…

— Зачем и почему?

— А я вот в цензуре служу и заявлю, что ваш Вертинский привёз сюда пропаганду в песнях. Вот и крышка вашим концертам.

— Сколько? — кратко спрашивает менеджер.

— Двести.

Вздыхали и платили.

Через день приходит другой.

— Концерт не состоится! — заявлял он.

— Почему?

— Я из пожарной комиссии. Театр деревянный. У вас аншлаг, много народу. Опасно…

— Сколько?

— Триста.

Вынимали триста.

Вечером, уже после концерта, когда мы выходили из театра, из темноты ночи откуда-то появлялись две-три подозрительные личности в потёртых пальто. Личности зябко жались к машине и, кротко улыбаясь, выразительно покашливали.

— За что? — просто спрашивал менеджер.

— А мы из сигуранцы, сыщики!

— Ну?

— Мы за вами следить приставлены! Может, какие встречи у вас или что говорить будете… — Извинительным тоном они добавляли: — Служба собачья.

Кирьяков давал им по десятке. Они услужливо открывали дверцу машины и любезно справлялись:

— Вы в собрание? Ужинать? Мы придём. Не беспокойтесь, мешать не будем. Счастливого пути.

В собрании они усаживались за столик неподалёку от нас и скромно заказывали себе по «шприцу» (белое вино с водой). Счёт посылали нам.

В этой стране не было «дела», которое нельзя было бы провести. Весь вопрос был только в сумме. Такого количества воров, как в Румынии, я нигде не видел. Впрочем, это и неудивительно. Румыния ещё в далёкие времена цезарей была итальянской колонией, куда ссылали на каторжные работы, что-то вроде французской Гвианы или старого Сахалина.

От цыган, которые пришли с Карпат из Венгрии и Трансильвании и которые населяли Молдавию, румыны научились музыке. Той музыке, которая известна под неопределённым названием «цыганской». Их «дойны» — это заунывные и жалобные мелодии, частью венгерские, частью турецкие песни, рождённые ещё во времена турецкого владычества, когда та часть Румынии, где Аккерман, Измаил и Килия, принадлежала туркам. Играют они их в своё удовольствие и подолгу, бесконечно варьируя одну и ту же незатейливую тему. Если их не остановить вовремя, то они вас «заиграют» насмерть.

В антрактах от оркестра в публику сходит музыкант и делает «кету». Собирает деньги. В одной руке у него поднос, на который гости кладут сколько кто может, а в кулаке другой руки зажата живая муха. Это для того, чтобы он не воровал денег. Вернувшись на эстраду, он должен на глазах у музыкантов раскрыть кулак и выпустить муху. И муха должна быть живой. Иначе ему не поверят товарищи.

Когда попадётся богатый гость, который кутит, то он ставит оркестр на колени около своего стола, вынимает пачку ассигнаций и, поплевав на бумажку, приклеивает её музыканту на лоб. И музыкант играет до тех пор, пока бумажка не высохнет и, отклеившись, не упадёт на пол. Тогда он прячет её в карман, а гость, поплевав, наклеивает ему на лоб новую.

Когда я впервые увидел эту картину, я чуть не сгорел со стыда за музыкантов. Мне стало стыдно, что я тоже артист. Я стал умолять угощавшего меня поклонника не делать этого. Но музыканты были так недовольны моей защитой, считая, что я срываю их заработок, что мне ничего не оставалось, как покориться обстоятельствам.

Если румыну что-нибудь понравилось у вас: ваш галстук, или ваши часы, или ваша дама, — отдайте ему! Иначе он будет вам до тех пор делать гадости, пока не получит желаемого. Как иллюстрацию к сказанному я приведу один случай, который во

время моего пребывания в Бессарабии мне шёпотом передавали тамошние жители.

Однажды, рассказали мне, в Кишинёве появилась русская женщина, отличавшаяся необыкновенной красотой. Она тайком перешла границу по льду Днестра у Тирасполя, а оттуда пробралась в Кишинёв, где её приютил богатый одесский грек Пападаки, владелец кино «Орфеум». Эта женщина должна была ежедневно являться в комендатуру, её подвергали допросам, стараясь выяснить, не является ли она шпионкой «оттуда». Добиться от неё ничего не могли, потому что это была обыкновенная буржуазная дама, убежавшая из Советской России, как убегали сотни спекулянтов, буржуев, растратчиков.

Она имела несчастье обратить на себя внимание всесильного диктатора Бессарабии генерала Поповича. Изматывая её допросами и запугивая, генерал в конце концов предложил ей сойтись с ним, обещая за это свободу. Дама отказалась. Генерал настаивал. Видя, что сломить её упорство невозможно, разъярённый генерал приказал погнать женщину по льду Днестра обратно в Советскую Россию. В пять часов утра её вывели на берег реки. Когда она отошла на некоторое расстояние, ей послали вдогонку несколько пуль.

Узнав об этом, Пападаки бросился в Бухарест, взял самого лучшего адвоката; не жалея денег, кидался по всем инстанциям, требуя расследования. Подавал жалобы министрам и даже дошёл до короля. Но все было напрасно. Генерал был недосягаем и неуязвим. Тогда Пападаки поднял на ноги прессу. За деньги, конечно. Оппозиционные газеты затеяли настоящую травлю генерала. Коллегия адвокатов заявила формальный протест в суде. Скандал разросся до небывалых размеров. И тем не менее дело замяли, грека куда-то запрятали и потом ликвидировали.

Вот к этому самому генералу Поповичу я и попал со своими концертами.

Приехал я из Констанцы через Бухарест прямо в Бессарабию, в Кишинёв, где рассчитывал исключительно на русское население.

Сначала все было хорошо. Концерты мои давали полные сборы, публика меня баловала, друзья окружили максимальной заботой, вниманием и лаской. Кирьяков набивал свои карманы леями, которые, правда, в переводе на настоящую валюту стоили мало, но все же были деньгами. Но потом вдруг все неожиданно и странно изменилось. Началось это с того, что как-то после концерта я ужинал со своими друзьями в саду местного собрания. В саду был ресторан, в котором мы сидели, а дальше, в глубине сада, был кафешантан со столиками. В середине ужина мне стало

жарко, я решил встать из-за стола и пройтись по саду. Неожиданно из темноты сада ко мне подошла уже немолодая дама.

— Вы мсье Вертинский? — спросила она.

Я молча поклонился.

— У меня к вам просьба… Я певица… — Она назвала какое-то имя, вроде Мира или Мара. — Я пою здесь… В субботу у меня бенефис. Я бы хотела, чтобы вы выступили у меня в этот вечер.

Я был удивлён.

— Вам, вероятно, известно, мадам, — отвечал я ей, — что я приехал сюда на ряд концертов, у меня есть импресарио, с которым я имею известный договор. Кроме того, у меня в субботу собственный концерт, который я не могу отменить, и, помимо всего, я никогда не выступал в кафешантане!

Дама нахмурилась.

— Значит, вы мне отказываете? — спросила она.

— Я не вижу возможности исполнить вашу просьбу, мадам.

— Вы пожалеете об этом! — глядя мне прямо в глаза, вызывающе сказала она.

Я пожал плечами и отошёл. Вернувшись к своему столу, я, к сожалению, забыл об этом эпизоде и, не рассказав о нем никому из друзей, продолжал ужин. Вот это-то и было моей роковой ошибкой.

На другое утро я уехал из Кишинёва в турне по Бессарабии.

Трудно передать те чувства, которые охватили меня при виде нашей русской земли, такой знакомой, такой близкой и дорогой сердцу и в то же время уже чужой, не «нашей». Русские вывески «Аптека», «Трактир», «Кондитерская», «Ренсковый погреб», «Бакалейная торговля» вызывали во мне чувство нежности. Точно я повстречался с милыми, давно забытыми людьми моей юности. Точно я через много лет вернулся в родной город, и меня встречают уже иные, незнакомые мне лица. Носильщики на вокзалах, извозчики, продавцы в магазинах, нищие — все говорили по-русски. Человеку, оторвавшемуся от родной почвы и жившему долго «у чужих», это было ново, радостно и до слез приятно. В простом провинциальном фаэтоне, запряжённом парой худых кляч, на козлах которого гордо восседал извозчик Янкель — тоже худой и длинный, как жердь, с рыжевато-седой библейской бородой, — мы покатили в ясный солнечный день по нашей — почти нашей — русской земле в молдаванские степи. Те же милые сердцу белые хаты, те же колодцы с жестяными Христами, как у нас на Украине, те же подсолнухи, кивающие из-за тына, тот же воздух, то же солнце… и птицы.

Что за ветер в степи молдаванской…
Как поёт под ногами земля… —

танцевали у меня в голове первые строки будущей песня.

Коляска подпрыгивала. Янкель что-то напевал о строгой учительнице, которая обманывает своего ребе, и хотя пел он по-еврейски, но выходило как-то по-русски. Так, вероятно, пел еврей-ямщик где-нибудь на Украине. Встречные возы с сеном, запряжённые такими же украинскими волами, давали нам дорогу, сворачивая со шляха. Крестьяне кланялись, снимая шляпы.

Все эти Бендеры, Сороки, Оргеевы выглядели как типичные русские «местечки» с неизбежным почтамтом, белой церквушкой, бакалейными лавочками, где пахнет хомутами и дёгтем, где продают гвозди и мыло, кнутовища и квас, колбасу и верёвки.

В синем небе высоко кружил ястреб. Ласточки сидели на телеграфной проволоке, и кругом, куда ни кинешь взгляд, степь и степь. Так похоже на родину! Иногда под вечер в степи мы встречали цыганский табор. Настоящий табор, о котором всю жизнь слышишь во всех романсах, кстати сказать, написанных людьми, никогда его не видевшими. Горели костры. Стояли полукругом кибитки с поднятыми оглоблями. Кричали дети. В таких случаях мы останавливались. Шли к цыганам. Садились к костру, ужинали, пили вино, слушали песни. Под гитарные переборы грустили о родине. А степь была уже серебряной от лунного света, звенели цикады, кричали перепела… Было много общего между жизнью этих людей без родины и — моей…

Однажды в степи мы встретили кочующий табор. Как всегда, мы остановились и начали разговаривать с цыганами. Молодая цыганка скалила ослепительные зубы и, объясняя нам, как ближе проехать к городу, кормила грудью маленького ребёнка. Её муж, смуглый стройный цыган, мазал дёгтем колесо кибитки. Мы уже собирались ехать дальше, когда наше внимание привлекло облако пыли на дороге — какие-то всадники, мчась во весь опор, приближались к нам. Янкель, привстав на козлах, всматривался вдаль, прикрыв глаза рукой.

— Жандармы, — тихо сказал он.

Цыгане встрепенулись.

Мужчины бросились к лошадям.

Но было уже поздно. Через несколько минут взвод жандармов окружил табор. Невообразимый вой поднялся вокруг. Женщины голосили. Дети ревели. Мужчины кричали, ударяя себя кулаками в грудь и крестясь. Собаки лаяли.

— Что случилось? — спросил я ротмистра.

Оказалось, что несколько часов тому назад эти цыгане ограбили почту.

Жандармы взяли их, закручивая руки назад.

Я взглянул на молодую цыганку.

Она кричала исступлённо и яростно. Изо рта у неё катилась пена.

Её мужа уже волокли к лошадям, связанного и избитого.

Она рвалась к нему, голося и дико сверкая глазами. Жандарм оттолкнул её. Тогда, не помня себя от бешенства, она вдруг, к моему ужасу, схватила ребёнка и швырнула его в жандарма. Жандарм, изогнувшись в седле, подхватил ребёнка за ноги.

Цыган окружили и погнали в город…

В Бендерах мы остановились в маленькой гостинице. Принесли самовар. Хозяин пришёл поговорить с нами. У окон собралось все местечко посмотреть на меня. Все это было так «по-русски» приятно.

До концерта оставалось полтора дня.

Времени было много, и я решил пойти на берег Днестра посмотреть на родину.

Было часов восемь вечера. На той стороне нежно синели маковки церквей. Тихий звон едва уловимо долетел до моих ушей. Без бинокля было видно, как ходит по берегу часовой. Мирные стада пили воду у самого берега.

Все это было невероятно, безжалостно, обидно близко. Вот совсем рядом. Казалось, всего несколько десятков саженей отделяли меня от родины. Броситься в воду! Доплыть! Никого нет… Не поймают… — мелькало в голове. А там? Там что?.. Часовой спокойно выстрелит в упор — и все… Кому мы нужны? Беглецы! Трусы! «Сбежавшие ночью»… Кто нас встретит там? И зачем мы им?.. Остатки прошлого! Разбежавшиеся слуги барского дома! Нас засмеёт любой деревенский мальчишка!.. А что мы умеем? Ничего! Что мы знаем? Чем мы можем быть полезны? Полы мыть и то не умеем!

Я сел на камень и заплакал.

Кирьяков увёл меня домой, в гостиницу.

— Не расстраивайтесь. Завтра концерт, — сказал он.

Придя в комнату, я закончил песню.

А когда засыпают берёзы
И поляны отходят ко сну.
О, как сладко, как больно сквозь слезы
Хоть взглянуть на родную страну.

Много переживаний и волнующих моментов было у меня в

Бессарабии. Прежде всего милые люди — не беженцы, сорвавшиеся со своих мест, суматошные, растерянные, двигающиеся по закону инерции, ещё не осознавшие своей огромной потери, ищущие, сами не зная, чего им надо, а коренные, исконные русские жители этих мест, люди нашей, русской земли, никуда с неё не убегавшие. Волею судеб они попали под чужую власть — под иго невоевавших победителей, жадно набросившихся на свалившийся им с неба богатый край.

Эти люди не забыли своей родины, они думали о ней, терпеливо ждали своего освобождения и верили в него, считая, что власть завоевателей временна, случайна и скоропреходяща.

Они посещали мои концерты, приходили ко мне, говорили со мной. В моем лице они видели не только артиста, но и часть своей родины, человека, который привёз им искорку родного искусства.

Они старались объяснить не понимавшим меня румынам, кто я и что я, о чем я пою. Они искренне гордились мной.

А во всех этих городах и местечках по приказу из Кишинёва уже следили за мной. На концертах сидели сыщики, начальники сигуранц, чиновники. Они внимательно наблюдали за мной и публикой, стараясь вникнуть в тайный смысл моих слов. Наблюдали, как реагирует взволнованная аудитория, и нервничали, видя слишком горячий приём.

Как-то в Аккермане мой концерт посетил сам комендант города. Он сидел в первом ряду в полной парадной форме и не понимал, за что мне так аплодируют. В конце концов он не выдержал. Вскочив со своего места, он повернулся лицом к публике и, стуча по полу своим палашом, в бешенстве закричал по-румынски:

— Что он поёт? Я требую, чтобы мне объяснили, что он поёт? Отчего здесь все с ума сходят? Голоса у него нет. В чем дело?

К нему подошли какие-то люди, пытались ему объяснить. Полковник был в ярости.

— Это неправда! — кричал комендант. — Он большевик! Он вам делает митинг! Артистам не делают демонстративных оваций.

Вот тут он был прав. Овации были действительно демонстративными. И не потому, что я уж так изумительно пел, а потому, что я был русский и, следовательно, свой, «запрещённый».

Шаг за шагом, город за городом, не минуя даже маленьких местечек, я катил по Бессарабии, напоминая людям об их языке, об искусстве их великой родины, о том, что она есть и будет. А вместе со мной, как снежная лавина, катился все

увеличивающийся ком доносов, рапортов со всех мест, где ступала моя нога, где звучал мой голос.

Публика была возбуждена, ко мне тянулись сердца. Меня благодарили чуть не со слезами на глазах за то, что приехал, за то, что привёз русское слово, что утешил, успокоил. Воистину это окрылило меня. У меня открылись глаза. Это было и радостью, и наградой.

Дороги в Бессарабии ужасны. Шоссе есть только в некоторых местах, и то небольшими кусками, а в основном старые русские почтовые тракты, мощённые булыжниками и полуразвалившиеся. Ездить по этим дорогам невозможно — езда вытряхивает душу, и мы старались, избегая их, пробираться просёлочными дорогами. Три или четыре правительства получали ассигнования на постройку шоссе в Бессарабии. Но каждый раз деньги эти исчезали, растаяв по карманам начальствующих лиц, а «шоссе» мирно дремали, зарастая клевером, крапивой и бурьяном.

В Румынии такой порядок. Вот к власти приходит какая-нибудь партия. Приходит она в полном составе, т. е. от премьер-министра до ночного сторожа. Все места по всей стране занимают люди только данной партии и их родственники и протеже. Поправив страной два-три года и насосавшись денег, партия сама отваливается, как пиявка, или её сваливает следующая, идущая ей на смену. Следующая опять приходит в своём собственном полном составе, от премьер-министра до ночного сторожа, «со сродниками и со чадами». Поэтому в Румынии нет ни одного чиновника, который прослужил бы больше двух-трёх лет. И, вероятно, поэтому, знал свой краткий век мотылька, румынские чиновники берут с кого можно и сколько можно, стараясь сколотить побольше денег за время своего царствования.

Кое-как, раздавая взятки направо и налево, мы закончили наше турне и через две недели вернулись в Кишинёв, где намеревались дать ещё несколько концертов, а затем ехать в Польшу.

В Кишинёв приехали к вечеру. Наскоро поужинав в отеле, я лёг и уснул как убитый. В пять утра в номер постучали. Кирьяков открыл дверь. На пороге стояли жандармы.

— Пожалуйте в управление!

Я быстро оделся. Кирьяков, сообразив, что дело дрянь, бросился в город предупредить моих друзей. Самыми влиятельными из них были директор банка Черкес и Николай Николаевич Кодрян — директор бессарабских железных дорог, милейший русский инженер, бессарабец по рождению, умница и большой дипломат. Через полчаса оба они были уже в управлении, обеспокоенные случившимся.

Меня ввели в кабинет к ротмистру. Он указал на стул.

— Подайте мне дело Вертинского! — коротко распорядился он.

Я с изумлением и тревогой смотрел на толстую солидную папку, до отказа набитую бумагами.

Потом я узнал, что все это были донесения из провинции обо мне и моих концертах, наскоро состряпанные местными агентами.

Я тупо смотрел на папку. Разговор вёлся по-французски.

— Вы большевик? — в упор глядя на меня, спрашивал ротмистр.

— К сожалению, нет!

— Почему «к сожалению»?

— Потому что, если бы это было так, я пел бы у себя на родине, а не ездил бы в такие дыры, как Кишинёв.

Ответ не удовлетворил ротмистра.

— Вы занимаетесь пропагандой! — крикнул он, стуча кулаком по столу.

— Укажите мне, в чем она заключается?

— Вы поёте, что Бессарабия должна принадлежать русским!

— Неправда, я этого не говорил!

Он ткнул мне в лицо перевод песни.

— Я не читаю по-румынски, — отвечал я, — и не знаю, что здесь написано. Я знаю только то, что я написал.

Ротмистр злился. Он грозно потрясал в воздухе текстом моей песенки «В степи молдаванской».

— Да-да, конечно. Вы маскируете смысл, но все понимают, что вы хотите сказать!

— Было бы странно, господин ротмистр, если бы я пел так, чтобы меня не понимали!

— Вы советский агент! — раздражаясь все больше, кричал он. — Вот здесь мне доносят, что вас засыпают цветами. Вы разжигаете патриотические чувства у русских! Вы обращаетесь с речами!

— Никаких речей я не говорю!

— Я запрещаю ваши концерты. Как вы попали сюда? Кто дал вам визу?

Допрос длился час.

Резолюция была коротка: выслать из пределов Бессарабии в Старое королевство.

Я мог выбирать любой город в Румынии. Я выбрал Бухарест. Напрасно хлопотали мои друзья, нажимая на связи и знакомства. Ничего сделать нельзя было. Самое удивительное, что деньги, всесильные в Румынии деньги, на этот раз не помогали. Тут был

какой-то секрет. Совершенно ясно, что дело о моем большевизме было мне «пришито». Настоящая же причина крылась в чем-то другом. После нескольких дней напрасных хлопот друзей, во время которых меня ежедневно в пять утра таскали на допрос в различные учреждения, я наконец догадался рассказать друзьям историю с шансонеткой.

После этого все стало окончательно ясно для них и для меня: я осмелился отказать любовнице самого кишинёвского диктатора — всесильного в Бессарабии генерала Поповича! В ту же ночь в вагоне третьего класса я был отправлен в Бухарест, в главную сигуранцу в сопровождении тех же знакомых личностей в потёртых пальто, которым мы давали по десятке.

От нечего делать я разглядывал их. Личики у них были прелестные. Я говорю «личики» — ибо они были именно небольшие и необычайно скромные. Скромные причёски «бабочкой», жёлтые усики, красные некрупные носы, пухлые, чуть обиженные губки, и вот только глазки наводили на некоторые сомнения… а так все было бы хорошо, и таких людей можно было бы принять за самых обычных. Поезд постукивал, вагоны покряхтывали, паровоз свистел. Мимо нас проплывали кукурузные поля, леса, небольшие станции. Мы вытащили из корзинки курицу и яйца, данные нам на дорогу добрейшей мадам Кодрян, сыщиков послали за бутылкой вина и устроили завтрак. Завтраком накормили и их — товарищей по несчастью. От крепкого бессарабского вина сыщики скоро осоловели и через час заснули, блаженно захрапев в углах вагона. Мы с Кирьяковым пошли в вагон-ресторан пить кофе.

Там нас и отыскали часа через два проснувшиеся сыщики. Радость их была неописуема. Они, вероятно, думали, что мы сбежали. Но бежать было некуда и незачем, и мы продолжали свой путь мирно до самого Бухареста, честно делясь папиросами и пищей со своими спутниками.

Ровно в восемь утра наш поезд остановился на бухарестском вокзале.

К девяти часам утра сыщики привели нас в сыскное. Собственно говоря, одного меня, ибо Кирьяков был свободен. Меня принял толстый, упитанный румын — начальник сигуранцы. Прочитав сопроводительные бумаги, он кивком головы отпустил сыщиков (Кирьяков остался в коридоре), ухмыльнулся и задал мне только один-единственный вопрос:

— Деньги есть?

— Есть, — ответил я.

— Сколько?

В кармане у меня лежало пятьдесят тысяч лей. Это было все,

что я заработал от концертов.

Он взял деньги, внимательно сосчитал их, взял мои часы, портсигар, ещё какие-то мелочи из карманов. Потом велел снять воротничок и галстук, как с настоящего бандита, спрятал все это в шкафчик и дал мне номер — 63.

— Вы арестованы пока здесь, при сигуранце, впредь до особого распоряжения, — сказал он.

На все мои попытки выяснить, за что я арестован, он отвечал:

— Это не наше дело.

Меня отвели в подвал, где уже сидело несколько воров, задержанных тоже «впредь до выяснения». Это была большая комната, уставленная до половины партами, как в школе. Здесь читались лекции сыщикам, здесь их учили всей премудрости ремесла.

Проходили дни… Утром давали кипяток, обед мне приносил Кирьяков, вечером опять кипяток и хлеб.

Воры были пресимпатичные. Несколько поляков, бессарабы. Все они говорили по-русски да к тому ещё были моими поклонниками. По вечерам они просили меня петь. Петь свои песни мне не хотелось, и я обычно начинал какую-нибудь русскую народную песню вроде «То не ветер ветку клонит», или «Ермака», или, чтобы попасть им прямо в сердце, «Александровский централ». Я знаю и люблю русские песни — звонкие и печальные, протяжные и заливистые, пронизывающие все ваше существо сладчайшей болью и нежностью, острой, пронзительной тоской, наполняющие до краёв ваше сердце любовью к родной земле и тоской по ней.

Славно пели воры. Не спеша, пропевая и протягивая каждое слово песни. Так могут петь люди только в неволе, когда все равно уйти нельзя и некуда, когда времени много и оно гибнет. Люди на свободе не могут так петь. Они все торопятся куда-то. А тут пели любовно и бережно. Осторожно подходили к ноте, к фразе, точно у них в сердце она давно уже была обдумана, пережита, перепета и обласкана.

Страшная, великая сила — русская песня! Все мужество, всю терпимость, всю гордость народа, всю его глубочайшую мудрость отражает она. С ней и работа легче, и горе тише, и смерть не страшна!

Однажды утром дверь нашей камеры-школы открылась, и к нам вошёл новый пассажир — элегантный, сравнительно молодой ещё человек, который при ближайшем знакомстве оказался знаменитым международным вором Вацеком. Наш новый товарищ был приятнейшим и милейшим парнем, весёлым и добрым. Помимо того что он был с полицией и сигуранцей, что

называется, на «ты», он оказался ещё и очень богатым. И хотя денег у него, как у всякого арестованного, не могло быть, тем не менее ему сторожа приносили все, что он заказывал. У него, как у всякого «большого вора», имелся собственный адвокат, и, вероятно, он и оплачивал все его счета. У нас сразу появились вино и еда в неограниченном количестве и даже сигареты. Как настоящий джентльмен, Вацек широко угощал своих младших коллег, честно деля между ними все, что присылалось ему. Перепадало и мне с его барской руки. Ко мне он сразу почувствовал симпатию, и мы начали подолгу разговаривать на разные темы. Воры буквально благоговели перед ним. Это был настоящий «премьер» — красивый, воспитанный, умный, а главное, удачливый в своей профессии. Мелочами он не занимался. Он «работал» только с банками. Его способ был следующий. Приехав в город, где его никто не знал, он приходил с помощником в самый большой банк в деловое время. В руках его всегда был большой портфель. Быстро оглядев зал и учтя положение, он спокойно и решительно подходил к тому окошку, где кто-нибудь получал крупную сумму денег — артельщик или владелец фабрики для расплаты с рабочими. Став рядом с ним, он раскрывал свой портфель, ища в нем какие-то бумаги. Артельщик пересчитывал деньги. В это время помощник Вацека, проходя мимо, незаметно ронял на пол около артельщика пачку денег. Потом вежливо трогал его за плечо и любезно говорил:

— Простите, вы, кажется, уронили деньги?

Артельщик оглядывался и, нагнувшись, подымал пачку, благодаря за любезность. Этого момента Вацеку было достаточно, чтобы перебросить в свой уже открытый портфель несколько крупных пачек денег. После этого он в тот же день исчезал из города. Комбинация была чистая и смелая. На этот раз он тоже не попался, но во время обыска агенты сигуранцы нашли у него 200 тысяч лей.

Теперь их интересовало, откуда у него зти деньги.

— Я могу хоть сегодня уйти отсюда, — со смехом говорил Вацек. — Они не могут доказать ничего. Потому что я «достал» их даже не в Румынии! Мой адвокат докажет им, что в течение этого месяца в Румынии не было ни одного ограбления банка! Они просят пятьдесят тысяч, чтобы отпустить меня. А я копейки не дам этой сволочи.

И он заразительно хохотал.

— Подержат ещё пару дней и выпустят. Ничего со мной они сделать не могут!

По ночам я пел ему блатные песни — «Клавиши», «Централ» и другие. Он слушал меня часами и вздыхал. Я люблю блатные

песни и вообще — песни простые, «душевные под гармошку»…

На этой почве мы сдружились.

— Если я тебе смогу быть полезным, — сказал Вацек, — когда выйду отсюда, ты скажи, что тебе надо, — я помогу с удовольствием.

Я поблагодарил его. Мне ничего не было нужно.

Через две недели однажды утром меня вызвали наверх.

— Вы свободны, — сказал мне толстый начальник. — Можете ехать или оставаться в Бухаресте. Всюду, кроме Бессарабии.

Я кивнул головой.

— Вот ваши вещи!

Передо мной лежали галстук, портсигар, гребешок, мелочи… но денег не было.

— А деньги? — спросил я.

Лицо начальника выразило максимум изумления.

— Деньги? Какие деньги?

— Пятьдесят тысяч лей! — ответил я.

Начальник строго глянул на меня.

— Итак, вы утверждаете, — откашлявшись, медленно проговорил он, — что у вас было пятьдесят тысяч лей? Так я вас понял?

Я опять кивнул.

— Стало быть, эти деньги у вас пропали?

— Да.

— А-а… — задумчиво протянул он. — В таком случае мне придётся задержать вас ещё на некоторое время, пока мы произведём расследование.

Я понял.

— Извиняюсь, господин начальник, я совсем забыл. Я оставил их дома на комоде.

— Так будет лучше, — сказал он.

— До свидания.

Я улыбнулся и вышел.

Выйдя из сигуранцы, я стал соображать, что же делать дальше. Деньги у меня отобрали. Петь было негде. В Бессарабию нельзя, а в Бухаресте очень мало русских. На целый концерт не хватит, да и позволят ли мне этот концерт? Пошарив в кармане, я наскрёб двадцать лей. На эти деньги я сбрил отросшую бороду и усы и смог снять номер в маленьком отеле, где остановился вместе с Кирьяковым. Отмывшись и отоспавшись, стали думать, что делать.

Через несколько дней Кирьяков нашёл мне место. Он «продал» меня в шантан одному греку. Шантан был третьесортный и довольно грязный. В главном зале, правда,

публика сидела на стульях и смотрела программу, а рядом был ресторан с ложами. Программа состояла из бесконечного числа румынских девиц, танцевавших все один и тот же танец — вроде «казачка», но в разных костюмах и под разную музыку. Был ещё куплетист с лицом мозольного оператора, дрессированные собаки и я. Оттанцевав свой номер, девицы входили в ресторан и садились гостям на колени. Там было открыто всю ночь. Я пел какую-то ерунду с весёлыми припевами, старые цыганские романсы вроде «Нет, не хочу», «Ямщик, гони-ка к Яру» и т. д.Пел под оркестр. Румынам нравилось. Они подпевали и раскачивались в такт песне. Я «имел успех». Хозяин был доволен и положил мне пятьсот лей в месяц. Суммы этой было достаточно, чтобы не голодать и оплатить отель. А дальше? Что делать дальше? Надо было пробраться в Польшу. Мы с Кирьяковым не сомневались, что моё имя там сделает сборы. Но как доехать? Где взять денег? Одни визы и билеты туда, даже третьим классом, стоили около двадцати тысяч лей. Горизонтов у нас не было никаких. Оставалось ждать чуда.

В Бухаресте был русский консул, собственно говоря, бывший консул. Румыны позволили ему жить в здании посольства и даже приглашали его на некоторые полуофициальные приёмы. Фамилия его была Поклевский-Козелл. Вокруг него группировалась как раз та часть русской публики, которую я не любил. Эту группу составляли бывшие гвардейские офицеры, попавшие в Румынию, бессарабские помещики черносотенного толка, великосветские дамы из бывших фрейлин и жены генералов. Искать там какого-нибудь сочувствия или поддержки мне было не к лицу. Да к тому же я был не эмигрант, а греческий подданный Александр Вертидис, которому надлежало искать защиты у своего консула. Но, на мою беду, греческого консульства в Бухаресте не было. Да и не очень-то я стремился попадать на глаза «своим» консулам. Говорить по-гречески я не умею. Ещё отберут, того и гляди, паспорт. Я молчал, как таракан, забившись в грязную щель второклассного отеля. От скуки мы с Кирьяковым бродили по городу, рассматривая его и изучая.

Дни текли скучно. Уже третий месяц я пел в шантанах. Из маленького грязноватого театрика, в который меня «устроил» Кирьяков, я перешёл в лучший, самый фешенебельный в городе ночной кабак «Альказар», где выступали только заграничные артисты и где пить шампанское было почти обязательно. Я уже получал полторы тысячи в месяц, но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое я насмотрелся и многому научился в этом шантане.

Прежде всего этот кабак, а затем и последующие были для

меня хорошей школой. До этого я был неврастеник, избалованный актёр, «любимец публики», который у себя на родине мог капризничать сколько угодно, мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренёров, театры и города как угодно, мог заламывать любые гонорары и т. д. Всё это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества. Все наши актёрские капризы и фокусы на родине терпелись с ласковой улыбкой. Актёр считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось «странностями таланта», «широтой натуры» и т. д. Я-то ещё тогда был молод и относительно скромен, хотя тоже позволял себе немало, а что творили другие? Их антрепренёры были настоящими мучениками. А сколько терпели от их характеров окружающие их люди — музыканты, актёры помельче, публика!

От всего этого пришлось отвыкать на чужбине. А кабаки были страшны именно тем, что независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь или даже кричать — артист обязан исполнять свою роль, в которой он здесь выступает. Ибо гость — святыня. Гость всегда прав. Он платит деньги. Он может икать, рыгать и даже блевать, если хочет. Пред ним склоняется все!

Но возьмём лучшее. Представим себе, что публика ведёт себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. Ибо в театр приходят, «чтобы слушать», а в кабак — «чтобы кушать», и пить, и танцевать, и любой посетитель может вам ответить, если вы будете на него в претензии за невнимание:

— Я пришёл сюда из-за бифштекса или солянки, а не из-за вас, мой милый. И я не виноват, что вы тут поёте и мешаете мне переваривать пищу. Я в кабаке, а не в театре. И не в церкви.

И он прав. По-своему, но прав.

И я пел. Сквозь самолюбие, сквозь обиды, сквозь отвращение, сквозь хамство публики и хозяев, сквозь стук ножей и вилок, хлопанье пробок, звон тарелок, крики, шум, визг, хохот, ругань и даже драки. Я пел точно и твёрдо, не ища настроений, не дрожа и не расстраиваясь. Как человек на посту. Я не искал успеха и не думал о нем. Я пел для мастерства, для практики. Обтачивая и утончая детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчётливо.

Я имел успех или не имел успеха. Это зависело не от меня, а просто от подбора публики и её настроений.

В кафе «Капша» на Кала-Виктория, лучшем кафе города, собрались сливки эмиграции. Там «хагашо когмят», сказал мне ещё раз бессмертный князь Мурузи, попавший из Константинополя в Бухарест отчасти по закону инерции, а отчасти из-за своей неутолимой любви к еде. Русская аристократия любила покушать. Румынско-французское меню «Капша» уже было переполнено русскими блюдами, которым научили дирекцию русские посетители. Бессмертными фамилиями Строгановых, Гурьевых и других гастрономических русских светил пестрели все карточки ресторана. Так бескровно, но неуклонно свершался величайший «геологический сдвиг» в желудках старой Европы — одно из крупнейших достижений того гордого и непримиримого класса эмиграции, который, как говорит пословица, «сдаётся, но не умирает».

Сидя в уютном кабинете ресторана, преисполненные любви к покинутой родине, тоскующие по ней и взыскующие её, эмигранты начинали свои «гастрономические скитания» терпеливо, ласково и любовно. И тщательно. Для начала к столу подавали замороженные бутылки «тройки» — русской заграничной водки. Усевшись в эти тройки, наши путешественники уже мчались по необъятной Руси! Первой воображаемой остановкой была Астрахань. Какую икру подавали там… А дальше вдруг, капризно меняя маршрут, поворачивали в Москву. Какая селянка или уха ждали их, какие расстегаи! Потом посещали Украину или Кавказ, ели котлеты в Киеве, рябчика в Сибири, шашлык в Грузии, запивали все это милым сердцу кисловодским нарзаном, которого было много в городе, или настоящим напареули и цинандали, которое тоже импортировалось из Советской страны. На сладкое ели петербургскую сладкую кашицу (Гурьев!). После кофе подавали крымский виноград и персики, а иногда бывала возможность раздавить бутылочку «абрашки», как интимно звалось в этом кругу знаменитое шампанское, наше абрау-дюрсо.

Да… Эту эмиграцию нельзя было обвинить в недостатке патриотизма!

И не один французский, английский, итальянский или румынский желудок глухо содрогался по ночам после бурной атаки наших русских исконных блюд, рецепты коих любовно создавались и завещались потомству старыми дворянскими родами.

А наши окрошки? А ботвиньи со льдом? А борщ со свининой? А поросята с кашей?

— Ты понимаешь… — с дрожью в голосе говорил мне «кирасир её величества» Жорж Сухомлинов, — вот, клянусь тебе,

веришь или нет… без колебанья, шутя отдал бы свою жизнь за нашу знаменитую гатчинскую форель.

Большое утешение и силу черпали люди этого круга в патриотизме своего желудка. И если бы не еда, жизнь на чужбине была бы для них тяжким и непосильным крестом…

Однажды вечером, только что закончив свой «номер», я сошёл в зрительный эал. Был один из тех пустых вечеров, когда публика, точно заранее сговорившись где-то, блестяще отсутствовала. Меня всегда удивляло это. Где, на какой площади собираются эти люди, чтобы сговориться? «Господа, сегодня мы не пойдём в такое-то место!» И не идут. Ни один не заглянет. Или наоборот. Вдруг, точно после какого-то митинга, как из рога изобилия начинает сыпаться публика. Как и где условились они прийти именно в этот вечер? Загадка природы…

Итак, было пусто. Несколько шансонеток лениво бродили между пустых столиков. Танцор Фарабони — худенький итальянский сутенёр — ссорился с дежурной «женой» из-за плохо выглаженных шёлковых сорочек. Музыканты делили вчерашнюю выручку, громко поминая худыми словами какого-то гостя, который много вещей заказывал оркестру, а дал мало.

В вестибюле скрипнула дверь. На пороге показался метрдотель, быстрым движением подвижного лица сразу давший понять всем, что идёт гость. Музыканты бросились к инструментам. Девицы начали пудриться, красить губы. Лакеи оправляли скатерти.

Вошедший был высокий, очень элегантный мужчина в прекрасно сшитом темно-синем костюме, с хорошим платком и галстуком.

Пройдя по вестибюлю, он не спеша выбрал столик и сел недалеко от меня. Вынув золотой портсигар, он закурил, что-то объясняя лакею. Мне бросились в глаза его руки. Бледные и узкие, с блестящими ногтями. И почему-то знакомые мне.

«Где я видел эти руки?» — мелькнуло у меня. Его лицо было в тени, и мне оставалось только рассматривать его хорошо выстриженный затылок и блестящие чёрные волосы, приглаженные ровной волной до затылка, как у аргентинских «жиголо». Он заказал мадеру и… неожиданно обернулся.

— Вацек! — радостно вскрикнул я.

Это был он, мой приятель по неволе, международный вор — великолепный Вацек, удачливый, умный и весёлый!

— Хелло! — Он уже шёл мне навстречу, протянув руки. — Что ты здесь делаешь в этой трущобе? Поешь? Зачем? И кому? Этой сволочи? — закидал он меня вопросами. — Но они же тебя не понимают!..

Он смеялся и говорил, перебивая меня, как всегда напористый, насмешливый и уверенный в себе. Лакеи извивались перед ним, как ужи перед укротителем. Это был «настоящий» гость. Через полчаса музыканты окружили его столик, наигрывая ему одесские блатные мелодии. Знаменитый Григораш — первый скрипач Румынии — играл ему прямо «под кожу», в карман, в бумажник, туда, где лежали толстой новенькой пачкой банковские, прессованные, не распечатанные ещё тысячи в кокетливой зеленой ленточке-бандероли. И он швырял им деньги.

Вацек был после удачного «дела». Это я сразу понял. Через десять минут внизу у оркестра был накрыт стол человек на сорок. Вина, водки, закуски — от края до края. За стол сели все артисты, музыканты и девицы, которые были в кабаре.

— Накорми и напои их! — коротко приказал он метрдотелю.

Мы остались ужинать вдвоём за его столиком. Подали шампанское.

— Как же ты отвязался от них? — спрашивал я, вспоминая сигуранцу.

— Через два дня после твоего ухода. Они выпустили меня за десять косых. И то я дал им из жалости. Мог ничего не давать.

Он смеялся.

— А ты? Что же ты намерен дальше делать? — спросил он.

Я объяснил ему ситуацию.

— Денег нет. Билеты стоят дорого. Вот пою пока здесь, а что будет дальше, не знаю.

Он дружески похлопал меня по плечу.

— Ничего, уладим! Сколько тебе нужно, чтобы уехать в Польшу? Я не хочу, чтобы ты служил в этом воровском притоне. Такой артист, как ты, не должен петь этим паразитам. Уезжай немедленно.

Он вынул пачку ассигнаций.

— Здесь тридцать тысяч. Хватит?..

Этих денег хватало с избытком.

Я поблагодарил его горячо и искренне. Воистину это был благородный жест.

— Вацек, — сказал я, — мы ещё встретимся в этом мире. Дай Бог, чтобы тебе везло так всю твою жизнь. Но если когда-нибудь в какой-нибудь стране ты попадёшься и тебе будет плохо, разыщи меня, если я там буду, дай мне знать об этом. Я отдам все свои деньги, заложу все свои костюмы, одолжу у всех своих приятелей, достану, украду, но выручу тебя, чего бы мне это ни стоило!

Он улыбнулся и махнул рукой.

— Ерунда! Мелочи! Что такое для меня деньги? Я не люблю их в кармане. Они мешают работать. С ними только гуляешь,

вместо того чтобы заниматься делом серьёзно, — пошутил он.

В пять утра я расстался с Вацеком, а на другой день мы с Кирьяковым уже сидели в поезде, который уносил нас в Польшу.

Я думал, что больше никогда не увижу румынскую землю, и все же ещё одно более позднее румынское происшествие стоит здесь рассказать.

Это было в 1930 году. Мы сидели в большом кафе в Черновицах (тогда ещё принадлежавших Румынии). Этим городом заканчивалось моё гастрольное турне по Европе. В Румынии я оказался проездом, в последний раз, и утром должен был улететь в Париж.

Мой старый приятель Петя Барац, с которым я проводил свой последний вечер, хорошо знал и любил мир кулис. Актёра из него не вышло, но театральным администратором он стал, чтобы хоть таким образом удовлетворить свою любовь к театру. Смытый волной революции, он работал теперь бухгалтером в какой-то маленькой конторе.

В кафе зажгли электричество. Музыканты шумно настраивали инструменты и спорили, с чего начать.

— Вдарим по «Травиате»! — предлагал один.

— Лучше рванём «Сильву»! — возражал другой.

За отдельным маленьким столиком невдалеке от меня сидела уже немолодая красивая женщина, устало опустившая руки на колени. В её позе было что-то обречённое. Она напряжённо смотрела на входную дверь и вздрагивала от её скрипов.

— Смотри — Владеско! — неожиданно прервав наше молчание, сказал Петя.

Я обернулся. В кафе входил толстый сияющий румын в светло-сером летнем костюме, с гвоздикой в петлице. На мизинце его правой руки сверкал большой жёлтый бриллиант, какие обыкновенно носят карточные шулера.

Он слащаво-любезно раскланивался с публикой, закатывая глаза и скаля свои цыганские зубы с золотыми пломбами. К своему уже заметному животу он нежно прижимал футляр со скрипкой. Он продвигался к эстраде.

— Какой это Владеско? — спросил я. — Тот, что играл в Вене?

— Да.

Я вспомнил его. Это был один из пяти ресторанных знаменитостей — королей цыганского жанра. У его скрипки был необычайно густой и страстный звук, нежный и жалобный, точно плачущий. Это был какой-то широкий переливчатый стон, исходящий слезами. Что-то одновременно напоминавшее и зурну, и «Плач на реках вавилонских».

Для начала оркестр сыграл марш. Владеско не участвовал в этом. Как солист, он стоял впереди оркестра, самодовольный и презрительный и, манерничая, небрежно вертел в руках скрипку, точно разглядывая её и не доверяя ей.

Наконец после всех этих ужимочек, подходцев и примерок он снисходительно дотронулся смычком до струн.

Страстная, словно изнемогающая от муки, полилась мелодия «дойны». Звуки были смуглые, горячие, до краёв наполненные печалью. Казалось, из-под смычка лилась струя тяжёлого, красного, как кровь, старого и густого вина.

Его скрипка то пела, то выла, как тяжко раненный зверь, то голосила пронзительно и звонко, тоскливо умирая на высоких нотах. И ещё порою казалось, что какой-то пленённый раб, сидя в неволе, мучительно и сладко поёт, словно истязая самого себя воспоминаниями, песню своей несчастной родины.

— Изумительно! — не выдержал я.

— М-да, играть он, конечно, умеет, — задумчиво протянул Петя. — Эти «дойны» остались у них со времён турецкого владычества. Подлинный стон народа.

Владеско принимали горячо и дружно. С разных концов зала публика выкрикивала названия своих любимых пьес, прося сыграть их. Официант уже нёс музыканту на серебряном подносе посланную кем-то бутылку шампанского.

— А вот как человек он настоящая скотина! — неожиданно сказал Петя.

— Расскажи мне о нем, — попросил я.

Петя неохотно заговорил.

— Видишь вон ту женщину, у эстрады? — спросил он, указывая на столик, где сидела замеченная мной красивая дама. — Это его жена.

— Ну?

— Когда-то она была знаменитой актрисой… Сильвия Тоска. Ты слышал это имя? Весь мир знал её. Это была звезда. И какая звезда! Ему до неё было как до неба!

— А теперь?

— Теперь она бросила сцену. Из-за него, конечно. Он ревновал…

— И что же дальше?

— Дальше? Он бьёт её! Да ещё при всех! По лицу! Когда пьян или не в духе.

— И никто не заступится?

— Нет. Кому охота вмешиваться в отношения мужа с женой?

— Ну знаешь, ты как хочешь, а я набью ему морду, если он это попробует сделать при мне, — возмутился я.

— И ничему это не поможет. Ведь она же его любит. Понимаешь, любит! Она для него всю жизнь свою поломала.

Отказалась от сцены, имени, богатого мужа, успеха. Он забрал её бриллианты, деньги, славу, покой душевный. И вот видишь, таскается за ним по всем кабакам мира. Сидит по ночам… ждёт его!

Я молчал, взволнованный этим рассказом. Постепенно зал затих.

Владеско играл одну из моих любимейших вещей — «Концерт Сарасате». Это было какое-то колдовство. Временами из-под его пальцев вылетали не присущие скрипке, почти человеческие интонации. Живые и умоляющие, они проникали в самое сердце слушателей. Как лунная голубая дорога, его мелодия властно влекла за собой в какой-то иной мир, мир высоких, невыразимо прекрасных чувств, светлых и чистых, как слезы во сне.

Я не мог отвести глаз от него. Он играл, весь собранный, вытянутый, как струна, до предела напряжённый и словно оторвавшийся от земли. Пот градом катился с его лба. Огневые блики гнева, печали, боли и нежности сменялись на суровом лице. Обожжённое творческим огнём, оно было вдохновенно и прекрасно.

Он кончил. Буря аплодисментов была ответом. Опустив скрипку, с налитыми кровью глазами, ничего не видя, полуслепой, Владеско уходил с эстрады, даже не кланяясь. Равнодушно и нехотя он возвращался на землю.

Я оглянулся. Сильвия ждала его стоя. В её огромных зрачках испуганной птицы отразился весь тот заколдованный мир, о котором пела скрипка. Серебряными ручейками по щекам катились слезы.

Владеско подошёл к своему столу. Она протянула к нему руки, ничего не видя и не слыша. Сноп красных роз, присланный ей кем-то из поклонников, лежал на столе. Он сбросил его на пол и упал в кресло.

Большим шёлковым платком Сильвия отирала пот с его лица. Постепенно оно принимало обычное выражение…

— Да… — мечтательно сказал Петя, улыбаясь куда-то в пространство. — Но когда он играет концерт Сарасате…

В голове у меня бешено крутились строчки.

Так родилась песня…

Прошло года три. За это время я успел побывать во многих странах. Пел в Александрии, Бейруте, в Палестине. Был в Африке, где снимался в кинофильме.

В этот сезон я начал своё концертное турне с Германии. Первые гастроли были назначены в Берлине. В прекрасном и

большом «Блютнер-зале», отделанном палисандровым деревом и звучащем, как резонатор виолончели, петь было приятно и интересно.

В моей программе было много новых вещей. Был в ней и «Концерт Сарасате», как я назвал песню, рождённую в Черновицах. Песня имела успех. Её уже знали.

В день концерта у меня в отеле появился Петя Барац. Он был в Берлине проездом, направляясь в Дрезден. Мы разговорились.

— Знаешь, кто тут играет в Эден-Отеле? — неожиданно вспомнив, спросил он.

— Кто?

— Владеско. Помнишь, тот? Я слушал его вчера и сказал ему, между прочим, что ты написал о нем песню.

— Напрасно, — сухо заметил я. — Он не стоит песни.

— Он был страшно заинтригован, — продолжал Петя, словно не слыша моих слов, — и сказал, что сегодня обязательно будет на твоём концерте.

На этом разговор кончился. Мы распрощались до вечера.

Огромный «Блютнер-зал» был переполнен. В этот вечер я был в приподнятом настроении. Перед началом концерта заглянул в дырочку занавеса. Владеско сидел в первом ряду. Рядом с ним в простом и строгом платье сидела Сильвия Тоска.

Владеско раскланивался. Его жирное круглое лицо сияло, как начищенный медный таз на солнце. Он пришёл слушать «свою» песню.

«Подожди же! — злорадно и весело подумал я. — Ты у меня ещё потанцуешь!»

Ждать ему пришлось долго. «Концерт Сарасате» стоял последним в программе. Владеско слушал внимательно и слегка удивлённо. Как артист, редко свободный от кабацкой работы, он, по-видимому, не бывал на концертах других артистов и, кроме самого себя, вероятно, редко кого-нибудь слушал. Всем своим видом и горячими аплодисментами он старался дать мне понять своё удовлетворение от моего искусства.

Но я был сух. Ни улыбкой, ни поклоном не выражал ему никаких своих симпатий или благодарности. «Подожди, подожди!»

Весь концерт я пел, стоя точно посреди эстрады, но, когда дошёл до последней песни, я назвал её, демонстративно резко перешёл на правый конец эстрады и остановился прямо против его места в первом ряду. Аккомпаниатор сыграл вступление, я начал:

Ваш любовник скрипач. Он седой и горбатый,

Он вас дико ревнует, не любит и бьёт.
Но когда он играет «Концерт
Сарасате»,
Ваше сердце, как птица, летит и поёт…

Я пел, глядя в упор то в его глаза, то в глаза Сильвии. Владеско слушал в смертельном испуге. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит. Он весь как-то съёжился, почти вдавившись в глубь кресла.

Он вас скомкал, сломал, обокрал, обезличил…

Слова били, как пощёчины. Он прятал лицо, отворачивался от них, пытался закрыться программкой, но они настигали его — жёсткие, точные и неумолимые, предназначенные только ему, усиленные моим гневом, темпераментом и силой интонаций…

И когда вы, страдая от ласк хамоватых,
Тихо плачете где-то в углу, не дыша, —
Он играет для вас свой «Концерт
Сарасате»,
От которого кровью зальётся душа!

— А-а-а-а! — сквозь песню донеслось до меня. — А-а-а-а! — Он стонал от ярости и боли, уже не владея собой, закрыв лицо руками.

Я допевал песню:

Безобразной, ненужной, больной и брюхатой.
Ненавидя его, презирая себя,
Вы прощаете все за «Концерт
Сарасате»,
Исступлённо, безумно и больно любя!

Мои руки, повторявшие движения пальцев скрипача, упали. В каком-то внезапном озарении я бросил наземь воображаемую скрипку и в бешенстве наступил на неё ногой.

Зал грохнул, точно почувствовав, что сейчас уже не концерт, а суд, публичная казнь, возмездие, от которого некуда деться, как на лобном месте.

Толпа неистовствовала. Стучали ногами, кричали, свистели и

ломились стеной к эстраде.

У него даже не было сил подняться.

За кулисами уборная моя была полна людей. Друзья, знакомые и незнакомые, актёры и актрисы, музыканты и журналисты и просто люди из публики заполняли её.

Я едва успел опуститься в кресло, как в дверях показалась фигура Владеско. Он шёл на меня вслепую, ничего не видя вокруг, разъярённым медведем, наступая на ноги окружающим и расталкивая публику. Все замерли. «Сейчас будет что-то ужасное!» — мелькнуло у меня. Я встал.

Одну минуту мы стояли друг против друга, как два зверя, приготовившихся к смертельной схватке. Он смотрел мне в лицо широко открытыми глазами, белыми от ярости, и тяжко дышал. Это длилось всего несколько секунд. Потом… Что-то дрогнуло в нем. Гримаса боли сверху донизу прорезала его лицо.

— Вы убили меня! Убили… — бормотал он, задыхаясь. Руки его тряслись, губы дрожали. Его бешено колотила нервная дрожь. — Я знал… Я понял… Я… Но я не буду! Слышите? Не буду! — внезапно и отчаянно крикнул он.

Слезы ручьём текли из его глаз. Дико озираясь вокруг, он точно искал, чем бы поклясться.

— Плюньте мне в глаза! А? Слышите? Плюньте! Сейчас же! Мне будет легче!

И вдруг, точно сломившись, он упал в кресло и зарыдал.

Польша

К этой стране у меня всегда была какая-то нежность. Может быть, потому, что в моих жилах, несомненно, течёт некоторая доза польской крови. Людей с моей фамилией я в России не встречал. Зато в Польше она попадалась мне более или менее часто. Правда, там она произносится иначе. Поляки говорят: «Пан Вертыньский» или «Пан Верцинский». Но это уже вопрос произношения. Какой-нибудь прадед у меня, наверное, был поляком. Кроме того, Россия и Польша издавна связаны острым взаимным интересом. Адам Мицкевич, Шопен, Венявский, Генрих Сенкевич, Пшибышевский оказали большое влияние на русскую литературу и музыку. Польские артисты Дыгас, Орда, Кавецкая, Невяровская, Щавинский были у нас в большом фаворе. В русских гвардейских полках служило много поляков, многие польские блюда крепко вошли в обиход нашей российской кухни, а польские женщины считались у нас самыми интересными женщинами, и поэт Константин Бальмонт писал о них:

> Нежнее, чем польская панна — И значит — нежнее всего…

Вот со всей этой подготовкой я приехал в Польшу. Сразу тепло принятый и публикой, и прессой, я пришёл в себя, вздохнул полной грудью в родственной нам славянской стране.

Конечно, писать о своих успехах неудобно, и звучит это всегда как-то по-актерски провинциально, но все же я должен сказать, что принимали меня поляки, что называется, по-царски.

Я приезжал в Польшу несколько лет подряд. Я объехал с концертами почти всю страну. Варшаву, Лодзь, Краков, Познань, Львов, Белосток, Пинск и десятки больших и маленьких городов я объезжал по два-три раза и везде встречал восторженное отношение к своему искусству.

Помню, как один из моих новых польских знакомых с горечью говорил мне:

— Вот видите, пан Вертинский, на концерты наших польских артистов они (то есть публика) так не ходят. А почему?..

Чтобы утешить его, я говорил ему, что когда польские артисты приезжали в Питер или Москву, то билеты также невозможно было достать, и конная полиция разгоняла народ. После того как я написал свою «Пани Ирену», меня окончательно признали.

Влияние России, как старшей славянской сестры, всегда было в Польше огромным. Какие бы счёты у поляков ни были с царской властью, все равно в глубине души почти все они любили Россию.

Я помню, как одна польская дама сказала мне:

— Вот видите — у меня на пальце кольцо. Это медальон с портретом Костюшко. Я ношу его всю жизнь. И я польская патриотка, понимаете? И всё-таки, когда я слышу русскую речь, русскую поэзию, русскую музыку, русское пение, я готова плакать от восторга.

Лучшие польские актёры — Стемповский, Антон Фертнер, Цвиклинская, Вальтер, Майдрович, Смосарская, Щавинский — приходили ко мне за кулисы с дружеским, товарищеским приветом. Молодые польские литераторы — Лехонь, Слонимский, Тувим и другие — приняли меня в своё общество и часто в Старой Земянской кавярне, где собирались они ежедневно, у них наворачивались слезы на глаза, когда я читал им Ахматову, Блока, Анненского.

Единственная оппозиция, которую я встретил в Польше, шла от русских эмигрантов.

В савинковской газете «За свободу» Дмитрий Философов, даже не посетив ни одного моего концерта, «покрыл» меня худым словом. Но русская и польская молодёжь, работавшая в этой же газете, горячо заступилась за меня. Началась полемика. Молодёжь напирала. Через месяц Философов, вынужденный сдаться, недоуменно спрашивал:

— В чем же дело, господа? Когда большевики посадили в тюрьму патриарха Тихона, все молчали. А когда я осмелился тронуть Вертинского — так подняли такой шум, как будто я оскорбил их в самых лучших чувствах!..

Так оно и было.

Потому что я был с «ними». С теми, кому больно, кому тяжело, кто любит родину и тоскует по ней. Я был с массой. С толпой. Один из умнейших и культурнейших критиков моих, известный писатель-философ Всеволод Иванов, писал обо мне в Шанхае: «Толпа всегда умна, а Вертинский всегда с толпой — поэтому вместе с ней умен и Вертинский».

Да, моё искусство было отражением моей эпохи. Я был микрофоном её. Я каким-то чутьём отгадывал самое главное, то, что у всех на уме, — её затаённые мысли, её желания, верованья. Часто задолго вперёд. И когда меня ругали за упаднические настроения, то вина была не во мне, а в эпохе. С этих настроений и началось моё творчество. Меня корили ими очень долго разные мелкие и крупные журналисты ещё тогда, в предреволюционной Москве, и ругали меня до тех пор, пока не пришёл однажды

«большой человек» Влас Дорошевич и не написал чёрным по белому в большой газете того времени — «Русском слове»: «Те упрёки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский — только зеркало своей эпохи. И нечего пенять на зеркало, коли рожа крива».

Итак, моя «оппозиция» в Польше проиграла.

А поляки вообще недоумевали. За что меня ругает русская газета, если я такой единственный в своём роде русский артист и к тому же их соотечественник? Приходилось долго объяснять, что такое зсэры савинковского лагеря, их отношение к СССР вообще и ко мне, подчёркивающему свои чувства к Союзу, в частности.

Но эта капля яду не отравила моего прекрасного душевного состояния. Польша и её русское население, истосковавшись по русскому языку и русской музыке, готовы были плакать от любой песни, от любого русского слова, и думаю, что если бы я даже пел в десять раз хуже, чем пел тогда, то все равно имел бы огромный успех. За несколько лет у меня образовался довольно большой круг друзей и почитателей. Радзивиллы, Потоцкие, Чарторийские, Замойские, Белосельские, Плятеры — а вся польская аристократия, когда-то служившая при дворе, обожавшая тогдашний Петербург, не могла ещё вытравить из своего сердца воспоминаний о нем и о России. Единая славянская кровь была крепкой спайкой между двумя братскими народами — Польши и России, и как ни ворчали старые польские паны, припоминая давние обиды, как ни хмурились их лбы при первом знакомстве со мной, — стоило мне где-нибудь за столом, за стаканом вина, запеть самую обыкновенную русскую народную песню — и разглаживались морщины, расправлялись усы, зажигались улыбки, зажигались глаза, и часто подпевали мне старые польские паны, мечтательно запрокинув седые головы и вспоминая прошлое.

За эти приезды в Польшу через мою уборную прошли тысячи людей всяких профессий и всех слоёв общества. Бывали у меня адвокаты и народные учителя, профессора и рабочие, офицеры и ксендзы, приходили меня послушать чиновники, купцы, помещики.

Евреи, которыми были густо населены Крессы, были моей главной аудиторией. Они раскупали билеты ещё задолго до концерта. Все эти люди не довольствовались только моим пребыванием на эстраде, а шли за кулисы — посмотреть, пожать руку русскому артисту, вспомнить о России, как будто через это рукопожатие они соприкасались с ней. И у всех, у каждого было что вспомнить хорошего и светлого о моей родине.

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление.

Уже в самом начале своего артистического зарубежного пути я заметил, что в сложившейся ситуации артист, тем более артист с именем, представляющий собой такую большую и такую интересную для всех страну, как Россия, должен быть не только узким профессионалом, а чем-то большим. Невозможно передать все разнообразие вопросов, на которые приходилось отвечать мне разным людям во время моих скитаний по миру.

О чем только меня не спрашивали! Каких только вопросов мне не задавали! И на все я должен был отвечать. Терпеливо выслушивать абсурднейшие мнения, глупейшие убеждения. Грязная ложь об СССР, которой кормили заграницу эмигрантские газеты, конечно, делала своё дело, и приходилось часто чуть ли не надрывать свой голос, чтобы доказать какому-нибудь иностранцу, что в СССР, к примеру, не едят детей.

Не знаю, поверят ли мне читатели, но в Филадельфии на банкете мне пришлось объяснять одному уважаемому и сильно подвыпившему сенатору, укусившему артистку Комиссаржевскую за грудь, что у нас в СССР кусаться не принято. Он был искренне поражён и огорчён. «Я слышал, что это ваш русский обычай», — извиняясь, говорил он.

Иностранцы не понимали многого. Англичане, например, не могли себе представить, как можно жаловаться на свою родину. Для них это было невероятным шокингом.

— Мы не жалуемся на родину. Мы жалуемся на большевиков, — доказывали эмигранты.

— А что такое большевики? — спрашивали англичане.

— Большевики — это правительство, насильно взявшее власть в свои руки, — отвечали эмигранты, с соответствующими подробностями описывая ужасы большевистского правления.

— У нас в Англии тоже есть оппозиция правительству, — задумчиво говорили англичане, — однако мы никому не жалуемся. Ни на свою родину, ни на своё правительство.

Как-то, потеряв терпение, я в одной из своих песен сказал.

И ещё понять беззлобно,
Что свою, пусть злую, мать
Все же как-то неудобно
Вечно в обществе ругать.

Какую бурю возмущения вызвала эта песня! Какой грязью обливали меня газеты!

В польских театрах шли русские пьесы, в журналах, еженедельниках и газетах сплошь и рядом печатались переводы русских авторов, в книжных магазинах было сколько угодно

русских поэтов и писателей на польском языке, а когда в варшавской филармонии был объявлен конкурс Шопена, первый приз, да и второй, кажется, взяли русские пианисты, приехавшие из Советской России.

Помню, скрипач и композитор Млынарский говорил мне в фойе во время концерта:

— Мне делается страшно, когда я думаю, какие возможности таятся в русских. Ведь вот я столько раз слышал Шопена, но такого Шопена я ещё никогда не слыхал…

А победители — скромные худые юноши — застенчиво кланялись и словно спешили скорей отвязаться от оваций, которыми их награждала публика, и, считая, что так и надо, что ничего тут особенного нет, торопились стушеваться.

В то время Варшава кипела. Магазины были завалены французскими, английскими и немецкими товарами. Великолепные «кавярни» и «цукерни», где подавались пончики и пирожные, были с утра до вечера переполнены нарядными щебечущими польками. В ресторанах подавали все изыски польской кухни, так похожей на русскую, и чего там только не было, вплоть до диких кабанов и медвежьих окороков из Беловежской пущи.

В Варшаве было много военных. Их разнообразная блестящая форма — шпоры, палаши, эполеты — напоминала времена старого Петербурга, Петербурга блестящих гвардейских полков, балов и кутежей, и вообще Польша того времени ещё жила по-старинному: мужчины стрелялись на дуэлях из-за женщин, в театрах балеринам и премьершам ещё подавали на сцену корзины цветов в рост человека или коробки конфет величиной с ломберный стол, богатые помещики жили за границей три четверти года и проигрывали в Монте-Карло целые состояния. Все это было странно мне, уже отвыкшему от этой ушедшей жизни, на которую и в России, правда, я глазел только издали.

Газеты издавали на самый парижский лад, и было их множество. Депутаты в сейме горячились, кричали и стрелялись порой из-за разницы во взглядах. Польские женщины, томные и нежные, влюбчивые и коварные, кружили головы и молодым, и старым, и нередко можно было слышать, а то и читать в газетах о том, как какой-нибудь родовитый польский магнат женился в шестьдесят лет на восемнадцатилетней балерине или хористке из ревю.

Эмиграция наша в Варшаве была не особенно заметна. Вероятно, потому, что все стремились в Париж и в Польше не задерживались, а может быть, ещё и потому, что получить право на проживание в этой стране было необычайно трудно. Во всяком

случае, никаких видных фигур не было. Я помню председателя комитета Семёнова — добрейшего и безвредного старика, который любил покушать и поиграть в бридж, и ещё две-три малозначительные фигуры, фамилий которых я не запомнил.

Газета «За свободу», которую, как я уже говорил, издавал Дмитрий Философов, влачила жалкое существование и, если бы не субсидия правительства, давно бы скончалась. В кафе у «Люрса» внизу, в бильярдной, писатель Арцыбашев ежедневно играл с желающими по нескольку партий и давал большие форы, так как играл он превосходно, но партнёра себе найти не мог. По этой причине играл с маркёрами. Был он уже стар и почти глух. Приходилось кричать ему в самое ухо.

Встретив меня по приезде, он сказал:

— Читал, что ты теперь замечательно поешь. Приду, приду тебя посмотреть.

Слова «послушать» он так и не сказал. Ибо слышать меня он уже не мог.

На главной площади города разбирали русский православный собор. Собор этот, большой и громоздкий, был воздвигнут при Николае II и занимал самый центр Варшавы. Полякам он мешал, ибо был как бельмо на глазу. Потом на месте собора поставили памятник Понятовскому.

Как-то после концерта мне пришлось познакомиться с одним видным в Польше человеком. Это был Андрей Вержбицкий — депутат сейма и председатель союза промышленников Польши. Этот человек очень много помог мне. Все те трудности, которые чинили власти иностранным артистам в смысле визы на въезд и права работы, были мне значительно облегчены благодаря его вмешательству. Он был искренним любителем русского искусства и отличался широким гостеприимством, как настоящие поляки. На Россию он смотрел, как на старшую сестру Польши, и считал, что у русских надо учиться многому. Он первый поднял вопрос об отправке торгово-промышленной делегации в СССР и сам стал во главе её. Вернувшись из поездки, он горячо ратовал за сближение двух этих стран. Каждый свой последующий приезд в Польшу я встречался с ним, вёл переписку, и наша дружба крепла все более. Однажды у него в доме за ужином я познакомился с нашим послом в Польше П. Л. Войковым. Было очень немного приглашённых, и после ужина Вержбицкий попросил меня спеть. Я с удовольствием согласился. Тут же вызвали пианиста и устроили небольшой концерт. Мне было приятно петь своему, русскому человеку — оттуда, с родины, как будто я пел дома — для своих, русских, на своей земле.

Когда я кончил петь, Войков подошёл ко мне.

— Почему, Вертинский, вы не возвращаетесь на родину? — спросил он.

Кое-как, довольно жалко, пустыми, беспомощными словами, страшно волнуясь, я начал что-то сбивчиво и путано объяснять ему. Объяснять, собственно говоря, было нечего. И без слов все было ясно.

И Войков понял меня.

— Приходите в консульство — поговорим обо всем и сделаем все, что можно, — сказал он.

У меня сразу стало легко на душе. Это был 1922 год. Я впервые, заполнив соответствующие анкеты, обратился с просьбой разрешить мне вернуться на родину. К моему прошению была приложена ещё и личная резолюция посла, составленная вполне благожелательно для меня. Советское правительство в просьбе моей отказало.

Пишу я это для того, чтобы объяснить, как давно осознал я свою ошибку и как давно уже стремился её исправить…

Путешествуя из города в город, я встречался с самыми разнообразными кругами польского общества. От самых левых до самых правых, монархических. Нейтральная маска актёра позволяла мне входить в любые двери. Меня не спрашивали о моих убеждениях и не таились от меня. Благодаря этому я многого наслушался и ко всему привык.

Монархисты все же меня удивляли и забавляли отчасти. Все растерявшие, ничего не сохранившие, кроме чванства, снобизма и пустых традиций, никогда не боровшиеся за своё положение, не умевшие его защищать, они были похожи на людей, которые появились в обществе в полных парадных мундирах, со всеми регалиями, но… без штанов.

Так, по крайней мере, мне казалось.

Сначала польское правительство очень гостеприимно принимало заграничных актёров. Приезжал Баттистини, хор Сикстинской капеллы, Морис Шевалье, приезжала даже негритянская оперетта, приезжали скрипачи, пианисты, певцы — одно имя чередовалось с другим, и поляки наполняли театры всех этих гастролёров. Я лично приезжал в Польшу раза три-четыре за несколько лет, более или менее легко получал визу и «право работы» на два-три месяца. Но постепенно доставать разрешение становилось все труднее. Официальным мотивом отказа было то, что иностранные артисты «вывозят деньги» за границу. Но настоящие причины были иные. Главная — это Союз артистов польских, который был против: он не хотел конкуренции ни моральной, ни материальной.

— У нас много своих безработных актёров, — говорили

заправилы союза, — которым есть нечего, а мы пускаем иностранцев!

Меня всегда удивляло это, как будто оттого, что польская публика будет лишена возможности послушать Гофмана или Кубелика, она бросится на помощь безработным артистам и отдаст им деньги, которые собиралась истратить на знаменитостей! Это, конечно, был слабый довод. Но и другая причина играла немалую роль.

— Мы полонизируем наше русское население, а вы его русифицируете, — сказал мне откровенно один большой польский сановник.

Со своей точки зрения он был прав, конечно. Я только напомнил ему о том, что, когда польские актёры приезжали к нам в Россию, мы не боялись, что они «полонизируют» наше население.

Он только рассмеялся.

— Вы сравниваете Россию с Польшей! России вообще нечего и некого бояться!

И с чисто польской любезностью рассыпался в комплиментах мне и моему искусству. Однако визы не дал.

В конце моего пребывания в Польше меня вызвали в министерство иностранных дел, где приходилось брать разрешения. Министр, с которым я был знаком ещё по Москве, мой поклонник, в очень деликатной форме дал мне понять, что «по не зависящим от него обстоятельствам» он вынужден просить меня на две недели уехать из Польши.

— Вы можете прожить эти две недели где-нибудь поблизости, в Данциге, например, а потом приезжайте и пойте, сколько вашей душе угодно.

Я был поражён этой странной просьбой и попросил объяснить мне причину.

— Я не могу дать вам никаких объяснений, — уклончиво сказал он.

И никто в городе не мог мне этого объяснить.

Ничего больше не оставалось, как собрать чемоданы и уехать в Данциг, что я и сделал.

Потом все разъяснилось. В Варшаве ждали визита румынского короля. До его приезда из Бухареста прибыл целый штат тайной полиции, чтобы подготовить охрану. Приехавшие сыщики затребовали у полиции списки всех иностранцев, пребывающих в данное время в Польше. Прочтя моё имя, они, очевидно, указали на меня как на «неблагонадёжный элемент». И, вероятно, попросили меня на время убрать. Таким образом, рука сигуранцы ещё раз дотянулась до меня.

В последний раз я уже не мог добиться визы с правом выступлений и поэтому, подписав в Германии контракт с польским граммофонным обществом «Сирена» на напев моих песен для пластинок, я взял визу в Вену — через Польшу. Моя транзитная польская виза была действительна только на три дня. За эти дни я успел напеть свои песни, повидаться с друзьями, посмотреть Варшаву и ровно через семьдесят два часа уехал в Вену. Но там я пробыл недолго…

Германия

Я приехал в Германию из Польши в 1923 году. Задавленная Версальским договором, загнанная в щель, разбитая, она имела весьма скромный и, я бы сказал, даже томный вид. Немцы, что называется, ходили на цыпочках, стараясь не шуметь, как в доме, где только что умер кто-то. Они были грустны и любезны. И растерянны.

Со свойственной им медлительностью мышления они все ещё не могли целиком осознать своего поражения. Все это было для них слишком неожиданным. Разгром армий, бегство кайзера. А главное, с них сняли форму!

Тот, кто не жил в Германии, не знает, что такое для немца военная форма. Это воздух, которым он дышит. Это смысл его существования. И Гитлер, придя к власти, раньше всех захваченных территорий вернул немцам форму! Этим одним, простым, но точно рассчитанным жестом он завоевал сразу все сердца.

В те же времена, о которых я говорю, немцы ходили в штатском. Форма была уничтожена. Бравые прусские юнкера, генералы, полковники и майоры, переодетые в штатское, выглядели как простые лавочники. От всего блестящего прежнего вида у них остался один надменный монокль в левом глазу. Воистину это было тяжкое испытание! А тут ещё кайзер. Тот кайзер, которому они молились, как Богу, в духе подчинения и обожания которого они были воспитаны с детства! Демократические правительства вроде штреземановского, созданные в силу необходимости, конечно, никого не устраивали, немцы проливали горькие слезы над портретами Вильгельма, запрятанными подальше от посторонних взглядов. Каждый год в день его рождения миллионы открыток с поздравлениями отсылались в Голландию, в Дорн, и оттуда неизменно присылались обратно открытки с благодарностью за поздравления, напечатанные с одинаковым для всех текстом за его подписью.

Немцы были на распутье. Привыкшие повиноваться, тянуться и подчиняться, они, предоставленные самим себе, потерявшие «палку» над собой, в которую они слепо верили, растерялись до такой степени, что вызывали жалость у некоторых сердобольных людей. Они выглядели как стадо овец, выпущенных из тёмного хлева прямо на солнце.

Этот период оцепенения длился довольно долго. Немцы зализывали раны. За время войны они отвыкли от многого и ещё

долго продолжали жить по указанному когда-то ранжиру. Они обеднели, обнищали и привыкли к полуголодному существованию. Поэтому обыкновенная, скромная жизнь иностранцев казалась им безумной роскошью и расточительностью. Волна наших русских эмигрантов, нахлынувшая в Берлин, была первым вестником пробуждения для них.

«Ферфлюхтер ауслендер!» — проклятый иностранец! — слышалось на каждом шагу в трамваях, автобусах и магазинах, злобные взгляды обшаривали вас с головы до ног: немцы считали иностранцев виновниками своего падения и бессильно шипели от злобы и ненависти к ним. Я помню, как моя квартирная хозяйка написала на меня донос в «Полицай-Президиум» за то, что я ежедневно покупал к ужину четверть фунта ветчины…

Но постепенно, одичавшие за время войны, они стали приходить в себя и брать пример с тех же иностранцев, особенно с нас, русских. Огромные немецкие фрау, все эти легендарные Кунигунды и Брунгильды, точно сошедшие со стопудовых чугунных памятников, с достоинством носили зеленые юбки, перешитые из старых охотничьих штанов своих повелителей. Их церемонные, долговязые и белобрысые дочери стыдливо кутались в хилые горжеточки из «катценпельце» — кошачьего меха, который в то время считался большим люксом. Немецкие портные, привыкшие за время войны шить только кавалерийские и армейские шинели, одевали своих граждан в костюмы и пальто какого-то невообразимого маршировочного типа.

Мой первый берлинский портной Штехбарт на Таунцен-штрассе, у которого я заказал синее пальто из самого лучшего материала, сшил мне такую долгополую прусскую шинель, что я долго разглядывал себя в зеркало и никак не мог понять, почему ни одна шляпа не подходит этому пальто.

Сомнения мои разъяснились только тогда, когда однажды, во время сотой переделки, я взял с камина лежавшую на нем стальную немецкую каску и надел на голову. Тут все стало ясно. В зеркале на меня глядел великолепный прусский жандарм! Этот же портной с гордостью показывал мне тёплый жилет на собачьем меху, заказанный любящей женой берлинского бургомистра в качестве рождественского подарка своему высокопоставленному мужу.

Наши неунывающие русские змигрантские дамы сразу стали учить немок, как одеваться. Понавезя из России черно-бурых лисиц, соболей, шеншилей, норок, белок и других мехов, они частью пооткрывали салоны мод, учтя ситуацию, частью просто задавали тон, проживая остатки вывезенных средств. Немки

потянулись за ними, а за женщинами потянулись и мужчины.

Открылись пути сообщения с Францией, Англией. Появились туристы… Немцы из грозных львов перестригались в мирных домашних пуделей. Шаг за шагом внешний казарменно-военный облик жителей вильгельмовской Германии исчезал, уступая место обычному штатскому облику людей средней Европы.

Я жил тогда в Берлине. Только что закончив длительное турне по Польше, я готовил своё следующее турне по Германии. Русских везде было много: и в Дрездене, и в Данциге, и в Мюнхене, и в Кенигсберге. Пел я, конечно, только в расчёте на русскую публику и недостатка в ней не имел. На чужбине, соскучившись по всему родному, она была ко мне исключительно внимательна и радушна.

Приблизительно в этом же 23-м или 24-м году началась инфляция. Это была жуткая картина послевоенной экономической катастрофы. Немецкая марка катилась вниз с молниеносной быстротой. Настоящий «блиц-крах» Германии! Удержать её не могли никакие силы, ни земные, ни небесные.

Немцы окончательно растерялись. Началась паника. Массовые самоубийства охватили Германию. Ловкие спекулянты скупали дома целыми кварталами, и немцы, как слепые, продавали их за ничего не стоящие миллионы, которые через несколько дней оказывались простыми бумажками. Огромные универсальные магазины, такие, как «Ка-Де-Ве», например, оказывались очищенными от товаров в одно утро. А к вечеру марка падала вниз на сто пунктов, и то, что было продано магазином за сто марок, нельзя было уже купить за тысячу.

Пока немецкое сознание переваривало все это, тысячи людей, главным образом иностранцев, конечно, заработали безумные деньги. Один только мой знакомый, одесский коммерсант Илья Гепнер, имевший в кармане всего-навсего одну тысячу американских долларов, умудрился купить шесть домов и огромный «Луна-Парк» в Берлине.

Когда немцы наконец поняли, в чем дело, было уже поздно. Три четверти из них были разорены.

Так начались первые годы их послевоенного существования.

Берлин был весь покрыт сетью маленьких киосков, напоминавших лимонадные будочки. Из крошечных окошечек видны были только руки. Иногда это были большие, волосатые, иногда сухие, жилистые, часто смуглые. Над будочками красовалась надпись: «Вексельштубе». Это были менялки. Лавочки, где торговали деньгами. Потные, запыхавшиеся люди подлетали к окошечку, хрипло бросали несколько слов, из маленьких и больших чемоданчиков выбрасывали на прилавок

целые кучи денег, перевязанных в пачки, и получали в обмен зеленые американские доллары. Или наоборот, разменяв одну десятидолларовую бумажку, получали из окошечка целый чемодан марок. Знаменитый петербургский спекулянт, «банкир» Дмитрий Рубинштейн говорил мне с отеческой нежностью в голосе:

— Хотите посмотреть моего ребёнка?

Особого желания у меня не было. Но, чтобы не огорчать отца, я согласился. Мы стояли около сквера.

— Ваш ребёнок здесь? — спросил я, указывая на толпу игравших детей.

Рубинштейн снисходительно улыбнулся.

— О, нет. Он у меня уже большой. Ему уже семнадцать пет. Это будущий гений. Да. Чтобы вы знали! Сегодня день его рождения. Я подарил ему это… — Он указал рукой на деревянный киоск с надписью «Вексельштубе». — Пусть ребёнок приучается. У него такие способности! Скоро отца за пояс заткнёт!..

Мы подошли к менялке. Оттуда выглядывало жирное молочно-розовое лицо, напоминавшее свежераспаренный человеческий зад. Пухлые руки с обкусанными ногтями лежали на прилавке. Плотоядный чувственный рот снисходительно улыбался.

— Уходи, уходи, папаша. Ты мне мешаешь работать! — строго прикрикнул на отца «ребёнок». Мы отошли на цыпочках в благоговейном молчании.

Еда в Германии необыкновенно тяжёлая. Немецкие меню не блещут разнообразием. Главным блюдом в них является свинина. В любых сочетаниях, под разными соусами, будь то сосиски, колбасы, окорока, котлеты или просто зажаренная нога — но всегда свинина. Есть ещё гусь, но это уже считается роскошью и подаётся только на Рождество. Рыбы немцы не любят, зато картофель их национальная еда. Его подают ко всякому блюду и в неограниченном количестве.

Приезжая в Германию, после французской разнообразной и интересной кухни я положительно ничего не мог есть, кроме сосисок, которые, конечно, немцы делают непревзойдённо. Запивается все это неизмеримым количеством пива, которое тоже превосходного качества.

У немцев есть Рейн, который даёт первые в мире по качеству, знаменитые рейнские белые вина, с которыми не могут соперничать даже лучшие вина Франции.

Но немцы не любят вина. Они пьют пиво. А вино идёт на экспорт. Огромные пивные дворцы в четыре-пять этажей,

выстроенные во всех концах города, вмещают тысячи посетителей, но не могут вместить всего количества посещающих их. В каждом этаже играет отдельный оркестр. Вся эта публика пьёт только пиво. Интересны и мужские уборные при них. Это целые дворцы из кафеля и мрамора с высокими потолками. Все — для удобства пивных клиентов. Директор такой уборной, полный достоинства толстый немец в наглухо застёгнутом чёрном сюртуке и крахмальном воротнике с чёрным галстуком, встречает вас у двери, величественный, как губернатор на дворянском балу. Во рту его неизбежная сигара, на устах играет снисходительная улыбка.

Едят немцы много и жирно. Напиваются тяжело и мрачно. Одно блюдо из их меню, помню, приводило меня прямо в ужас. Это так называемый «айсбайн» — огромная воловья нога, отваренная в супе, которая подаётся целиком, как она есть. Я, помню, задрожал, впервые увидев, как её едят. Сперва с ней справляются ножом и вилкой, срезая с неё мясо и жир. Потом эту огромную мосалыгу берут в обе руки и начинают обгрызать. Настоящий обед каннибалов!..

Была, правда, ещё одна причина, по которой нас с Мозжухиным тошнило от этого блюда. В то время в Германии только что закончился процесс знаменитого Гартмана — преступника, который совершил целый ряд убийств, оставаясь неуловимым. Его жертв не могли даже сыскать. Они исчезали бесследно. Вся полиция Германии была поставлена на ноги.

Если не ошибаюсь, он был известен под кличкой «Дюссельдорфский убийца». В конце концов его, конечно, нашли. Очень нескоро, правда. За ним был счёт в несколько десятков человек. Оказалось, что он заманивал жертву, убивал её, потом варил, солил и ел. В его доме, в подвале, нашли бочонки с человеческим мясом, засоленным хозяйственно впрок на всю зиму.

Русская эмиграция не особенно задерживалась в Германии, во-первых, потому что рядом был Париж, к которому издавна влекло русские сердца, а во-вторых, потому, что германская валюта была после инфляции стабилизована довольно высоко. За один американский доллар давали только 4 1/2 рентенмарки. Жизнь была дорога. Поэтому все стремились во Францию, где жизнь была и дешевле, и легче. Немцы неохотно принимали к себе на работу русских. Они были шовинистически настроены и по отношению к нам не проявляли никакого гостеприимства или симпатии.

Эмигранты, имевшие деньги, пооткрывали кафе, салоны мод и мехов, рестораны. И потихоньку отучали немцев, засидевшихся

на военной диете, от маргарина, от эрзацев, от дурного вкуса.

Кое-кто из молодёжи поступил в германские университеты. Единственным печатным органом эмиграции была кадетская газетка «Руль», редактируемая и издаваемая бывшим членом Государственной думы Набоковым, в которой, конечно, утешали эмиграцию, ругали большевиков, предсказывая их скорый конец. В газетке печатал свои ядовитые материалы Сергей Яблоновский, брызжущий слюной по всякому поводу и без него, и помещал стихи сын Набокова — небезызвестный ныне беллетрист Сирин. Кроме русских объявлений о борщах, пирожках и пельменях, ничего примечательного в ней не было. Газетка эта вскоре скончалась за отсутствием читателей и писателей.

Иногда Берлин баловали своими гастролями Шаляпин, Карсавина или Асаф Месерер, проездом из СССР дававший несколько незабываемых вечеров своих балетных выступлений.

В берлинских кафе играли румынские скрипачи нашей питерской выучки — все эти знаменитые в своё время Ильеско, Гулеско, Ницца Кодолбан, Жорж Буланже и другие. Этим все и ограничивалось. Колония наша была не очень многочисленна.

Когда из тумана воспоминаний встаёт какая-нибудь страна, то она в перспективе лет приобретает всегда какие-то формы и очертания. Так, Франция представляется чем-то лёгким, ажурным, каким-то кружевом, сотканным причудливым узором из славных имён, которые творили французскую литературу, искусство, науку, — имён людей, поднявших высоко над миром факел идей, в свете которых свыше столетия жило все прогрессивное человечество.

Когда я думаю о Германии, я вижу огромную серую необтёсанную глыбу угловатых форм. На этой глыбе — меч, остриём устремлённый на восток, а под ним роковые слова: «Немецкий меч добудет землю для немецкого плуга». А под этой глыбой лежат распластанные имена немецких мыслителей.

И все же было бы несправедливостью сказать, что все население этой страны разделяло эти захватнические планы относительно России. Некоторая часть населения с большим интересом и даже с симпатией следила за стройкой в СССР. Немецкий народ в массе не только не хотел войны с нами, памятуя заветы Бисмарка и прежние уроки, но некоторые, более культурные немцы даже хотели учиться на русском опыте. Они охотно вступали в беседы с нами. Вопросы сыпались как из рога изобилия.

Причина этому была ясна. Немецкие и австрийские инженеры и технические работники, возвращавшиеся из Советской России по окончании своих контрактов, рассказывая о том, какие

колоссальные стройки происходят там, невольно сеяли большие симпатии к нашей родине.

— Русские, — говорили они, — хоть, может быть, и большие фантазёры и мечтатели, но не в меньшей мере и энтузиасты. И оптимисты, влюблённые в свою страну, в свои пятилетки. СССР стремится догнать и перегнать Америку!

И они беспомощно разводили руками: что, мол, с этим поделаешь!

Коммунистическая партия была довольно значительно представлена в Германии. Я сам помню разрешённую правительством демонстрацию коммунистов, которая шла по Унтер-ден-Линден в течение двух часов шеренгами по четыре человека в ряд.

Но постепенно немцы приходили в себя. На дверях магазинов уже появились объявления, что товар продаётся по курсу американского доллара в немецкой валюте. Но и здесь немцы не успевали, потому что курс менялся каждые полчаса, и пока вы, нарочно задерживая расплату, топтались у кассы, вычисленные магазином марки падали, и товар обходился вам почти даром. Вы посылали разменять 10 долларов, и менялка платила вам за них такую сумму марок, которая делала вашу покупку в десять раз дешевле того, что высчитывал магазин.

Немецкие хозяйки рыдали в жилеты своих квартирантов, умоляя о прибавках. Их слезы трогали сердобольные сердца наших русских эмигрантов. Каюсь. Мне их было тоже жаль.

Постепенно инфляция замирала. Немцы придумали рейхсмарку. Чем была гарантирована новая валюта, я, откровенно говоря, не знаю. Во всяком случае, легче жить не стало. Немцам в особенности. Квартирные хозяйки ещё долгое время жили впроголодь, питаясь своими знаменитыми «штулле» — сухими бутербродами из хлеба, помазанного маргарином. Женщина в немецкой семье вообще играла очень небольшую и строго ограниченную роль. Женщина Германии должна знать три «К»:

— Киндер!

— Кюхе!

— Кирхе!

То есь детей, кухню и церковь. Диапазон, как видите, небольшой.

По воскресеньям по дороге к Тиргартену можно было наблюдать много немецких семейств, направляющихся на прогулку в Ванзее или куда-нибудь в другое место. Картина всегда была одна и та же. Шёл муж — глава семьи с огромной и вонючей сигарой во рту, заложив руки в карманы. Впереди него бежали ребятишки, а сзади плелась навьюченная, как верблюд,

жена. На её плечах был тяжёлый рюкзак с провизией, а в руках она несла ещё что-нибудь вроде летней палатки. Все это было в порядке вещей.

Дома, в свободное от работы время, немки вязали. Вязали до отупения. Я уже не говорю о различных «набрюшниках», «напульсниках», «митенках», перчатках, носках, шарфах и прочем. Они вязали неисчислимое количество всяких салфеточек, подставочек, колпачков на чайники, кофейники, подстаканники. Вся мебель в любой немецкой квартире была завалена этими вязаными тряпочками. Куда бы вы ни сели, куда бы вы ни положили руку, везде вы натыкались на квадратики, кружочки, полосочки, вывязанные тщательно, с затейливыми узорами и разводами.

В этом было невероятное мещанство. Вас точно предупреждали: «Осторожнее! Не просидите! Не капните! Не насорите!..» Даже на зубочистки они вязали гарусные чехольчики. Все это разводило в комнате страшную пыль, как и всякое тряпьё, наваленное без меры. Они вязали подставочки буквально подо всё: под бутылки, под рюмки, под подсвечники, под ночные горшки, под пепельницы и под… Можно было сойти с ума от количества этих вязаных кружочков.

Любая из этих вязальщиц-хозяек была хуже сыщика. Они шпионили за своими жильцами, как тюремные надзиратели за арестантами. Если у вас в комнате был, например, диван и вы имели привычку сидеть в его правом углу, то вы находили записку хозяйки, где она просила вас переменить угол и сидеть в левом, чтобы просиживать диван равномерно.

Помню, в Данциге у одной хозяйки, у которой я снимал комнату, было такое множество всех этих мелких рукоделий, что в доме не имелось буквально ни одного необвязанного предмета. А самое центральное место занимал огромный красный петух для согревания кофейника, связанный из гаруса. Больше обвязывать было категорически нечего.

Однажды, вернувшись домой, я несказанно удивился, заметив, что моя хозяйка вяжет новый колпак на кофейник, но только ещё больших размеров.

— Фрау Штрумфе, — вежливо спросил я, — зачем же вы вяжете новый колпак, ведь старый ещё очень хорошо выглядит?..

Хозяйка удивлённо взглянула на меня через очки.

— Это не колпак, — строго сказала она. — Это бюстгальтер…

Я чуть не упал в обморок.

У одного малоизвестного французского писателя времён послереволюционных, который писал никому не нужные трагедии, была корзина, в которую он складывал всё, что

записывал за день. Так как он вращался в самых разнообразных кругах французского общества, то его записи оказались необыкновенно интересными. Во всяком случае, много интереснее его трагедий. Имя его Шанфор.

Так вот, среди этих записей есть такая:

«Мсье Х. по возвращении из Германии сказал: «Я не знаю, на что я был бы менее способен, чем быть немцем…»

Стать немцем нельзя, им нужно родиться. Есть, например, люди, которые очень легко ассимилируются в любой стране. Разве вам не приходилось встречать, скажем, русского, который долго жил во Франции, и, наблюдая его в непосредственной близости, иногда думать о нем: «Он стал совершённым французом». Или — какого-нибудь обрусевшего англичанина, который совершенно ничем не выдавал своего английского происхождения, и вы невольно думали о нем: «А он совсем уже стал русским…»

Так вот немцем никогда нельзя стать! Эта нация имеет такие, свойственные только ей одной, черты характера, которые не могут быть благоприобретёны. С ними рождаются. Прежде всего у них в крови дух безропотного подчинения начальству, букве закона. Каков бы этот закон ни был.

Я помню, один европейский дипломат рассказывал мне, что во время немецкой революции, которая вспыхнула после проигранной войны, он жил в Берлине, в отеле «Адлон». Отель этот выходил окнами в Тиргартен — большой парк-лес в центре города, вроде парижского Булонского леса. Он наблюдал из окон своих апартаментов, как войска, выстроенные в каре посреди аллеи, дали первый залп по толпе бунтовщиков… Немцы дрогнули и побежали. Перед ними расстилались большие пространства газонов, за которыми был лес, где легко можно укрыться от огня. Но немцы побежали в другую сторону по… дорожкам, потому что на газонах стояли надписи: «Verboten!» — Запрещено!

Помню, как-то я снимался в Берлине для одного фильма. У меня был годовой контракт с фирмой. Ежедневно в течение года, аккуратно в 8 часов утра, я приезжал на съёмку в ателье. Ежедневно я показывал свой пропуск в контрольной будке одному и тому же сторожу, который, естественно, знал меня как облупленного. Однажды я забыл свой пропуск в кармане другого пиджака и приехал без него. Сторож не пустил меня, потому что в конторе висело объявление: «Без пропусков вход запрещён».

Опять «Verboten!». А меня ждали в ателье режиссёр, актёры и пятитысячная толпа статистов, которые получали по пять марок в час. Напрасно я пытался объяснить сторожу, что задержка

принесёт убыток в несколько тысяч марок. Он был непреклонен. Прошёл целый час, пока послали за режиссёром, отыскали кого нужно в этом фильмовом городке и, оформив все, принесли новый пропуск. Фирма заплатила за эту задержку 25 тысяч марок.

Такова сила преклонения немцев перед параграфом устава.

Берлин — тяжёлый город. Как и все немецкие города, впрочем. В его архитектуре есть какая-то страшная мёртвая одинаковость. Дома — как фибровые чемоданы. Вывески магазинов написаны одними и теми же шрифтами, витрины похожи одна на другую, как пара ботинок.

Возьмите любую улицу в Берлине, на которой вы живёте, допустим, пять-шесть лет. И вот однажды пьяным вас привозят в такси и оставляют совсем на другой улице и в другом конце города… Вам обязательно покажется, что это ваша улица.

Если не считать Курфюрстендам, в Берлине все улицы как одна. И памятники тоже. В немецком искусстве мало полёта. Все представления немца о красоте тесно связаны с удобствами и земными благами. Я убеждён, что если ему снится рай, то обязательно в виде деревьев, увешанных гроздьями сосисок, и фонтанов, бьющих пивом, спрятанных в прохладной тени дерев. Исконный германский милитаризм прежде всего отразился на памятниках. Целые аллеи в Тиргартене заставлены памятниками кайзеров и генералов в самых пышных военных позах.

В Берлине я не видал ни одного памятника штатскому человеку. Если они и есть, то их не видно. Они растворяются в общем количестве фельдфебельских монументов.

Берлин переполнен безвкусными вещами. По чьей-то инициативе был даже создан особый «Музей безвкусия». В этом музее собрана масса всякого рода скульптуры, живописи и вещей домашнего обихода, которыми немцы украшают свой быт. Я видел этот музей. Это — потрясающее зрелище мещанской роскоши, обывательского понятия о красоте и эстетике. Невозможно описать всех этих голых красавиц в виде статуэток, раскрашенных в лилово-жёлтые тона, всех этих адово-красных Мефистофелей и картинок из «красивой римской жизни». В каждой обывательской семье вы видели все, что было на выставке. Немецкий вкус тяжёл и ужасен. Он во всем: в манере одеваться, обставлять свои дома, в еде, в развлечениях, в юморе. Надо долго жить в Германии, чтобы привыкнуть к этой стране.

В конце 1932 года я вновь приехал в Берлин — напевать граммофонные пластинки. У меня был контракт с концерном «Карл Линдштрем» для «Одеона» и «Парлофона», который закончился в этом году, и мне предложили его возобновить.

Это был момент прихода Гитлера к власти. Весь город

увесили огромными полотнищами флагов со свастикой. По улицам непрерывным потоком маршировали процессии молодых людей в новенькой коричневой форме с повязками на руке. Вид у них был самый решительный и заправски военный. Они лихо козыряли друг другу и, подымая руку, салютовали: «Хайль Гитлер!». Обыватели испуганно смотрели на их револьверы и опасливо покачивали головой.

— Оружие-то зачем же давать такой молодёжи? — недоуменно говорили они полушёпотом.

Но рассуждать уже было поздно. Молодые люди ходили по улицам, наклеивая плакаты на еврейские магазины и устанавливая патрули около них с призывами не покупать ничего у «юде». Они заходили в рестораны и кафе, выбрасывая на улицу мирно сидящих людей.

Начиналась паника. Все, кто мог, бросились бежать из Берлина. Билеты на заграничные поезда были моментально раскуплены. Магазины спешно ликвидировались и закрывались.

Я приехал с намерением дать несколько обычных своих осенних концертов, но это уже не имело никакого смысла.

Приехав на граммофонную фабрику, я застал там нациста с револьвером в кабинете дирекции. Все двенадцать директоров этого огромного концерна уже бежали. Нацист, покачивая ногой в новом лаковом сапоге, презрительно щурясь, заявил мне, что никаких иностранных артистов им не надо, что у них есть достаточно своих, и подозрительно спросил, не еврей ли я случайно. Получив заверение в моем русском происхождении, он успокоился и немного сбавил тон.

— Вы можете подать в суд, если у вас есть контракт, — посоветовал он. — Мы заставим этих «юде» заплатить вам все, что следует!

Я поблагодарил его за совет и откланялся.

Делать, очевидно, было нечего.

Приблизительно дня через три после моего приезда ко мне в пансион-отель пришла несколько странная делегация. Состояла она из трёх-четырёх дам и такого же количества мужчин.

Меня ждали в холле. Фамилии, которые мне назвали при представлении, были явно балтийско-немецкого происхождения. Трое из них оказались баронами, остальные — графини и баронессы. К сожалению, фамилии я позабыл, моя память, на которую я не могу особенно жаловаться, на этот раз мне изменила.

Предложив им сесть, я осведомился о причине посещения .

Дамы начали с комплиментов моему искусству и популярности, сделав, так сказать, «артиллерийскую подготовку».

Затем началась атака. Слово было дано представителям сильного пола. Один из баронов, протерев очки и тщательно рассматривая свои холёные руки в родовых дворянских кольцах с гербами, осторожно подыскивая слова, стал излагать мне цель визита.

Дело, оказывается, было в том, что по примеру национал-социалистской партии они решили объединить здесь, в Германии, всех «национально мыслящих» русских людей, создать что-то вроде союза или «русского отдела» этой партии.

Правительство сочувственно отнеслось к этой идее и уже отвело им целый дом на какой-то «штрассе», обещая в дальнейшем субсидировать организацию.

— Дом шестиэтажный, с чудными квартирками! — не выдержав вставила одна из баронесс.

— Уже утверждён даже проект формы! — добавила другая.

— Мы будем иметь казачьи фуражки, но только общего коричневого цвета, и такие же, как у всех наци, рубашки. И повязку со знаком свастики на левой руке!

Я ничего не понимал.

— Но, простите, чем я могу быть вам полезен? — спросил я.

— Немного терпения! Сейчас вам все станет ясно.

Высокий худой барон закурил сигарету и, пододвинув к себе пепельницу, чуть-чуть улыбаясь, медленно и терпеливо стал объяснять мне:

— У нас, понимаете ли, есть некоторые препятствия… то есть… вернее… затруднения… в этом направлении. Нам нужно имя… То есть, я хочу сказать, нам нужен человек с именем, который был бы известен всей нашей русской публике и в то же время репутация которого была бы, так сказать, не запятнана. Ну… нейтральный, что ли, — пояснил он.

Я начал понимать.

— И что же, у вас в Берлине не нашлось ни одного человека с «незапятнанной» репутацией? — не выдержав, спросил я.

Барон неопределённо развёл руками.

— Очень трудно найти подходящее лицо, — уклончиво ответил он. — Различие взглядов… Политическое прошлое.. Возникают возражения!

— Ваше имя нас устраивает… Вы, так сказать, достаточно лояльны и из другого мира! — поддержал другой барон.

— Чего же вы от меня хотите конкретно? — спросил я.

Бароны переглянулись.

— Мы предлагаем вам возглавить наш союз, — твёрдо сказал один из них.

Тут наперебой заговорили дамы.

— У вас будет чудная квартирка. Мы отведём вам бельэтаж!

— Весь этот дом наш!

— Работы особенно никакой не будет!

— Просто подписывать несколько бумаг в день, и все!..

— Ну, и официальное представительство, так сказать! — добавил один из баронов.

Я уже все понял.

Они искали дурака — это было ясно.

Вот эту честь они и решили предложить мне.

Едва сдерживаясь, чтоб не рассмеяться, я поблагодарил их и встал.

Бароны тоже поднялись.

— Я советую вам подумать над этим. Это будет для вас и полезно, и приятно в одно и то же время! — сказал один из них.

Нотка угрозы едва уловимо прозвучала в этих словах.

— И это нисколько не помешает вашей артистической деятельности, — добавил другой.

— Разрешите мне дать вам ответ в пятницу! — попросил я.

Бароны молча поклонились. После их ухода я упал в кресло и стал хохотать, обдумывая, какой анекдот я сделаю из этого разговора и как я буду его рассказывать моим приятелям в Париже.

Потом взял телефонную книгу, позвонил в бюро и заказал себе билет на парижский экспресс.

В ту же ночь я покинул Берлин.

Франция

Собственно говоря, моя Франция — это один Париж, но зато один Париж — это вся Франция! Так могу сказать я, прожив в этой прекрасной стране почти десять лет. Я любил Францию искренне, как почти всякий, кто долго жил в ней. Париж покорял всех, покорил и меня. Его нельзя было не любить, так же как нельзя забыть его или предпочесть ему другой город. Объездив многие города Европы, побывав в Америке и других частях света, я до сих пор не знаю равного ему места на земле. Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом многомиллионном городе никому не было ровно никакого дела до вашей личной жизни. Когда вам везло — это было замечательно. Это был город, где человеческая личность и её свобода чтится и уважается.

В смысле средств к жизни, к существованию тоже было неплохо. Обессиленная продолжительной войной Франция нуждалась в мужском труде, ибо война унесла многих её сынов в могилу. Мужские руки ценились. Десятки тысяч русских эмигрантов работали на заводах Рено, Ситроена, Пежо и других. Много людей «сели на землю» и занимались сельским хозяйством — и собственным, если были средства, и чужим, если приходилось наниматься.

Всего во Франции русских было, вероятно, тысяч двести-триста. В Париже нас было тысяч восемьдесят. Но мы как-то не мозолили глаза. В этом колоссальном городе мы растворялись как капля в море. Через какой-нибудь год мы уже считали себя настоящими парижанами. Мы говорили по-французски, знали все, что творится вокруг нас, всюду работали с французами бок о бок и старались подражать им во многом. Правда, у нас был и свой быт: свои церкви, клубы, библиотеки, театры. Были свои рестораны, магазины, дела, делишки. Но это для общения, для взаимной поддержки, чтобы не потеряться в этой стране. В душе же каждый считал себя европейцем и парижанином. Снимали «гарсоньеры» и мансарды, устраивались по-мелко-и крупнобуржуазному, ссорились с консьержками, приглашали друг друга — не к себе в дом (как на родине), а обязательно в ресторан к Прюнье или в кабачки на Сене, ежедневно совершали прогулки в Булонском лесу (с собачками и без собак), пили до двенадцати дня различные аперитивы.

Весь Монмартр кишел русскими. Вся эта публика группировалась около ресторанов и ночных дансингов. Одни

служили гарсонами, другие метрдотелями, третьи на кухне мыли посуду и т. д., потом шли танцоры — «дансэр де ля мэзон», или «жиголо» по-французски, молодые люди, красивые, элегантно одетые, для танцев и развлечения старых американок, потом артисты, певцы, музыканты, балетные танцоры, исполнители лезгинки, молодые красавцы грузины в черкесках, затянутые в рюмочку, потом цыгане, цыганки, цветочницы, зазывалы, швейцары, шофёры. Все это была русская эмиграция, которая жила главным образом за счёт иностранцев.

Разменяв свои фунты и доллары, иностранцы получали за них кучи франков, и поэтому все им казалось дёшево. Отвыкшие у себя на родине от алкоголя, американцы напивались быстро, счета оплачивали не глядя, а иногда и по два раза один и тот же счёт, на чай давали щедро, и за ними охотились, как за настоящей дичью. Их передавали из рук в руки. Использовав гостя в своём ресторане, метрдотель посылал его со своим шофёром в другой, предварительно условившись по телефону, сколько он будет за это иметь процентов со счета. Их заманивали, переманивали при помощи женщин, перепродавали, просто грабили…

На пляс Пигаль, в «Каво коказьен», смуглый и стройный Руфат Халилов танцевал лезгинку с кинжалами во рту и, эффектно бросая, втыкал их в пол. Летели ассигнации. Каждую крупную бумажку он прикалывал кинжалом к полу. Легко плывя в танце, чуть раскачиваясь, то бешено вскрикивая, то замирая на месте, он, стоя на пуантах, вдруг прыгал, как тигр, и, подлетев к столу, где сидели женщины пошикарнее и побогаче, втыкал неожиданно свой кинжал в стол между бокалами и бутылками вина. Француженки и англичанки взвизгивали от ужаса перед этим «бэт соваж» и сразу влюблялись. Уходя, они совали ему в руку тысячу франков и назначали свидание. В каждом кабачке был свой танцор лезгинки. Но, конечно, не такой, как Халилов. Он действительно танцевал изумительно. Какая-то американка даже возила его в Америку, откуда он, впрочем, скоро вернулся, не сделав карьеры.

Вдоль стен по уголкам и диванам сидели так называемые «консоматорши» — женщины, с которыми можно потанцевать, если гость пришёл без дамы, и пригласить к столу. (Тут был другой подход к гостю: надо «делать счёт» побольше.) Большинство из них разыгрывали из себя «дам общества», «ограбленных революцией», аристократок, княгинь, графинь, баронесс, все потерявших в России, — женщин, которые были так богаты, что их уже ничем удивить нельзя. Они принимали деньги и чеки от добросердечных американцев небрежно и

полупрезрительно, безжалостно вытряхивая их карманы. Заставляли «делать счета» хозяину, давать музыкантам, лакеям, танцорам — до тех пор, пока у гостя не кончались деньги и в чековой книжке не оставался хоть один листок. Мифические кавказские князья, служившие танцорами, рассказывали старухам из Нью-Йорка о своих сказочных владениях на Кавказе и, увлекая их темпераментом и внешностью, как по нотам разыгрывали их. Жили они очень неплохо. Одевались у лучших портных, имели «гарсоньеры» и шикарные машины и брали крупно — большими чеками сразу. В свободное от работы время кутили очень широко с молодыми мидинетками и сорили деньгами. Потом женились на богатых американках, разводились, ссорились, дрались друг с другом…

Манташевские лошади брали «Гран-при» на скачках. Туалеты наших буржуазных дам описывались в газетах так же, как и их приёмы. Лучшие и самые дорогие кабаки были русские так же, как и всевозможные салоны мод и антикварные магазины. Наши артистические силы блистали на парижском горизонте, как звезды первой величины.

В театре «Шанз-Елизе» пел «сам» Шаляпин, в «Гранд Опера» танцевал изумительный Сергей Лифарь, в зале «Плейель» играл божественный Рахманинов. А балет «Монте-Карло» с Леонидом Мясиным, Рябушинской, Бароновой и Тумановой буквально заворожил Париж. «Летучая мышь» Балиева каждый сезон пленяла парижан своими блестящими постановками.

Наши дамы стриглись под скобку «а ля мужик», носили самые фантастические шляпки на макушке. Те, у кого были средства, покупали себе машины и лихо правили сами своими «ситроенами» и «бюгатти», заводя в Булонском лесу «автомобильный флирт» с преследованиями и знакомствами. Бегали по распродажам, накупали ворохи всякой дешёвой и элегантной дряни, делали карьеры, выходили замуж, добирались до самого Голливуда. Вот в это самое время апогея эмиграции, в 1925 году, после непродолжительного пребывания в Германии я и приехал в Париж.

После утомительной и долгой войны, потребовавшей сильного и длительного напряжения всех сил страны, люди устали. Войну забыли моментально, как дурной сон. Как будто никогда и не было сражений на Марне, у Вердена, Лувена, разрушенных городов, миллионов убитых.

Правда, любопытные американские туристы ездили иногда осматривать поля битв, где сотни тысяч рабочих выкапывали медь, свинец и железо из земли, вспаханной германскими снарядами. Да ещё раз в год, в день перемирия, по Елисейским

Полям проходила страшная и зловещая процессия уродов и калек, людей, отдавших Франции свои силы, здоровье и даже свой человеческий облик. Вереницы безногих, безруких, слепых, в детских колясочках или гуськом, держась друг за друга, волоклись по улицам поклониться праху Неизвестного солдата, спавшего вечным сном под Триумфальной аркой. Страшно кривились трагические маски их изуродованных лиц, точно вопия к небу. А впереди всех шла организация «Ля гель кассе» (в грубом переводе «Разбитые морды»). Никакая фантазия Гойи не могла бы создать более страшные маски. И огромные толпы народа, стоявшие по обеим сторонам широких парижских авеню, в ужасе отворачивались от этих призраков войны.

Раз в год в пользу этих несчастных устраивали бал в «Гранд Опера». Бал считался одним из самых шикарных. Парижские дамы появлялись в умопомрачительных туалетах. Это были настоящие дуэли женщин, состязания в роскоши, красоте, богатстве, элегантности, и не только между носительницами этих платьев, мехов и бриллиантов, доводящих ум до восторга, но и между их ювелирами, меховщиками, салонами мод — всеми этими Вортами, Пакенами, Пату, Молине, проявлявшими чудеса вкуса и выдумки в линиях и фасонах платьев, между Ван Клифами, Фаберже и другими, придумывавшими для них фасоны браслетов, серёг и клипсов, между куаферами, парфюмерами, сапожниками, целой армией художников, закройщиков, мастеров, работавших дни и ночи на многочисленных фабриках женской красоты. Миллионы, сотни миллионов стоили платья, драгоценности и автомобили, в которых дамы появлялись на балу, чтобы «помочь этим несчастным».

Сумма сбора со всей этой выставки богатства была меньше, чем любой камень на любой из её посетительниц. Но… приличия были соблюдены, и тени прошлого ужаса снова отодвигались в небытие, предавались забвению.

Париж веселился, кипел, бурлил, жил полной жизнью мировой столицы.

Из-за океана огромные белые пароходы привозили во Францию сотни тысяч щедрых американцев, до отказа набитых деньгами, которые они заработали на войне. За их доллар давали двадцать пять франков. Они платили весело, не торгуясь, тратили деньги широко и непринуждённо, покупали все, что привлекало их внимание. Доходили до того, что, заметив какой-нибудь замок в провинции, какое-нибудь старинное «шато» XVII или XVIII века, покупали его и целиком, до последнего камня и дерева, перевозили на пароходах к себе в Америку.

Элегантные лимузины один за другим летели, как пчелы,

сплошными роями по асфальту парижских улиц, гигантские вывески сверкали миллионами огней, огромные кафе, переполненные публикой, разлеглись на широких тротуарах…

В этом огромном городе находилось место всем. Кто открывал русские лавочки, кто библиотеки, кто магазины редкостей или русских вышивок. Князь Феликс Юсупов, высокий, худой и стройный, с иконописным лицом византийского письма, красивый и бледный, открыл свой салон мод. Салон назывался «Ирфе» — по начальным буквам «Ир» — Ирина (жена) и «фе» — Феликс. Салон имел успех. Богатые американки, падкие на титулы и сенсации, платили сумасшедшие деньги за его фасоны и модели — не столько потому, что они были так уж хороши, сколько за право познакомиться с ним, о котором они столько читали в сотнях книг, газет и журналов, — с человеком, убившим Распутина!

Его жена Ирина, бледная, очень молчаливая и замкнутая, с необыкновенно красивым и строгим лицом, принимала покупательниц. Она никогда не улыбалась. У неё были светло-серые печальные глаза и светлые волосы. Она редко показывалась где-нибудь. Сам же Юсупов очень любил общество и особенно людей искусства. В его доме я встречал и Куприна, и Бунина, и Алданова, и Тэффи, и весь балет, и всех художников, и многих артистов. Наше знакомство началось с моих концертов и моих песен, которые он очень приятно пел, аккомпанируя сам себе на рояле или гитаре. Когда в Париже появились мои пластинки, он покупал их целыми комплектами, даря их своим друзьям и знакомым. Вернувшись из Румынии, я показал ему «В степи молдаванской». Песня произвела на него большое впечатление.

Мы сидели в его кабачке «Мэзонетт-Рюсс», который он открыл для своих друзей, чтобы поддержать их материально, и пили вино.

— И вы видели Россию своими глазами, так близко? — спрашивал он.

И я рассказал ему о Днестре, о церковном звоне, о людях на том берегу.

— Мы потеряли родину, — разволновался он, — а она живёт без нас, как жила и до нас, шумят реки, зеленеют леса, цветут поля, и страшно, что для нас она уже непостижима, что мы для неё уже мертвецы — тени прошлого! Какие-то забытые имена, полустёртые буквы на могильных памятниках. А ведь мы ещё живы! Мы любим её, мы тоскуем по ней — и не смеем даже взглянуть ей в лицо!

— Вам страшно было смотреть на неё? — неожиданно спросил он.

Я объяснил ему все, что чувствовал тогда. Он задумался.

— Я часто вижу во сне Россию, — сказал он. — И вы знаете, милый, если бы можно было совсем тихо и незаметно, в простом крестьянском платье, пробраться туда и жить где-нибудь в деревне, никому не известным обыкновенным жителем… Какое бы это было счастье! Какая радость!..

Оркестр заиграл что-то очень громкое, и мы переменили разговор.

Когда в Париже появилась картина «Путёвка в жизнь», русские ходили в кино по нескольку раз и, возвращаясь, пели:

Там вдали за рекою
Сладко пел соловей.
А вот я на чужбине
И далёк от людей.

Пели тихо, усевшись в кружок, и на глазах у них часто можно было видеть слезы. Почти у каждого на родине оставались близкие, которые жили там, работали и выдвигались иногда на очень большие посты, и бедняги с гордостью рассказывали о своих братьях и сородичах…

Долгое время на парижском «светском» горизонте блестела звезда великого князя Дмитрия Павловича. Высокий, стройный, сохранивший фигуру спортсмена, он был очень красив. Его роман со знаменитой парижской портнихой Шанель был предметом разговоров во многих светских салонах. Он был очень популярен среди русской колонии, но ещё более был популярен в международном обществе.

Между прочим, очень характерно, что многие лица из самого высшего аристократического общества были искренними патриотами. Родину они ставили превыше всего. Дмитрий Павлович рассказал однажды случай, происшедший с ним в Англии. Это было на обеде у Юсупова.

— В период гражданской войны я не был ни белым, ни красным, — говорил он. — Когда не стало возможности сражаться против немцев в рядах русской армии, я перевёлся в армию английскую для отправки на германский фронт. Но мне не повезло. В один прекрасный день бригада, в которой я находился, получила приказ отправиться в Россию. Это началась интервенция. Для меня это был неожиданный и большой удар.

Я, русский, в иностранном мундире должен сражаться против кого? Против своего же народа! Этого моя совесть не могла принять. Ясно, что я предпочёл бы умереть, чем дойти до этого. Как офицер, я знал, конечно, что значит в военное время не

исполнить приказа, но я твёрдо решил поступить так, как подсказывали мне долг и честь. Я надел форму и поехал к своему начальнику бригады. Английский генерал выслушал мои доводы и понял мои чувства. Через некоторое время меня откомандировали в другую часть…

На этом же обеде зашёл разговор о революции. Я был поражён суждениями Дмитрия Павловича.

— Русская революция — не бунт черни, как пытаются презрительно и пошло окрестить её некоторые пустые и недалёкие люди. Русская революция имеет глубокие корни в нашем прошлом и своё оправдание в настоящем. Революция произошла, и она есть действительность! Из этой действительности и следует всегда исходить, когда думаешь о родине. Остальное химера и панихида! Нужно стремиться к тому, чтобы жизнь наша шла национальным путём, свойственным нашему духу, нашей культуре. А прежде и прежде всего надо крепить и создавать армию, чтобы не быть «спасёнными» нашим соседом-врагом. Немцы предлагают нам спасение? Очевидно, они имеют в виду «спасти» нас от Украины и Кавказа! Мы должны твёрдо знать, что никакие иностранцы, а тем более немцы, нас не спасут, а утопят!

Я помню, что его слова настолько тронули и поразили меня, что, придя домой, я записал их…

В этот вечер много говорили о родине. Среди гостей был и другой представитель родовых фамилий, князь Сергей Оболенский.

— Россия там! — говорил он. — Сто восемьдесят миллионов трудолюбивых людей порой в тяжёлых условиях, камень за камнем строят новую жизнь, познавая постепенно всю прелесть творческого труда, и через этот труд они больше любят своё — ими самими содеянное. Они любят свою страну, которая дала им жизнь. Поэтому там должна расти и крепнуть осознанная и жертвенная любовь к своей стране. Мы все русские! И здесь тоже. Зарубежную Русь выдумали политические скопцы и провинциалы! Но настоящая Россия — там.

Вспоминая теперь эти слова, припоминая этот парижско-русский «свет», невольно поражаешься, откуда у таких людей, действительно все потерявших из-за революции, бралась такая справедливая и мудрая оценка событий, такая поистине всепоглощающая любовь к родине, к своему народу.

В среде русской молодёжи, принадлежащей к аристократическим кругам, приблизительно в 30-м году возникло так называемое «младоросское» движение. Много личных и семейных драм пришлось пережить его участникам, всем этим

бывшим кадетам, лицеистам, пажам, правоведам, юнкерам гвардейских школ, когда они не только осознали свою приверженность родной стране при всех обстоятельствах, но и громко, на всю русскую Францию, заговорили об этом, на удивление и негодование своим родителям. Князья Оболенские, граф Красинский (сын Кшесинской и великого князя Андрея Владимировича), граф Карузо, Воронцовы-Вельяминовы — весь аристократический молодняк, все те сотни сильных и здоровых молодых людей, которые жили в Париже, группировались во главе с великим князем Дмитрием Павловичем вокруг младоросской газеты «Бодрость». По содержанию своему газета эта оправдывала своё наименование. Она звала молодых людей к труду, внушая им, что надо накапливать силы и знания, чтобы в тот момент, когда они понадобятся родине, быть готовыми послужить ей на пользу. Она учила их познанию своей страны и её Великой Истории.

В дымке белых мечтаний причитая о потерянном, поругивая большевиков, бывшие командиры бывших дивизий звали эмиграцию на панихиды и ждали своего «черта».

— Хоть с чёртом, но против большевиков! — говорили они.

Но «черт» не спешил. «Зубры» старели, сердились, умирали, недовольно ворча на медлительность вышеупомянутого служителя ада.

Какого «черта» ждали они? Иностранной интервенции? Немцев?

«Изменники» — бодро пестрели заголовки младоросской газеты. Глубокой ненавистью были полны строки её статей. Настоящим искренним патриотизмом и гневом дышали статьи её сотрудников, направленные против гитлеровской книги «Моя борьба».

С большой убедительностью и довольно зло отчитывали они гитлеровского подголоска, воспитанника русского университета Альфреда Розенберга за его нападки на славянство вообще и русский народ особенно. Получался бум, «скандал в благородном семействе». «Яйца» стали учить «курицу». Молодняк и те, кто был ещё молод душой, круто повернули в сторону родной страны.

— Пётр прорубил окно в Европу не для немцев! — говорили они.

— Комсомольцы! — презрительно шипели старики.

А великий князь Дмитрий Павлович на страницах «Бодрости» от имени русского национализма приветствовал франкосоветский союз.

Совершенно в стороне от этих политических страстей проживал в Париже другой представитель романовского дома,

великий князь Борис Владимирович.

В Бельвю, за городом, у него была небольшая вилла, в которой жила его семья: жена и тёща с мужем. Борис Владимирович был женат на сестре одного из моих петербургских приятелей, Владимира Рашевского. Особого интереса великий князь собой не представлял. Будучи по натуре человеком ограниченным и серым, он был военным в самом специфическом смысле этого слова. Дмитрий Павлович называл его «пехотным штабс-капитаном», и это определение очень подходило к нему. Он жил в мире воспоминаний о своей питерской офицерской жизни, любил говорить о полках, формах, лошадях, парадах, орденах, кантиках, выпушках, петличках и наизусть знал имена всех командиров полков и даты всех полковых праздников. Кроме того, он любил ещё выпить. Вероятно, от этого пристрастия голос у него был хриплый и лающий. Когда он говорил со мной, я никогда не мог разобрать ни одного слова и всегда просил его жену или Рашевского объяснить мне, что он сказал. Таким голосом разговаривают командиры эскадронов, собравшиеся на плацу во время зимних манёвров или парадов.

Жил Борис Владимирович довольно тихо, если можно так выразиться — «намазывая на горький хлеб изгнания зернистую икру воспоминаний». Единственным его удовольствием были многочисленные приглашения от самых разнообразных людей — на обеды, банкеты и завтраки. Париж был наводнён тогда разными дельцами, авантюристами, нуворишами и просто богатыми иностранцами. Каждому из них было, конечно, очень лестно заполучить к себе на приём настоящего русского «гранд дюка».

Борис Владимирович принимал эти приглашения довольно легко и был неразборчив в них. Обыкновенно его усаживали в центре, так сказать «под образа», как почётное лицо, и ставили перед ним бутылку хорошего виски «Блек лейбел», которое он любил. Потягивая напиток, он добродушно разглядывал публику и говорил очень мало. Сам он не интересовался ничем и как-то был равнодушен ко всему, но вокруг кипели страсти его семьи, которая всеми силами стремилась использовать его имя и титул для извлечения максимальной пользы из этого. Когда в Дании умерла бывшая вдовствующая императрица Мария Федоровна, Борису Владимировичу досталась часть её наследства в несколько миллионов франков. Её знаменитые изумруды Рашевский продавал потом парижскому ювелиру Ван Клифу.

Владимир Рашевский — довольно красивый и стройный мужчина, очень весёлый и жизнерадостный, бывший офицер одного из гвардейских петербургских полков, большой «шармер»

и покоритель сердец — был охотно принимаем в самом высшем парижском свете. Главной целью его семьи было женить его на миллионерше. Вот тут и использовали имя Бориса Владимировича. Падкие на титулы американцы не могли устоять против такого «шика». Познакомившись с дочерью американского миллионера Штрауса, Рашевский сделал ей предложение в Париже. Его пригласили в Америку вместе с «гранд дюком». Семейство отбыло очень торжественно на океанском пароходе.

В Америке он был встречен целой армией журналистов и фотографов. «Гранд дюка» снимали во всех видах, интервью с ним заполняли страницы газет — шумиху создали огромную. Папаша Штраус не устоял против такого великолепия и согласился на брак.

Борис Владимирович вернулся в Европу и зажил прежней жизнью. Через два-три года в Америке был знаменитый крах на бирже, из-за которого папаша Штраус в один день потерял все своё сказочное состояние и умер от волнения. Рашевский остался ни с чем. Все планы его семьи были разрушены.

— Женился по расчёту, а вышло по любви! — печально острил он в кругу приятелей. Приятели только сочувственно вздыхали.

Эволюция в эмиграции началась почти одновременно с началом младоросского движения. Патриотизм, исконно свойственный каждому русскому человеку, как цветок, прибитый ветром и бурей к земле, постепенно стал подниматься и распрямляться в душе каждого, по мере того как эта буря проходила стороной и, наконец, отошла уже в область воспоминаний. Горела не только молодёжь. Почти каждый русский эмигрант испытывал в душе острую потребность как-то привести в порядок свои чувства к родине, уяснить себе, наконец, что же ему делать дальше, как жить вне России и, главное, как относиться к ней. Кое-какие вести о родине стали просачиваться через прессу, появились книги об СССР, написанные лицами, посетившими её. Заговорили о том, что Россия строится. Страсти закипели. Одни упрямо стояли на позиции непримиримой ненависти к большевизму и Советскому правительству, другие находили какие-то доводы «за» и искали компромиссных точек зрения. Разбитая и до этого, эмиграция разбилась ещё на несколько лагерей.

Однажды в Париже была объявлена лекция генерала Деникина на тему о настоящих и грядущих путях России. Интерес она вызвала огромный, и большой зал Гаво почти на две с половиной тысячи человек был переполнен. Тут были политические деятели эмиграции буквально всех оттенков,

начиная от монархистов и кончая анархистами. Лекция, конечно, никого не удовлетворила. Столп белого движения генерал Деникин не уяснил себе всего происходящего в России, но бескомпромиссно и безоговорочно отрицал какое бы то ни было иностранное вмешательство в русские дела.

— Интервенция — это самоубийство, — патетически восклицал он.

— Ему-то лучше знать, — угрюмо заметил стоявший рядом со мной человек. — Он на интервенции, как на свечке, себе бороду спалил.

После лекции, во время дискуссии, из рядов лиц, считавших Россию сплошным концлагерем и могилой русской чести и силы, был задан вопрос:

— Кто же не позволит интервентам захватить нашу родину? Кто остановит их?

И вот тут глава белого движения, его идейный вождь и вдохновитель бросил фразу, которая не только облетела весь русский Париж, но и, подхваченная мировой прессой, произвела огромное впечатление повсюду.

Яростно стуча кулаком по столу, сверкая глазами, старый генерал крикнул в толпу:

— Клим! Клим не позволит!!

Это было имя маршала Советского Союза Клементия Ворошилова.

Русские кабаки были разного типа. Начиная от обычных ресторанов, где просто кормили хорошо, которые создавались и велись профессионалами, до всякого рода экзотических «буате де нюи», которые открывали просто предприимчивые люди. На улице Комартен «Большой Московский Эрмитаж» был разрисован боярами и тройками, и кухня изобиловала исключительно русскими блюдами. В программе выступал «квартет бояр», пели Плевицкая, Морфесси, я, иногда цыгане.

На Монмартре был знаменитый «Казбек» — небольшой уютный погребок, владелец которого, Трахтенберг, скупив в своё время массу серебра у эмигрантов, расставил его на полках вдоль стен, укрытых коврами. Все эти кубки, стаканы и чаши с русскими орлами выдавались иностранцам за царское серебро, спасённое эмигрантами, хотя половина этого серебра делалась тут же, на Пигале. Иностранцам очень нравилось пить шампанское из «царских кубков». Иногда в виде большого одолжения хозяин продавал гостю такой «царский» стакан или чашу за баснословную сумму.

В «Казбеке» часто бывал великий князь Борис Владимирович с женой и целой свитой богатых иностранцев, искавших

титулованных знакомств. Когда он входил в кабак, все, соблюдая этикет, вставали и ждали, пока он сядет. Предприимчивый хозяин делал на этом бизнес, привлекая публику, желавшую посмотреть на настоящего «гранд дюка». Для него даже было сделано что-то вроде царской ложи — с балдахином и золотыми кистями.

Однажды в «Казбеке», где я выступал после часу ночи, отворилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В четыре я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, весёлый и улыбающийся. За ним следом вошли ещё двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако по кабацкому закону каждый гость дарован Богом, всю артистическую программу нужно было с начала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. «Пропал мой сон!» — подумал я. Тем не менее по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет совершенно дико, очевидно, из озорства: на нем был серый свитер и поверх него… смокинг.

Музыканты старались: гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского.

— Что вам сыграть, сэр? — спросил его скрипач-румын.

Гость задумался.

— Я хочу одну русскую вещь… — нерешительно сказал он. — Только я забыл её название… Там-там-там-там!..

Он стал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия».

Угадав её, музыканты стали играть.

Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и ещё несколько других.

Англичанин заставлял меня бисировать. После выступления, когда я сел на своё место, англичанин окончательно перешёл за мой стол, и, выражая мне свои восторги, между прочим сказал:

— Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Детердинг. Вы не знаете её? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста… — И он с ужасающим акцентом произнёс мою фамилию, исковеркав её до неузнаваемости. — Так вот, она подарила мне эти пластинки, — продолжал он, — почему я и просил вас спеть эту вещь.

Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояло: «Alexandre Vertinsky».

Изумлению его не было границ.

— Я думал, что вы поёте в России! — воскликнул он. — Я никогда не думал встретить вас в таком месте.

Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте.

Мы разговорились. Прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в «Сирос».

В самом фешенебельном ресторане Парижа «Сирос» к обеду надо было быть во фраке. Ровно в 9 часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метрдотель Альберт, улыбаясь, шёл ко мне навстречу.

— Вы один, мсье Вертинский? — спросил он.

— Нет! Я приглашён…

— Чей стол? — заглядывая в блокнот, поинтересовался он.

Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию.

— Мой стол будет у камина! — вспомнил я его последние слова.

— У камина не может быть! — сказал он.

— Почему?

— Этот стол резервирован на всю неделю и не даётся гостям.

В это время мы уже входили в зал. От камина, из-за большого стола с цветами, где сидело человек десять каких-то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шёл мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке.

Ещё издали он улыбался и протягивал мне обе руки.

— Ну вот, это же он и есть! — сказал я, обернувшись к Альберту.

Лицо метрдотеля изобразило священный ужас.

— А вы знаете, кто это? — сдавленным шёпотом произнёс он.

— Нет! — откровенно сознался я.

— Несчастный! Да ведь это же принц Уэльский!..

В «Казанове» — маленьком, но очень дорогом «буате», приютившемся у подножия монмартрского кладбища, был венецианский стиль. Стены были уставлены хрупким венецианским стеклом, светящимися аквариумами, столы тоже светились. Тут подавали бывшие гвардейские офицеры, красивые, стройные и высокие, прекрасно говорившие по-французски и по-английски, затянутые в голубые казакины с золотыми галунами. Зарабатывали они бешено. Меньше пятисот — тысячи франков им не оставляли на чай. Это были люди из «общества», и дать меньше считалось неприлично. Почти все они приезжали на работу в собственных машинах, имели красивых женщин и вне работы одевались, как лорды. «Казанову», где я пел, тоже

посещали сливки Парижа, и не только Парижа, но и всего мира. Случались вечера, когда за столами сидели Густав Шведский, Альфонс Испанский с целой свитой, принц Уэльский, Кароль Румынский, Вандербильты, Ротшильды, Морганы. Приезжали и короли экрана — Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Грета Гарбо — в синих очках, чтобы её не узнавали… Место было самое дорогое и самое шикарное. Лучшие оркестры мира играли там. Лучшие артисты выступали. Была ещё «Шехерезада» — голубая коробочка в восточном стиле, где бывала та же публика и подавали такие же красавцы.

Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами, ведеттами. Все они знакомились со мной потому, что их интересовала русская песня, русская музыка…

В машинах, скользивших по Елисейским Полям, сидели нежные, избалованные женщины, пахнущие острыми и томными духами. Из окон выглядывали холёные благополучные собаки каких-то особенных, экзотических пород и презрительно щурились на собак, идущих пешком.

Над Булонским лесом вставали и потухали зори, и был он весной нежный, светло-серый, с бледно-розовыми оттенками — точно нарисованный пастелью. До двенадцати дня в ресторанах на Порт Дофин в саду нарядные дамы пили разноцветные аперитивы, флиртовали, сплетничали, обсуждали новые фасоны платьев, встречались со своими «жиголо». По широким утрамбованным аллеям скакали длинные кавалькады женщин и мужчин в самых экстравагантных спортивных костюмах. По дорожкам гуляли те, у кого не было машин, и любовались этой выставкой роскоши и богатства.

Но особенно углубляться в лес не рекомендовалось, в особенности женщинам. Из-за кустов вдруг неожиданно выскакивал какой-нибудь маньяк, помешанный на эротической почве. В Париже таких было множество. С горящими, возбуждёнными глазами он творил такие непристойности, что женщины бежали прочь, крича от отвращения и ужаса.

Раз в неделю на улице Акаций в определённом месте собирались частные машины. Каждый, у кого был собственный «кар», мог стать в очередь за головной машиной. Когда набиралось двадцать машин, головной «кар» трогался, остальные ехали за ним. Машины мчались, минуя городские окраины. Отъехав километров сто или двести, часа через полтора вереница останавливалась где-нибудь в лесу и, выбрав полянку в самой гуще, начинала оргию. Женщины выбирали себе мужчин и уходили с ними в глубь леса. И все это были люди незнакомые

между собой, искавшие острых, грубых наслаждений, на миг сближавшиеся в холодном, рассудочном разврате и потом расходившиеся навсегда. Если бы на другой день такой участник «партуза», встретив ту даму, с которой он познакомился в лесу, осмелился ей поклониться, она, разумеется, никогда не ответила бы на его поклон. Все это были люди богатого, насквозь прогнившего класса, мужья, давно остывшие к жёнам, любовники, надоевшие друг другу. Просто пресыщенные люди.

В больших кафе на верандах, прямо на улице, с утра до ночи сидели одинокие женщины и ждали клиентов. У «Вербера» на Мадлен, у «Фуркеца» и в «Куполе» на Монпарнасе, в бистро на Клиши, на Пигале — всюду сидели тысячи женщин, предлагавших свои услуги мужчинам.

Целые кварталы, как Бульвар Себастополь, знаменитая улица Шебане и другие, были заполнены домами свиданий, где за разные цены — от десяти до тысячи франков — показывались всевозможные извращённости и уродства, от которых волосы шевелились на голове. Их посещали любопытные туристы, которым хотелось узнать Париж до самых глубин.

Удушливый, сладковатый запах тления — какая-то странная смесь духов, бензина и падали — носился над Парижем. На «Кот Д'Азюр» в Ницце, в Антибе, в Ментоне, где в течение столетий выращивались изумительные по красоте и запаху розы, гвоздики, фиалки, производство упало до минимума. Духи не делали больше из цветов. Старые парфюмеры сидели без работы. Их заменили химики. Большие «дома платьев» выпускали свои духи, составленные химическим способом. Цветы им были не нужны. В духи шли странные и неожиданные составы, и в самые дорогие из них шёл, например, помёт кашалота.

Витрины огромных магазинов, таких, как «О Прентан» или «Галери Лафайет», были уставлены новой мебелью стиля модерн, комфортабельной, простой, но странно голой. Знаменитая французская актриса Режанс, квартира которой, с мебелью Луи XV, фарфором, старыми гравюрами и кроватью, на которой спала Мария-Антуанетта, оценивалась в миллионы франков, вдруг назначила у себя аукцион.

— Мне надоело прошлое, меня душит эта пыль веков! — заявила она недоумевающим журналистам. — Вся эта обстановка старит меня. Я хочу жить! Я продам всю эту рухлядь и возьму себе светлую квартиру.

Жить, жить, жить! — кричали газеты, журналы, магазины, выставки. Жить во что бы то ни стало. Ни в чем себе не отказывая.

На улице Муфтар в подвале на задворках, среди мусорных ям

и развалин, помещался кабак, особенно посещаемый туристами, желающими узнать «дно» Парижа. Их приводили туда «кукины дети»[4] — гиды — часто после спектаклей «Гранд Опера», во фраках и вечерних туалетах. Там собирались апаши, воры, проститутки. Хозяйкой была старая, седая бывшая светская львица, опустившаяся до самого «дна», с манерами хозяйки публичного дома и хриплым голосом. Там танцевали под гармошку «жава», пили, хохотали, пели. Полуголые, растрёпанные женщины извивались в непристойных телодвижениях, танцуя с сутенёрами и ворами. Тусклые керосиновые лампы освещали грязные потолки, столы и грубые скамьи. Внезапно в разгар веселья начинался скандал: бутылки, стаканы, столы — все летело в воздух; в руках у апашей сверкали ножи. Кто-то разбивал бутылкой лампу. Наступала темнота, неслись стоны и крики:

— Убили! Убили женщину!.. Полиция! Полиция!

Резкий свисток оглашал воздух. Испуганных англичан и американцев выводили тайком через задние дворы. Они были в восторге и ужасе. Они видели настоящее «дно». Когда они уходили, зажигался свет, и все эти «апаши», «воры» и «убийцы» спокойно разгримировывались и шли к «львице», тоже разгримировавшейся, получать свой разовый гонорар. Это были актёры из маленьких театров, а сама «львица» была актрисой из «Одеона». Вся эта комедия разыгрывалась для переживаний доверчивых иностранцев.

Так жил и веселился Париж. Правда, где-то на заводах, шахтах и фабриках рабочие поднимали голос, требуя защиты труда и социальных реформ. Газета «Юманите» — орган коммунистов — увеличивала свой тираж. Время от времени разражался блестящей речью на выборах Марсель Кашен, громил буржуазию Торез. На демонстрациях пели «Марсельезу». Но все это тонуло в общем благодушии.

А на окраинах жили люди. Собственно, не жили, а существовали каким-то непонятным образом. По дороге в Нейи или Венсен тянулись целые кварталы жалких лачуг, сколоченных из каких-то ящиков, кусков ржавой жести, соломы, с дырками окон, заткнутыми тряпками, обклеенными старыми афишами и газетами. На верёвках сушилось грязное тряпьё, полуголые чёрные дети копались в мусорных кучах.

Дорогие лимузины равнодушно проносились мимо. Сидевшие в них брезгливо морщились и недоумевали; как это можно было допустить в Париже, в самом центре страны, «деревни нищих»?..

В киосках на бульварах можно было купить советские газеты — «Правду» или «Известия». Шрифт был мелкий, убористый —

деловой. Какие-то резолюции, отчёты, указы… Читать было скучно. Сенсаций никаких, люди строят, хлопочут, работа кипит — пишут только самое важное, деловое, необходимое. А парижскую газету развернёшь — сенсация за сенсацией.

«Президент вылетел из окна вагона!»

И насмешливый Аминадо уже пишет:

Где ещё в подлунном мире
Из вагонного окошка
Вылетают президенты
В полосатых пижама?

«Виолетт Нозьер отравила отца, чтобы получить страховую премию».

«Семнадцатилетняя убийца содержала своего любовника!..»

«Миллионер — спичечный король Ивар Крегер бросился с аэроплана».

«Какой-то русский — Иван Горгулов — пустил пулю в президента республики Поля Думера!..»

Дальше идут описания убийства, допросы свидетелей…

— Почему вы это сделали?

— Месть большевикам. Чтобы обратить внимание!..

— На что? На кого? Бред какой-то!

«Разложение», «Гнилой Запад» — писали советские газеты. Мы хохотали. Мы от души смеялись над этими «отсталыми» советскими взглядами. «Сами жрут воблу, а ещё нас учат!» — «Ха-ха-ха! Это мы-то гнилые?.. Как вам нравится?»

Мы — европейцы, парижане, соль мира!

«Берегите складку на брюках русской эмиграции!» — издеваясь, вещал Аминадо. И мы берегли. Тянулись из последнего. Покупали на распродажах расшикарные платья жёнам, обзаводились смокингами, засовывали гвоздички в петлички. О родине тосковали, но как-то «платонически». Вспоминали берёзки… Белые ночи… Былой блеск, богатство… Кто что.

Говорили нескончаемо, но… точно о покойнике. Было, мол, и умерло!

Правда, писалось о России много. «Последние новости» и «Возрождение» ежедневно закатывали всякие сенсации о расстрелах, голоде, бунтах в армии и пр.

Неутомимый Милюков, умный, сухой и властный, крепко держал в руках бразды правления либеральной эмиграции. Он неутомимо читал лекции о каких-то «сдвигах», «термидоре» и «неизбежном поправении» большевиков, обещая скорое

возвращение домой…

Тонко и нудно жужжала «пёсья муха» Кускова, рассказывая из «писем очевидцев» и рижских сообщений о недовольстве советской молодёжи, о падении роста комсомола. Делала подсчёты, выводы — заклинала.

Но… лекции пустовали. От Кусковой отмахивались. Керенскому не верили — не могли простить ему костюм сестры милосердия. Милюкова называли «сумасшедшим шарманщиком» из моей песни. И серьёзно уговаривали меня, что эту песню я написал о нем. Ходили только на «вечеринки землячества» и на панихиды. И тот же Аминадо писал:

Живём, бредём и медленно седеем.
Плетёмся переулками Пасси.
И скоро совершенно обалдеем
От способов спасения Руси!..

Шли годы изгнания… Хотя, собственно говоря, нас ведь никто не изгонял, а «изгнались» мы сами. Шум великого вечного города на время как бы оглушил нас. Но чем дольше жили мы в эмиграции, тем яснее становилось каждому, что никакой жизни вне родины построить нельзя и быть её не может. Особенно остро чувствовали свою оторванность поэты и писатели.

Дмитрий Мережковский, маленький, лёгкий, весь высохший, как мумия, — один дух, — целиком ушёл в мистику.

Бедность, Чужбина, Немощь и Старость —
Четверо, четверо — все вы со мной, —

писал он незадолго до смерти, уже приготовившийся к ней.

Скоро скажу я с улыбкой сыновней:
Здравствуй, родимая Смерть!

Зинаида Гиппиус писала злые статьи. Криво улыбаясь, она язвительно «разоблачала» современное искусство. Молодёжи не понимала и не любила.

Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присуждённая ему в последние годы, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского рассеяния, и потом замолк. Эта премия вызвала большие толки. Некоторые

считали, что её надо было дать Мережковскому, другие — Куприну и т. д.

Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружающей среды, но кого мог интересовать французский быт? Французы его не читали, а русским это было неинтересно. Жить ему становилось все труднее. Заработки в газетах были невелики, пришлось открыть переплётную мастерскую. Работала она слабо, да к тому же он стал видеть хуже и хуже и в конце концов почти ослеп. Его дочь Киса, красивая и даровитая девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, и мечтала о возвращении на родину. Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называя предателем «белого дела». Другие, более сдержанные, лицемерно жалели Куприна, ссылаясь на его болезнь и преклонный возраст.

Такой же бурей ещё раньше был отмечен отъезд Алексея Толстого — с той только разницей, что ему тогда не находили никаких оправданий. Это понятно. Из увядающего букета цветов русского зарубежного искусства был вырван самый яркий, самый живой цветок. Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на родину полным сил, в самом расцвете своего огромного таланта. И его голос, ясный и убедительный, загремел издалека, из той страны, в которую многим уже не было возврата, окрепшим, молодым, сильным.

Милая, талантливая Тэффи выпустила две или три книги рассказов. Её свежее и незаурядное дарование долго боролось с надвигавшимися сумерками. Она ещё умела «смеяться сквозь слезы», но постепенно смех почти исчез из её творчества, и уже только одни холодные слезы застилали глаза…

Упрямо боролся с одолевавшим всех оцепенением Борис Зайцев. Время от времени появлялись его романы, написанные на наши «местные темы». В них он описывал надоевшее нам самим наше эмигрантское житьё-бытьё…

Где-то в Германии начал писать В. Сирин (Набоков), уже совершенно не связанный с Россией и почти чужой. Его романы были увлекательны, как фильмовые сценарии, и абсолютно вненациональны.

Ещё хуже обстояло дело с поэзией. Поэты острей и больней чувствовали свою оторванность, бесполезность и ненужность в этом огромном чужом городе.

Самый яркий из них, Георгий Иванов, — современник Блока, Брюсова, Белого, Анны Ахматовой — писал стихи совершенно безнадёжные, проникнутые таким глубоким отчаянием, такой безысходной тоской, что читать их было и больно и грустно:

Хорошо, что нет царя,
Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет,
Только мёртвая заря…
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.
Хорошо, что ничего,
Хорошо, что никого,
Так черно и так мертво,
Что чернее быть не может
И мертвее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать!..

Такой же болью и отчаянием звучали стихи Владислава Ходасевича, тосковавшего по родине и умершего на чужбине:

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Виргилия нет за плечами,
Только есть одиночество в раме
Говорящего правду стекла!

Величественный образ далёкой, покинутой и уже недоступной родины неустанно преследовал зарубежных русских поэтов.

Георгий Адамович с тоской и мукой вопрошал:

Когда мы в Россию вернёмся,
О Гамлет восточный[5], когда?
Пешком, по размытым дорогам,
В стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов,
Без всяких там кликов… — пешком!
Но только наверное знать бы,
Что вовремя мы добредём!

Талантливый Давид Кнут писал

О том, что дни мои глухонемые,
О том, что ночью я —
порой в аду.

О том, что ночью снится мне Россия,
К которой днём дороги не найду.

В сумасшедшем доме умирал знаменитый когда-то Константин Бальмонт, в бреду призывавший родину.

Владимир Смоленский, молодой и очень интересный поэт, писал трагически безнадёжные стихи.

В самом расцвете своего оригинального дарования умер подававший большие надежды Поплавский…

Потухали, гибли на чужой земле яркие дарования писателей и поэтов, оторвавшихся от родной почвы.

Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяковского. Я мельком видел его несколько раз в «Ротонде» на Монпарнасе. Приезжали Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои «Голубые пески», Лев Никулин, Борис Лавренёв, рассказ которого «Сорок первый» в то время наделал много шуму в эмиграции и особенно в её литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров.

Но все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не пришлось. Все же иные из них, люди «моего выпуска богемы», если так можно выразиться, с которыми я начинал свою карьеру когда-то в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о той жизни и стройке, которая шла на родине.

Эти редкие встречи только подчёркивали нашу отчуждённость. Мы уже потеряли общий язык и плохо понимали друг друга, точно это были люди с другой планеты. От них веяло какой-то новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим «гнилым Западом», и это раздражало нас, «парижан», порождая неприязнь и отчуждённость. В свою очередь, нам они казались провинциалами — «деревенскими», «отсталыми» людьми.

«Эрмитаж» на Комартеле был таким рестораном, где рано или поздно встречались все. Очень дорогой и шикарный, созданный исключительно для иностранцев, которых интересовало все русское, он, конечно, был русским постольку поскольку — вернее, таким русским, как себе представляли русское иностранцы. Вроде тех «русских» фильмов, которые фабрикуются в Голливуде, с великими князьями в главных ролях, с роковыми женщинами, какими-нибудь «принцесс Сония» или «Тания», с «кавьяр рюсс» и прочей развесистой клюквой. «Князья» у нас были собственного завода: их насчитывалось человек

восемь. Они служили танцорами — «жиголо» и на меньший титул не соглашались. Только один, самый маленький и захудалый, поступивший в «Эрмитаж» по протекции «хорошего гостя», согласился стать «бароном». «Принцессы» сидели на красных бархатных диванах в ожидании клиентов. Балалайки заливались в оркестре в руках у весёлых парней, разодетых в малиновые, зеленые и жёлтые рубашки с золотыми позументами, а «кавьяр» стояла на белом столе прямо при входе в зал. Кроме балалаечников, было ещё два оркестра — «джаз» и «танго». «Джазом» дирижировал знаменитый Тэд Люис, а «танго» управляли не менее знаменитый Эмманюэль Пизарро или Бьянко Бачиша — их оркестры менялись. Гостям подавались кулебяки, расстегаи, зернистая икра, рябчики, котлеты де воляй, лилось шампанское, оркестру и танцорам швырялись тысячи. Американцы, как добрые Санта Клаусы, покровительствовали потерпевшим от революции «принцессам». Старые американки, до горла увешанные бриллиантами, «усыновляли» подозрительных молодых людей с дурными наклонностями и водили их за собой, как болонок на цепочке. Во время «ти дансов»[6] эти юноши крутили своих старушек по паркету, жалобно заглядывая в глаза молодым французским девочкам, которые приходили потанцевать со своими «жиголо». Вечером водили своих старух в театры, ночью пили с ними шампанское и опять танцевали. Вид у них был замученный, как у католических девственниц.

Кто только не бывал в этом «Эрмитаже»! Банкиры, министры, крупные дельцы, знаменитости…

Программа состояла из лучших артистов, русских или иностранных.

Туда однажды я привёз из кабачка «Джокей» на Монпарнасе маленькую красивую француженку, которая пела там за двадцать пять франков в день. Мне понравился её голосок и манера пения, и я уговорил хозяина «Эрмитажа» Рыжикова взять её к нам. К сожалению, она не понравилась ему, и он скоро ей отказал. А через три года он сам платил ей двадцать тысяч за один вечер. Это была знаменитая впоследствии Люсьен Буайе.

Пел Юрий Морфесси — все ещё жизнерадостный, хотя и поседевший. Пела одно время Тамара Грузинская, приезжавшая из Советского Союза, пела Плевицкая. Каждый вечер её привозил и увозил на маленькой машине тоже маленький генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел забитым мужем у такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной показалась нам его загадочная роль в таинственном исчезновении генералов Кутепова и Миллера. Это было особенно

загадочно потому, что и с семьёй Кутепова, и с семьёй Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили ещё со времён Галиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала.

В течение трёх-четырёх лет ежегодно после концертных турне по Европе я приезжал к сезону в Париж и пел в «Эрмитаже». За это время мимо меня прошло много людей, ярко заметных на европейском горизонте. Со многими из них я был знаком, других наблюдал издали.

Кабак — большая и страшная школа. Кабак многому меня научил и, я бы сказал, даже закалил. Актёру нелегко фиксировать на себе одном все внимание в кабаке, где люди пьют, едят, стучат ножами и вилками, разговаривают и часто не слушают вас. Какую энергию, какую внутреннюю силу тратит актёр на то, чтобы подчинить себе эту дезорганизованную аудиторию! Кабацкую школу могут выдержать очень немногие, и для того, кто может владеть толпой в кабаке, сцена уже отдых, удовольствие. После многих лет такой работы я пел свои концерты уже шутя, не волнуясь, даже не уставая от них.

Среди танцоров «Эрмитажа», среди всех наших князей «на честное слово», был один настоящий князь: Николай Карагеоргиевич — двоюродный или троюродный брат сербского короля Александра, очень красивый и неглупый молодой человек, уже скатившийся вниз с верхних ступеней жизненной лестницы. Он получил образование в России, сербов своих не знал и не любил и родиной считал Россию. Это был беспутный, но очень добрый и благородный юноша, которого страсть к наркотикам довела до положения «жиголо». Он колол себе морфий и не мог жить без него. Иногда его «спасала» на время какая-нибудь женщина. Он бросал морфий. Но через полгода-год он срывался снова, и все продолжалось по-старому.

С ним бывали невероятные случаи. Два или три раза он был женат на миллионершах. В Сербии несколько раз подготовляли заговоры для того, чтобы посадить его на престол, назначались дни его отъезда туда, все было готово, чтобы начать переворот. Но он неизменно просыпал эти моменты где-нибудь в кабаке — его не могли отыскать, и мятеж откладывался до отрезвления «короля», которое приходило иногда очень нескоро. Однажды его подняли зимой на улице и отвезли в морг. Из вечерних газет мы узнали о его смерти. Служащие «Эрмитажа» собрали деньги на венок и утром прочли в газете о часе и месте первой панихиды.

Вечером во время моего выступления открылась дверь, и «покойник» как ни в чем не бывало вошёл в зал. Я подавился словом песни и чуть не упал от испуга. Оркестранты побросали инструменты. Оказалось, что его положили в морг холодным и

без признаков жизни, с остановившимся от чрезмерной дозы морфия сердцем. Ночью он пришёл в себя.

— Просыпаюсь, — рассказывал он, — в каком-то месте и не могу понять, где я. На мне белая простыня, вокруг меня лежат какие-то люди и тоже спят. Я сел. Захотелось закурить. Папиросы нашёл в кармане, а спичек нет! Я слез со своего ложа, подошёл к соседу, дёрнул за простыню. «Дайте, — говорю, — спичку, пожалуйста, закурить». Молчит. Я — к другому. Молчание. Я сел на цинковый стол и вдруг понял, что я в морге. Значит, меня приняли за мёртвого, а я ночью от холода проснулся. Я бросился к окну. Смотрю — открыто. Я прыгнул в сад — и бегом. А навстречу журналисты, фотографы: «Не знаете, где тут князь Карагеоргиевич лежит?» — «А вот, — говорю, — в том флигеле направо!» И убежал.

Мы чуть с ума не сошли от его рассказа.

Умер он года через два в Ницце — от того же морфия…

Артистическая богема была представлена в Париже очень ярко. Но делилась она на две категории — профессионалов и любителей. В число профессионалов входили артисты оперы, балета и концертной эстрады, кроме того, была целая драматическая труппа, составленная из артистов МХТ, попавших с эвакуацией за границу, известная под названием «Пражской труппы». Эта труппа одно время работала в Чехословакии, Болгарии и Сербии. Затем часть артистов вернулась в Советский Союз, часть разъехалась по другим странам. Кое-кто попал в Ригу, где был настоящий сезонный русский драматический театр в течение целого ряда лет. В Париже остатки этой труппы давали время от времени спектакли, которые очень охотно посещались публикой. Благодаря этим спектаклям мы смогли познакомиться с пьесами советских драматургов, о которых мы даже не имели представления. Мы видели «Чужого ребёнка» Шкваркина и от души хохотали, видели «Дни Турбиных» Булгакова — пьесу, которая заставила задуматься над своим положением многих отвоевавших и уже никому не нужных людей. Видели «Квадратуру круга» Валентина Катаева, «Врагов» Лавренёва, «Заговор императрицы» Толстого и Щеголева и много других пьес.

Оперная деятельность была представлена целым рядом больших спектаклей, то в театре «Шанз-Елизе» с участием Федора Ивановича Шаляпина, то в других театрах. Несколько лет подряд большая оперная труппа под руководством Церетелли гастролировала по всей Европе, потрясая сердца испанцев, французов и англичан красотой музыки Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского.

Огромное место в артистической жизни Парижа занимал балет. Вначале он был раздроблён и существовало несколько балетных группировок. Потом ярко определилась лидирующая группа, известная под названием «Балета Монте-Карло». Эта труппа субсидировалась муниципальными властями Монте-Карло в течение ряда лет. В составе её были Леонид Мясин, Жорж Баланчин, Войцеховский, Немчинова, Маргарита Фроман (сперва долго выступавшая в Королевском театре в Белграде) и целый ряд очень сильных молодых танцовщиков и балерин, подготовленных уже в эмиграции такими педагогами, как Кшесинская, Николаева, Легат и другие. Кшесинская создала изумительную Татьяну Рябушинскую, лёгкую, эфемерную, — «танцующий дух», как её называла публика. У Легата училась обаятельная Баронова, необыкновенно женственная и нежная Туманова. Появился очень яркий характерный танцовщик Давид Лишин — гибкий и стройный, с лицом и прыжками юного фавна, талантливый Борис Князев и другие.

Кроме того, совершенно отдельно гастролировали, часто со своими собственными труппами, такие звезды, как Анна Павлова, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Вера Каралли, Александр и Клотильда Сахаровы и другие. Эти спектакли покоряли Париж. Я посещал их все. Со многими из артистов встречался. Я помню, например, премьеру «Балета Монте-Карло» в Париже, где моё место случайно оказалось рядом с Кшесинской и князем Андреем Владимировичем, её мужем. Спектакль был большой художественной радостью. Начиная от декораций и костюмов, написанных гениальным Пикассо, до музыки Равеля, Стравинского и Прокофьева — все было необычайно. Когда на сцене появилась юная Рябушинская в светло-серой длинной классической пачке, с розовым венчиком на голове, лёгкая, бестелесная, неземная, воистину какой-то «дух божий», а не балерина, у меня захватило дыхание. Она танцевала «Голубой Дунай». Когда она кончила и зал задрожал от аплодисментов, я обернулся. Кшесинская плакала, закрыв рот платком. Её плечи содрогались. Я взял её за руку.

— Что с вами? — спросил я.

— Ах, милый Вертинский… Ведь это же моя юность танцует! Моя жизнь… Мои ушедшие годы… Все, что я умела и чего не смогла, я вложила в эту девочку. Всю себя. Понимаете? У меня больше ничего не осталось.

В антракте за кулисами она сидела в кресле и гладила свою ученицу по голове. А Таня Рябушинская, присев на полу, целовала ей руки.

— Вы правы, милый! — как-то сказала она на одном из моих

концертов. — «Надо жить, не надо вспоминать!»

С Анной Павловой я встретился в «Эрмитаже». После её спектакля в том же театре «Шанз-Елизе» она приехала со своим импресарио ужинать ко мне.

— Я приеду к вам в «Эрмитаж», дорогой, — сказала она за кулисами, — чтобы удовлетворить мой духовный голод — послушать вас, и мой физический тоже, потому что я голодна и ничего не ем в день спектакля!

Спектакль произвёл на меня грустное впечатление. Правда, народу было множество, и принимали её восторженно, но аплодировали уже явно за прошлое. Павлова была не та. Как ни больно, как ни грустно, но все мы, актёры, — смертные люди и имеем свои сроки. Наши таланты с годами гаснут, увядают, отцветают.

В этом большая трагедия актёра. Правда, одно всегда остаётся с актёром до конца его карьеры — это его мастерство. Но разве может мастерство, то есть рассудочность, техника, школа, заменить ушедший темперамент, вдохновение, взлёт, восторг, интуицию?!

Актёр — это вообще счастливое сочетание тех или иных данных и способностей. Актёр — это аккорд. И если хоть одна нота в этом аккорде не звучит — аккорда нет и не может быть. Стало быть, нет и актёра. Если бы у Шаляпина, например, был толстый живот и короткие ноги, он никогда не достиг бы той вершины славы, которая у него была. А ведь кажется, при чем тут рост или живот? Однако это очень важно. Актёр должен быть по возможности совершенен. Во всяком случае, он должен обладать максимумом сценических данных. Когда актёр стареет, у него стареет большей частью тело. Душа же часто остаётся такой же юной и горячей, как в дни его расцвета.

Дым стелется… след остаётся,
И полною грудью поётся,
Когда уже не о чем петь! —

говорил Георгий Адамович в одном из своих стихотворений.

И это, к сожалению, так. Из божественного аккорда сценических сочетаний великой Анны Павловы выпало несколько очень заметных нот. Прежде всего — внешность. Она постарела, как бы усохла вся, её фигура потеряла свою воздушность, свою «надземность». Это была, скорее, аскетическая фигура монахини, истязующей свою плоть, чем танцовщицы. Её усталое, переработавшееся тело актрисы утратило эластичность и только привычно отзывалось на все посылы его обладательницы. Она как

бы показывала, как нужно танцевать, но не танцевала.

После спектакля у меня в «Эрмитаже» мы ужинали втроём и сначала говорили о модных танцах.

— Это увлечение собственной походкой, — сказала Павлова. — Я совершенно не понимаю их. И не умею их танцевать, — улыбаясь, добавила она. — А вы умеете? — неожиданно задала она вопрос.

Я умел.

Я предложил ей потанцевать со мной. Мы выбрали танго и сошли на паркет. Она держалась прямо, по-балетному, и старательно повторяла мои движения. Я рассмеялся.

— Чему вы смеётесь? — спросила она.

— Мне странно, что я учу Анну Павлову танцевать, — отвечал я.

Она улыбнулась. Мы сели за стол и продолжали разговор. Говорили об Англии. Она рассказывала о своём доме в Лондоне, о своём парке, о пруде с лебедями, о газоне, который стригут два раза в неделю… И вдруг замолчала.

— Вы тоскуете по России? — тихо спросил я.

— Ужасно, мой друг, ужасно! До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния — тоскую! Я мёрзну в этой холодной и чужой стране, — тихо сказала она. — Все, не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и берёзками где-нибудь под Москвой или Петроградом.

На другой день она уехала в Англию. Вскоре после этого пришло известие о её смерти.

С Тамарой Карсавиной мы повстречались в Варшаве. Однажды во время моих гастролей там почти одновременно появились на афишных столбах и её анонсы. До этого я видел её афиши в Берлине и в Вене, но она уехала до моего приезда, и повидать её я не успел. Немцы называли её «Ди Карсавина». Так пишут имена, ставшие уже нарицательными.

В Варшаве на гастроли Карсавиной моментально были раскуплены все билеты. Приехала она с Петром Владимировым, знаменитым в своё время танцовщиком — партнёром многих петербургских балетных звёзд.

Она была ещё красива по-прежнему, но годы скитаний уже положили следы на её прекрасное лицо. Усталость чувствовалась в её танцах. Я заметил это на первом же спектакле.

За кулисами, в уборной, только что переодевшись в костюм Умирающего Лебедя, она встретила меня бурно и радостно:

— Ну, наконец, хоть одно родное лицо. Я так рада, милый, что вы здесь. Надоели мне чужие лица. Ни одного человека с родины!..

Она взяла меня за руки и, заглядывая в глаза, быстро заговорила:

— После спектакля вместе будем ужинать? Вы не уйдёте? Пожалуйста! Вспомним Питер? А? Как жили! А теперь — ничего! Все потеряли. Пароходы… вагоны… Рыла какие-то свиные!.. Я только что из Германии!.. Пожалуйста! Ну, идите, уже звонок!..

В маленьком «Европейском» ресторане, устланном красными пушистыми коврами, мы сидели втроём в углу за пальмами — я, она и Владимиров — и говорили без умолку. Если кончал говорить один, начинал другой. О родных театрах, об актёрах, о спектаклях, о живых и мёртвых друзьях…

Иногда она брала мою руку и держала её, рассказывая о чем-нибудь нежном и дорогом для нас обоих, точно боясь, что я уйду, не дослушав её рассказа.

Тихо потрескивали зажжённые канделябры. Я нарочно выбрал такой старомодный и нешумный ресторан, чтобы никто не мешал нам разговаривать.

Где-то далеко, в конце зала, тихо звенели гавайские гитары.

Я тихонько напел ей песню на стихи Георгия Иванова: Над розовым морем вставала луна…

Карсавина молчала. Слезы струились по её лицу.

— Как вы думаете, Саша, вернёмся мы когда-нибудь на родину?

Получив уже два раза отказ на мои просьбы о возвращении, я уже не верил. Но мне не хотелось её огорчать.

— Если заслужим, — сказал я.

Мы помолчали.

— Мне бы только в театр! — сказала она. — В наш театр!.. Хоть костюмершей. Хоть кассиршей.

— А мне бы хоть капельдинером, — попробовал пошутить Владимиров.

Никто не улыбнулся.

Гасли свечи. Оркестр прятал инструменты. Рояль накрывали, как покойника, чем-то чёрным.

Было невыразимо грустно. Я поцеловал ей руку, и мы расстались.

На парижском балетном горизонте самой интересной фигурой был, конечно, Сергей Лифарь. Его постановки в «Гранд Опера», где он был балетмейстером, — привлекали самую лучшую публику. На этих спектаклях можно было видеть весь цвет французской культуры. Лифарю удалось сгруппировать вокруг себя всю самую способную молодёжь. Он занимался с молодыми по шесть—восемь часов в день и в результате создал французский балет.

Работа Лифаря была высоко оценена правительством: он получил французское подданство и считался на государственной службе. Если не ошибаюсь. У него был даже орден Почётного легиона, как у Шаляпина. Его триумфальные гастроли по Европе часто субсидировались государством.

Лифарь был стройный и смуглый, с большой примесью цыганской крови — «Цыганёнок», как мы его называли. Меня познакомил с ним Иван Мозжухин, и мы встречались довольно часто. Он был начитан, образован. Зарабатывая огромные деньги, он тратил их на покупку материалов о Пушкине, ещё не опубликованных в печати, его писем, стихотворений, рисунков. Эти реликвии он скупал у русской артистократии, иногда за очень большие деньги. Его коллекция представляла, видимо, большую ценность.

— Все это потом подарю родине! — говорил он, показывая нам драгоценные рукописи.

Своим триумфом в других странах русский балет во многом обязан Дягилеву. Лифарь написал книгу «20 лет с Дягилевым», в которой шаг за шагом показал творческий путь этого интересного и смелого новатора. Книга была иллюстрирована рисунками лучших художников.

Лифарь любил искусство и бережно относился ко всему, что с ним связано. На хорошие и редкие книги не жалел никаких денег. Он был, пожалуй, ярче Фокина, даже ярче Нижинского.

В частной жизни он был интересным собеседником, весёлым партнёром в компании, прекрасно играл на гитаре, знал очень старые, уже забытые цыганские песни и мастерски пел их, ещё держа в памяти те самые, особые староцыганские аккорды, которыми аккомпанировали когда-то Варе Паниной её братья. Твёрдо помнил все цыганские династии и точно разбирался в них. Имена всех этих Поляковых, Садовских, Масальских, Давыдовых он знал наизусть.

Однажды на парадном спектакле в парижской «Гранд Опера» он отказался танцевать, потому что не поставили декорации, которые ему были нужны. На спектакле присутствовал президент республики, весь интерес был сосредоточен на выступлении Лифаря. Директор театра, торопясь начать спектакль, предложил танцевать в сукнах. Лифарь категорически отказался. Тогда директор объявил об этом со сцены. Получился скандал. Лифарю грозила отставка. На другой день его вызвали к президенту.

— Почему вы отказались выступать? — спросил президент.

— Я слишком люблю и ценю своё искусство, чтобы унижать его такими халтурными выступлениями, на которые меня толкали.

— Но ваше выступление стояло в программе. На спектакле присутствовал весь дипломатический корпус. В какое положение вы поставили дирекцию?!

— Я готов понести за это любое наказание, — упрямо отвечал Лифарь и протянул президенту прошение об отставке.

— Что же вы намерены делать, если я приму ваше прошение? — спросил президент.

— Я буду работать шофёром такси!

Президент улыбнулся. Прошение не было принято, а директору «Гранд Опера» объявлен выговор.

Незабываемые вечера проводили мы с Иваном Мозжухиным в обществе Лифаря. Иногда с нами объединялся Федор Иванович Шаляпин, и тогда наши дружеские беседы тянулись до утра — не было сил расстаться. Как пел и плясал по-цыгански Лифарь! Как рассказывал Шаляпин! Как смешил Иван Мозжухин, показывая немое кино и вспоминая всякие уморительные эпизоды!

Мозжухин приехал в Париж с труппой Ермольева из Ялты, где снимался во время гражданской войны, и сразу занял видное положение в фильмовом мире. В то время у французов кинематография была развита очень слабо, крупных артистических величин не было. Ермольев же работал с братьями Пате, и его знали в Париже. Поэтому всю свою труппу, вывезенную из России, Ермольев влил в производство Пате. Русские актёры понравились. Французы сразу полюбили Мозжухина. За несколько лет он достиг необычайного успеха. Картины с участием Мозжухина делали полные сборы.

Наша встреча с ним в Париже была очень дружеской. Мы искренне обрадовались друг другу и уже почти не расставались на протяжении целого ряда лет.

Благодаря Мозжухину я невольно втянулся в фильмовые круги Парижа. Все свободное от концертов время я снимался для кино вместе с ним то в Париже, то в Ницце, то в Берлине…

Однажды в Ницце ко мне подошёл во время работы невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и чалму (снималась картина «1001 ночь»).

— Узнаете меня? — спросил он.

Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде и гриме я бы все равно его не узнал.

— Нет, простите.

— Я Шкуро. Генерал Шкуро. Помните?

В одну секунду в памяти вспыхнул вечер.

Екатеринодар. Белые армии отступают к Крыму. Концерт. Один из последних концертов на родине. Он уже окончен. Я разгримировываюсь, сидя перед зеркалом. В дверях уборной

появляются два офицера в белых черкесках.

— Его превосходительство генерал Шкуро просит вас пожаловать к нему откушать после концерта!

Отказываться нельзя.

Я прошу обождать. Ночь. У подъезда штабная машина. Через пять минут я вхожу в освещённый зал.

За большими накрытыми столами — офицеры его сотни. Трубачи играют встречу. Из-за стола подымается невысокий человек с красным лицом и серыми глазами.

— Господа офицеры! Внимание! Александр Вертинский!

Аплодисменты встречают меня. Меня сажают за его стол.

Начинается разговор… О песнях, о красных, о белых…

Какая даль! Какое прошлое! Я вспомнил, как «гуляла» его конница в «золотом степу».

Много крови зря пролил этот маленький человек. И какой крови! Понял ли он это хоть теперь?

Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица.

— Надо уметь проигрывать тоже!.. — точно оправдываясь, протянул он, глядя куда-то в пространство.

Свисток режиссёра прервал наш разговор. Я резко повернулся и пошёл на «плато». Белым мёртвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти невидные при свете солнца… Смуглые рабы уже несли меня на носилках.

«Из премьеров — в статисты! — подумал я. — Из грозных генералов — в бутафорские солдатики кино!.. Воистину — судьба играет человеком».

Его тоже позвали. Он быстро шёл к своей лошади, на ходу затягивая кушак. Всадники строились в ряды…

Я до сих пор не знаю, любил ли Мозжухин своё искусство.

Во всяком случае, он тяготился съёмками, и даже на премьеру собственного фильма его нельзя было уговорить пойти. Зато во всем остальном он был живой и любознательный человек. От философских теорий до крестословиц — его интересовало все. Необычайно общительный, большой «шармер», весёлый и остроумный, он покорял всех. Мозжухин был широк, щедр, очень гостеприимен, радушен и даже расточителен. Он как бы не замечал денег. Целые банды приятелей и посторонних людей жили и кутили за его счёт. В частых кутежах он платил за всех. Деньги уходили, но приходили новые. Жил он большей частью в отелях, и, когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски и вина, ножа или вилки, например, у него никогда не было. Сардины вытаскивали из коробки крючком для застегивания ботинок, а салат накладывали рожком от тех же

ботинок. Вино и коньяк пили из стакана для полоскания зубов. Ели прямо с бумаги, а купить хоть одну тарелку, нож и вилку ему не приходило в голову. Он был настоящей и неисправимой богемой, и никакие мои советы и уговоры на него не действовали.

Иван буквально сжигал свою жизнь, точно предчувствуя ев кратковременность. Вино, женщины и друзья — это главное, что его интересовало. Потом книги. Он никого не любил. Может быть, только меня немного, и то очень по-своему. У нас было много общего в характере, и в то же время мы были совершенно различны.

— Ты мой самый дорогой, самый любимый враг! — полушутя-полусерьёзно говорил он.

Из Парижа Мозжухин попал в Америку. В Голливуде, где скупали знаменитостей Европы, как товар, им занимались мало. Американцам важно было снять с фильмового рынка звезду, чтобы пустить свои картины. Так они забрали всех лучших актёров Европы и сознательно портили их, проваливая у публики. Попав в Голливуд, актёры незаметно сходили на нет. Рынок заполняли только американские звезды.

Когда Иван приехал в Голливуд, его выпустили в двух-трёх неудачных картинах. Американская публика невзлюбила его. Он вернулся в Европу. Здесь он ещё играл несколько лет то во Франции, то в Германии. Но карьера его уже шла к закату.

Звуковое кино окончательно убило Мозжухина. Он не знал ни одного языка. Несколько попыток сыграть в звуковых фильмах не увенчались успехом, да кроме того от слишком широкой жизни на лице его появились следы, скрыть которые не мог уже никакой грим. Он старел. К говорящему кино он пылал ненавистью. Я расстался с ним в 1934 году, уехав в концертное турне по Америке. Расстались мы холодно, поссорившись из-за пустяка. Больше я его не видел.

Я был в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, что у Мозжухина скоротечная чахотка, что он лежит в бесплатной больнице — без сил, без средств, без друзей… я собрал всех своих товарищей — шанхайских актёров, и мы устроили в «Аркадии» вечер, чтобы собрать Мозжухину деньги на лечение и переслать их в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал «Аркадии» был переполнен. В разгар бала, в час ночи, из редакции газеты нам сообщили, что Мозжухин скончался.

Продолжать программу я уже не мог. Меня душили слезы…

Умирал Иван в Нейи, в Париже. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников не было возле него. Пришли на похороны только цыгане, бродячие русские цыгане, певшие на

Монпарнасе.

С Фёдором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Это понятно. Во времена его блистательного расцвета я был ещё юношей, а когда стал актёром, то встретиться не пришлось. Да кроме того, все моё пребывание на российской сцене продолжалось меньше трёх лет.

В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна. На бульварах цвели каштаны, на Пляс-де-ля-Конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие и весёлые цветочницы предлагали букетики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуары и террасы кафе. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледновато-голубым светом. Сиреневатое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе.

Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в неё. Англия, например, пахнет дымом, каменным углём и лавандой, Америка — газолином и жжёной резиной, Германия — сигарами и пивом, Испания — чесноком и розами, Япония — копчёной рыбой. Запах этот запоминается навсегда, и, когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь её запах. И только наша родина, необъятная и далёкая, оставила на всю жизнь тысячи ароматов своих лугов, полей, лесов и степей…

Итак, Париж пах духами.

Я сидел на террасе парижского кафе Фукье и любовался городом. Он был необыкновенно красив в эти предвечерние часы, когда электричество ещё не победило свет уходящего дня.

Толпа шумела за столиками. Неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человек в светло-сером костюме. Он шёл по тротуару, направляясь к кафе. Толпа сразу узнала его.

— Шаляпин! Шаляпин! — пронеслось по столикам.

Я оглянулся. Он стоял на фоне заката — огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на две головы выше толпы, и, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили — всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости за него. «Только Россия может создавать таких колоссов, — подумал я. — Сразу видно, что вошёл наш, русский артист! У французов — таких нет. Он — точно памятник самому себе…»

Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить с ним. Я выждал время, подошёл, представился, и с того дня, почти до самой его смерти, мы с Фёдором Ивановичем были друзьями.

Выступления Шаляпина в Париже обставлялись оперной

дирекцией Церетелли с небывалой роскошью.

Первым шёл «Борис Годунов».

Как пел Шаляпин! Как страшен и жалок был он в сцене с призраком убитого царевича! Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова: «Скорбит душа!..» И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть, слышать. Он умирал, мятежный, все ещё страшный, все ещё великолепный, как смертельно раненный зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова…

Для меня лично опера немыслима без Шаляпина.

На авеню д'Эйла у Федора Ивановича был собственный дом. Три этажа квартир сдавались, а на четвёртом жил он сам.

Шаляпин очень гордился своим домом, хотя дохода он никакого не давал. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет в шубе нараспашку, в меховой шапке — работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля уже ждал накрытый стол, множество холодных блюд, вина, коньяки. Неизменно Федор Иванович угощал нас салатом с диковинным названием «рататуй». Что значило это слово, никто не знал. Он любил волжско-камские словечки. Кроме вина и коньяка, он ничего не пил. Поэтому и то и другое у него было в большом количестве и самых редких сортов. Он любил угощать знатоков. Особыми знатоками мы с Иваном Мозжухиным, конечно, не были, но притворялись знатоками довольно удачно.

Его сыновья Борис и Федор редко сидели с нами. Борис был художником и работал много и упорно в своей мастерской, а Федор увлекался кино и мечтал о Голливуде, куда впоследствии и направился. Дочери уже повыходили замуж и жили отдельно, и только Дася, самая младшая, жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца.

Шаляпин любил семью и ничего не жалел для неё. А семья была немалая — десять человек детей. Он работал для семьи. Три раза он зарабатывал себе состояние. Первый раз в царской России — это все осталось там после его отъезда. Второй раз за границей. Объездив весь мир, получая большие гонорары, он был уже почти у цели.

— Ещё год-два попою и брошу! — говорил он мне.

Во имя этой идеи он работал, не щадя своих сил. Гонорары его в то время были очень велики. Как-то, возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам один забавный эпизод, происшедший с ним, кажется, в Чикаго.

Один из местных миллионеров давал большой приём у себя в саду. Желая доставить своим гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене.

Шаляпин спросил с него десять тысяч долларов за выступление. Миллионера возмутила эта цифра. Десять тысяч за два-три романса!

Это было поистине сказочно много! И вот, чтобы сохранить лицо и чтобы задеть Шаляпина, он сказал:

— Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае я не могу пригласить вас к себе в дом наравне с остальными гостями. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за нашим столом. Вы будете петь в саду, в кустах!

Шаляпин рассмеялся и согласился.

В назначенный вечер он нарочно приехал в самом скромном и старом своём костюме («Все равно меня никто не увидит») и пел как ни в чем не бывало. Гости, бросив накрытый стол, кинулись в сад и, окружив в кустах Шаляпина, выражали ему свой восторг. Миллионер был посрамлён. А деньги Федор Иванович получил вперёд.

Иногда он начинал мечтать вслух:

— Вот землицу я купил в Тироле. Хорошо… Климат чудесный. Лес, горы, снег, на Россию похоже. Построю дом с колоннами и баню… обязательно баню. Распарюсь — и в снег… А снегу там много… Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет… А ты знаешь, как я назову его — «Барбар-бар»… по-русски выходит «варварский бар». Пить с утра будем! Как скифы!

У него была вилла в Сен-Жан-де-Люс, на юге Франции. Но он не любил её. Шаляпина тянуло к родным берегам Волги, и он искал в Европе место, которое по своему виду и климату напоминало бы ему Россию.

Все почти свои деньги, сделанные им за границей, он держал в американских бумагах. Состояние его было огромно. Но в один прекрасный день, очень памятный для многих, случился крах. Это была знаменитая «чёрная пятница» на нью-йоркской бирже. В этот день многие из миллионеров стали нищими. Почти все потерял и Шаляпин. Пришлось сызнова составлять состояние, чтобы обеспечить семью.

В третий раз начал Федор Иванович упорно работать. Но годы брали своё. Он устал. Сборы были уже не те. Гонорары сократились. Он уже пел подряд, город за городом. И не выбирал места своих гастролей.

Только этим и объяснялся его приезд в Шанхай и Харбин. Это

третье состояние едва ли было большим, и начал он его делать поздно.

Однажды мы сидели с ним в Праге, в кабачке у Куманова, после его концерта. С нами было несколько журналистов и друзей. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать на скатерти. Рисовал он довольно хорошо. Когда ужин кончился и мы расплатились, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, что это Шаляпин, она набросилась на Федора Ивановича, крича:

— Вы испортили мне скатерть! Заплатите за неё десять крон!

Шаляпин подумал.

— Хорошо, — сказал он, — я заплачу десять крон, но скатерть возьму с собой!

Хозяйка принесла скатерть и получила деньги, но, пока мы ждали машину, ей уже объяснили, в чем дело.

— Дура, — сказал ей один из её приятелей, — ты бы вставила эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин. И все бы ходили к тебе и смотрели.

Хозяйка вернулась к нам и протянула с извинением десять крон, прося вернуть скатерть обратно.

Шаляпин покачал головой.

— Простите, мадам, — сказал он, — скатерть моя. Я купил её у вас. А теперь, если вам угодно её получить обратно… пятьдесят крон!

Хозяйка безмолвно заплатила деньги.

Без преувеличения можно сказать — ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, как Шаляпин. Все склонялись перед ним. Его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю свою жизнь, уже в самом конце её, за год или два до смерти, в Шанхае, он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать, — в человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы, той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покорённая им…

В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местная богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты: «Привет Шаляпину».

Журналисты окружили его целым роем. Аппараты щёлкали безостановочно. Какие-то люди снимались у его ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока, владельцы водочных заводов — целые ведра водки. Длиннейшие интервью с ним заполняли страницы местных

газет…

Он приехал с женой, с дочерью, с менеджером, пианистом и секретарём. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих. Даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки…

Приехал Федор Иванович больным и сильно переутомлённым, как и всякий артист в конце своей карьеры. Естественно, что это был не тот Шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был Шаляпин!

Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи, они принесли с собой в театр вату — затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг — разочарование!

— Поёт самым спокойным голосом, даже иногда тихо…

— И за что только такие деньги берут?!

— А сборы какие!

Роптали, но повышать голос боялись. Неудобно. Ещё за дураков посчитают.

У местных благотворителей разыгрывался аппетит. Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал…

Артист, подписавший договор с антрепренёром, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренёра? А пароходные билеты из Америки на шесть человек? А отели, а реклама театра, а все остальное? Но это никого не интересовало. Нужно было «рвануть сумму», а такой случай не часто бывает.

Вот тут-то и началось.

Верноподданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушаты помоев выливались ежедневно на его седеющую голову.

Около театра, на улице, прохожим раздавали летучки с заголовками:

> «Русские люди!
> Шаляпин — враг эмиграции!
> Ни одного человека на его концерт!
> Бойкотируйте Шаляпина!
> Ни одного цента Шаляпину!»

Не знаю, читал ли эту летучку Федор Иванович, но на другой день он уехал.

Так вымазал дёгтем его подножие «русский» Шанхай… За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в «Катей-отеле». Была ранняя весна. В открытые окна с Вампу тянуло

тёплым, ласковым ветерком. Было часов семь вечера. Кое-где на Банде уже зажигались огни. Шаляпин был болен. Он хрипло кашлял и кутал горло в тёплый шерстяной шарф. Своим обликом, позой он был похож на умирающего льва. Острая жалость к нему и боль пронзили моё сердце. Слезы неожиданно брызнули из моих глаз. Будто чувствуя, что больше никогда его не увижу, я опустился около его кресла и поцеловал ему руку…

Париж — город заветных желаний очень многих, как Голливуд — мечта будущих актрис и актёров. Поэтому сюда со всех концов мира съезжались художники и артисты в надежде сделать карьеру или учиться. Но только очень немногие обращали на себя внимание публики. Париж трудно удивить чем-нибудь.

Русских художников в Париже было не так много. Были Константин Коровин, Борис Григорьев, Василий Шухаев, Александр Яковлев, приезжали Бенуа, Судейкин и Сомов. Очень большое внимание обращал на себя молодой художник-декоратор Борис Билинский. Григорьев выпустил книгу гравюр под названием «Расея». Эта монография имела большой успех. В ней он мастерски изобразил иконописные древние лица русских стариков и старух, богомольцев, нищих и странников.

Александр Яковлев был приглашён дирекцией знаменитой автомобильной фирмы «Ситроен», организовавшей экспедицию-пробег в Африку. Его путевые альбомы и зарисовки показывали потом на выставке экспедиции, устроенной фирмой в Париже. Александр Бенуа оформил несколько балетных и оперных постановок. Константин Коровин — тоже.

И на Монмартре и на Монпарнасе во многих русских кабачках пели цыгане. Пела знаменитая в своё время в России Настя Полякова, обладательница чудесного густого контральто, настоящий «цыганский соловей», похожая по манере пения на покойную Варю Панину, пели Нюра Масальская, Давыдова и другие. На Монпарнасе пели цыгане — тоже русские — Димитриевичи. Пели они слабо, но зато плясали необыкновенно. Их хор одно время восхищал парижан, самые большие парижские газеты посвящали им целые статьи.

Табор Димитриевичей попал во Францию из Испании. Приехали они в огромном фургоне, оборудованном по последнему слову техники, с автомобильной тягой. Фургон они получили от директора какого-то бродячего цирка в счёт уплаты долга, так как цирк прогорел и директор чуть ли не целый год не платил им жалованья.

Их было человек тридцать. Отец, глава семьи, человек лет шестидесяти, старый лудильщик самоваров, был, так сказать,

монархом. Все деньги, зарабатываемые семьёй, забирал он. Семья состояла из четырёх его сыновей с жёнами и детьми и четырёх молодых дочек. Попали они вначале в «Эрмитаж», где я работал. Сразу почувствовав во мне «цыганофила», Димитриевичи очень подружились со мной. Из «Эрмитажа» они попали на Монпарнас, где и утвердились окончательно в кабачке «Золотая рыбка».

Иван Мозжухин любил цыган не меньше меня и очень скоро также сделался другом этой семьи.

Однажды цыгане попросили Ивана быть крёстным отцом. Иван согласился. Был приглашён и я.

На другой день часов в пять вечера мы приехали в церковь на Рю Дарю. Была зима. Церковь стояла нетопленой и пустой. Десяток восковых свечей освещал тёмные лики угодников. Дьячок хрипло кашлял в алтаре, прочищая голос. Цыгане пошли торговаться со священником, а мы с Иваном переминались с ноги на ногу, озябшие, плохо выспавшиеся.

Иван злился. Он не любил семейных праздников. Отказаться ему было неловко, но настроение у него было сильно испорчено. К тому же, пока разыскивали магазин, где можно было купить крестильную рубашечку и крест, мы окончательно замёрзли.

Около нас крутился мальчишка-подросток лет четырнадцати.

— А где же ребёнок? Кого крестить? — мрачно спросил Иван.

Подросток взглянул исподлобья и нехотя процедил:

— Я ребёнок! Меня и крестить!

Иван сразу развеселился.

— Водку пьёшь? — неожиданно спросил он.

— Пью!..

Мы взяли «ребёнка» за руку и пошли напротив, в ресторанчик «Петроград». Там нам налили три большие рюмки и дали пирожков. Подкрепившись, мы вернулись в церковь. Все было готово к обряду. Посреди церкви стояла купель, окружённая горящими свечами.

— Раздевайся! — приказал отец.

«Ребёнок» нахмурился.

— Не полезу я в неё! — твёрдо заявил он. — Холодно!

Никакие доводы, увещевания и подзатыльники не помогли. Пришлось ограничиться окроплением головы и помазанием.

— А как же рубашечка? — ехидно спросил я Ивана.

— Останется для моих будущих детей! — серьёзно ответил он и спрятал её в карман.

Крестник, получив крест, долго его рассматривал, будто не веря, что он золотой. Для большей достоверности он даже попробовал его на зуб.

После крестин мы сели в машины и поехали к цыганам. Они

жили за городом, снимая старый особняк где-то в лесу. На втором этаже в большой столовой был накрыт огромный стол, ломившийся от яств и напитков. Приглашённых было множество. Цыгане по широте души позвали всех знакомых. Тут были и музыканты, и художники, и журналисты.

Старый папаша, как патриарх, с седой бородой, сидел во главе стола в ещё довоенном русском армяке, увешанном какими-то экзотическими медалями, скупленными по случаю…

Приблизительно в то же время в Париже произошло событие, сильно взволновавшее всю русскую колонию, особенно украинцев. Тремя выстрелами из револьвера был убит на улице небезызвестный в своё время украинский атаман Симон Петлюра. Бежавший от народной расправы, он поселился в Париже, где и доживал свои дни, меняя золотые «карбованцы», награбленные во время своего лихого атаманства.

За неимением «вождей» немногочисленная украинская колония поддерживала его. Изредка в газетах мелькали небольшие заметки о том, что «атаман Петлюра прочтёт доклад о несчастном украинском народе, страдающем от ига большевиков» и столь пышно процветавшем под его владычеством.

На эти доклады собиралась кучка «щирых самостийников» — человек тридцать, в вышитых крестиком сорочках, с усами а ля Тарас Бульба. Прослушав «батькин доклад», они усаживались тут же пить горилку, которую им, впрочем, с успехом заменял в изгнании французский кальвадос.

«Батько» садился с ними вместе и напивался до бесчувствия, закусывая «басурманскую» горилку солёным огурцом и сладкими воспоминаниями…

Выстрелы прозвучали неожиданно. Чувствуя себя в полной безопасности во Франции, «батько» свободно гулял по Парижу.

Убил его маленький тщедушный портной или часовщик не то из Винницы, не то из Бердичева — некий Шварцбард. Встретил на улице, узнал и убил. Судили его с присяжными. Надежд на оправдание, конечно, не было никаких, потому что французский суд оправдывает только за убийство по любви или из ревности. Однако на суде появилось много добровольных свидетелей этого маленького человека, которые развернули перед судьями такую картину зверств атамана на Украине, что французские судьи заколебались. Кто только не прошёл перед глазами судей! Тут были люди, у которых Петлюра расстрелял отцов, матерей, изнасиловал дочерей, бросал в огонь младенцев…

Последней свидетельницей была женщина.

— Вы спрашиваете меня, что сделал мне этот человек? — заливаясь слезами, сказала она. — Вот!.. — Она разорвала на себе

блузку, и французские судьи увидели — обе её груди были отрезаны.

Шварцбард был оправдан.

Мои цыгане тоже были свидетелями. Они кричали на суде и били себя в грудь, рассказывая о замученных двух братьях, об отнятых конях, о сожжённых родственниках. Их гнев был страшен. Девчонки рыдали, вспоминая то, что они видели ещё детьми. Братья показывали красные рубцы — следы пыток. Их еле увели из зала суда.

Последним годом моего пребывания во Франции был 1933-й. Это был год больших крахов. Кабинеты министров летели один за другим. Целый ряд видных лиц, начиная от общественных деятелей и финансистов и кончая министрами, попали в скандальные истории.

Беспримерные по изощрённости и садизму убийства совершались чуть не ежедневно. В знаменитом Булонском лесу находили изуродованные трупы людей, то изрезанных на куски, то облитых бензином и сожжённых. Не успевало утихнуть возбуждение публики от одного убийства, как другие, ещё более ужасные и извращённые, заменяли его на страницах газет. Париж волновался и негодовал.

Только что затих шум от убийства директора Мулен Ружа Вольтера, совершённого на сексуальной почве. Убийцу «не нашли». Но имя его было известно всем. Дело было замазано. На смену этому убийству пришло новое: в Булонском лесу был найден новый труп. Банкир Местерино убил артельщика банка, пришедшего получать с него по векселям 500 тысяч. Векселя исчезли, труп, разрезанный на куски, находили по частям то в Булонском лесу, то в Фонтенбло. Ювелир Лансель убил любовника своей жены. Семнадцатилетняя Виолет Нозьер, отравившая отца, получила в тюрьме несколько тысяч писем с предложениями руки и сердца. Русский официант застрелил содержателя своей жены адвоката Домбровского…

На женщин тратились безумные деньги. Целые состояния швырялись к их ногам. Конкуренция между ними достигла небывалых размеров. Если одна делала для своего «Роллс Ройса» серебряный капот, то другая делала его из платины. Только одна левая рука моей приятельницы, фильмовой актрисы Р., была застрахована на несколько миллионов франков, потому что от плеча до кисти была покрыта бриллиантовыми браслетами огромной цены. Женщины красили волосы в рыжие, красные, зеленые цвета, ногти окрашивали золотом, серебром или в чёрные, белые, розовые тона. Парижские портнихи Шанель, Лянвен, Молине ездили в Африку, в Тимбукту, на Гонолулу, в

Индию набираться красок и впечатлений и, вернувшись, доводили моду до абсурда. Платья были то полуголыми, яркими и кричащими, то закрытыми, мистическими и строгими, в зависимости от того, каких впечатлений набралась его создательница.

Морис Декобра писал экзотические романы из жизни маньяков, миллионеров и принцев. За романы платили сотни тысяч. Где-то в Париже у него был дом, построенный по его вкусу. Одна комната представляла из себя спальный вагон, другая — кабину океанского парохода. Иначе он не мог «творить», вдохновение не приходило к нему.

Знаменитый парикмахер Антуан — король дамских причёсок, создатель всех «бубикопфов» и прочих волосяных мод — спал в хрустальном гробу, как Белоснежка, чтобы «острее чувствовать». На прогулках в Булонском лесу он показывался с двумя борзыми собаками, волнистую шерсть которых он окрашивал каждую неделю то в розовый, то в жемчужный, то в бледно-голубой цвет.

Русский миллионер Леон Манташев, бывший нефтяной король, договорился с английским королём нефти сэром Генри Детердингом о «компенсации» ему, как бывшему собственнику нефтяных участков на Кавказе, за нефть, купленную Детердингом у Советского правительства. Только пять процентов общей суммы, выданные ему авансом, составляли несколько десятков миллионов. Манташев жил широко, славился своими кутежами на весь Париж. Его конюшни были одними из лучших во Франции, и его лошади брали первые места на дерби.

Кроме Манташева, был ещё целый ряд «королей» помельче, которые тоже получали от Детердинга миллионные субсидии за «свою нефть» на Кавказе. Знаменитый Тапа Чермоев проживал около десяти миллионов в год и содержал целую свору племянников, которые очень «шумели» в Париже своими похождениями.

Как-то в доме у Браиловских я познакомился с французским сенатором Клоцем. Очень светский, чопорный старичок произвёл на меня самое отрадное впечатление. В течение всего обеда я беседовал с ним о Советской России, доказывая ему преимущества и силу новой, советской морали перед старой, догнивающей моралью Запада.

Старичок иронически улыбался и отвечал мне так, как отвечают детям, задающим наивные вопросы, очень занятые люди. Через несколько месяцев очаровательный старичок сел в тюрьму за подделку векселей. Его погубила любовница — молодая девчонка, к которой он воспылал поздней страстью.

Скандал был на всю страну. Его жена и взрослые дети

вынуждены были уехать из Франции. Сам он вскоре не то застрелился, не то повесился.

Последним кабинетом министров в это время был кабинет Шотана. Вокруг всесильных «львиц» группировались финансисты, политики, тёмные дельцы, авантюристы. Знаменитая Марта Анно, директриса банка мелких вкладчиков, только что ограбила целый класс населения, объявив себя банкротом. Её клиентами были мелкие служащие, «ля пти буржуа», рабочие. Сев в тюрьму, она оттуда ещё грозила правительству разоблачениями и вскоре была выпущена по просьбе некоторых своих клиентов, слепо веривших в её «гениальность», и под нажимом тех влиятельных лиц, у которых рыльце было в пуху.

Коммунистические газеты и листовки клеймили целый ряд министров и депутатов, доказывая, что они продажны, что они держат половину своих капиталов в Германии и т. д.Огромные толпы собирались у заборов, читая их. Народ кипел от негодования. В густой массе беженцев из Германии, изгнанных Гитлером, незаметно уже была «импортирована» знаменитая «пятая колонна». И работала вовсю. То в палате депутатов, то в сенате ежедневно вспыхивали скандалы. Атмосфера была накалена до крайности.

Как-то в «Казанове» мне пришлось познакомиться с элегантным седеющим джентльменом, приехавшим выпить бутылку вина со своей дамой. Дама была знаменитой опереточной актрисой Ритой Георг, с которой я был знаком по Вене. Джентльмен оказался также весьма известным дельцом Александром Стависским. Говорили о его сказочном состоянии, о его крупной игре в Монте-Карло, о том, что он «работает» с самыми большими людьми в правительстве. Среднего роста, немолодой, он имел те подчёркнуто прекрасные манеры, которыми отличаются очень опытные светские шулера и авантюристы. Его красавица жена совсем недавно взяла первый приз за самый красивый экипаж на карнавале в Ницце.

Рита Георг познакомила меня с ним. Он немного говорил по-русски, потому что, очевидно, был выходцем из Польши. Наша беседа касалась исключительно театра. Стависский «субсидировал» гастроли Риты Георг в парижской оперетте. Он выказал себя большим знатоком театрального искусства и говорил, что, как только освободится от «дел», обязательно выстроит в Париже театр для иностранных артистов.

Через месяц нарыв лопнул. Раскрылась величайшая афера с ломбардами. Войдя в контакт с дирекцией нескольких из них, он закладывал простые стекла под видом изумрудов и бриллиантов. За эти стекляшки ему выдавали миллионные ссуды. В этом деле

был замешан ряд таких высокопоставленных лиц, что доводить это дело до суда было невозможно. Стависский бежал. Агенты Сюрте-Женераль поймали его где-то на границе и предложили ему покончить с собой. Он застрелился.

Газеты подняли шум. Наэлектризованная толпа высыпала на улицы. Стали раздаваться речи с призывом к низвержению власти, по Пляс-де-ля-Конкорд толпа двинулась к Палате депутатов, стали опрокидывать автобусы и трамваи. Начиналась революция. На некоторых бульварах уже строили баррикады. Весь Париж вышел на улицу.

Не надеясь больше на декоративных «гард мобиль» — жандармов в медных касках с конскими хвостами, Палата потребовала броневики. Это было беспримерно! Народные депутаты под защитой броневиков! Префекту Кьяппу было поручено подавить восстание. Он подавил его весьма круто и безжалостно: было много убитых и раненых. Париж долго не мог успокоиться.

Палестина

Огромный французский пароход «Теофиль Готье» увозил меня из Марселя. У меня имелся ангажемент на ряд концертов в Палестине.

Был самый жаркий месяц лета — июль, и Средиземное море было тихим и ровным, как озеро. Мы миновали уже Корсику и Сардинию и подходили к Александрии. На пристани наш пароход облепили арабы в белых костюмах и красных фесках, они шумели и кричали на своём гортанном языке как-то особенно яростно и исступлённо, как будто случилось какое-то несчастье или все они перессорились между собой.

Солнце жгло нестерпимо. Надо было купить пробковый шлем, иначе можно получить солнечный удар. Я взял проводника и поехал в город.

Александрия, со своими ослепительно белыми домами, сотнями минаретов и массой зелени, очень красива. Я люблю Восток — он ярче и красочнее Запада и больше радует глаз. Оттуда медленнее исчезает быт, и ещё можно помечтать о сказках детства, глядя на его сахарные города. Зеленые верхушки пальм, красные фески, много белого — все это так напоминало мне Турцию, к которой я был неравнодушен. Такие же шумные пёстрые базары, такие же примитивные кафе прямо на тротуарах, лавки ковров, ярких, много цветных и нежно-пастельных, бледно-розовых с серым, бледно-голубых. Такие же мудрые бородатые старики в зелёных тюрбанах, с сухими строгими лицами. Только цвет кожи другой, чем у турок.

По базарам бегали голые по пояс толстые евнухи, предлагая всякий мелкий товар, вроде ножей, подтяжек, металлических портсигаров или янтарных мундштуков и бус. Иногда, впрочем, это были лотерейные билеты. О евнухах я читал только в сказках и был потрясён видом этих толстых женщин-мужчин.

В магазинах сидели необычайно спокойные и ленивые арабы и совсем не спешили торговать.

В одном из магазинов мне понравились чётки. Они висели довольно высоко, на третьей полке.

— Покажи мне эту нитку! — сказал я хозяину через проводника.

Хозяин поднял глаза вверх и, пробормотав что-то, продолжал курить кальян.

— Что он сказал? — спросил я проводника.

— Он сказал: «Если тебе нравится эта вещь, полезай сам на лестницу и достань её».

Это было совсем не похоже на Европу. Там приказчик сам закидывает вас товаром, предлагая купить.

Пришлось лезть самому. Чётки стоили очень дорого. Поторговавшись с ним, я решил их не покупать, твёрдо остановившись на предложенной ему цене. Но араб стоял на своём.

«Ну что ж, не надо!» — подумал я и, положив нитку на прилавок, повернулся, чтобы уйти.

Несколько фраз, брошенных мне вслед, заставили меня обернуться.

— Что он сказал? — спросил я проводника.

— Он сказал, чтобы ты полез на лестницу и повесил вещь туда, откуда ты её взял!

Я рассмеялся и кротко исполнил приказание.

«Какая восхитительная лень! — думал я. — Вот уж они никуда не торопятся. Не то что у нас в сумасшедшей Европе, где, если на секунду зазеваешься, переходя улицу, тебя переедет автомобиль или автобус. Здесь совсем другие темпы».

Потом я был в музее, где в великолепных саркофагах спят тысячи лет блистательные фараоны Египта. Забинтованные в какие-то особые ткани, они разрисованы поверх этих бинтов и забальзамированы таинственными способами, секрет которых никому не известен. И все же от времени их мумии ссохлись и уменьшились до размеров людей маленького роста. Иногда их хоронили по двое в одном гробу. Через тысячи лет трогательно читать, что вот эти мужчина и женщина любили друг друга и ни один из них не хотел пережить другого. Тысячи лет они проспали вместе. Беспокойные, любознательные люди нарушили их священный покой.

Огромные залы музея были заставлены витринами под стеклом, в которых были выставлены золотые и серебряные вещи, найденные в этих могилах. Какое благородство рисунка! Какая тонкость работы, какая ажурность!

Художники французских и английских ювелиров приезжают в Александрию копировать эти вещи для мирового рынка.

Египет, конечно, колыбель искусств. После него позднейшее искусство Рима кажется лубочным и, хотя оно вышло целиком из египетского, гораздо грубее, пестрее и проще его.

В музее были устроены целые жилища древних египтян, восстановленные целиком в подлинном своём виде, в каком их нашли.

Если долго бродить по этим залам и рассматривать все это, делается грустно. Думаешь об ушедших веках, о бренности всего земного, о том, что вещи переживают людей — своих хозяев. И

когда выходишь на свет ослепительного летнего солнца, кажется, что ты проспал много лет в другом мире и теперь, к сожалению, проснулся.

Пароход стоял до утра. Под конец меня поразил мой проводник. Вечером, когда мы сидели в маленьком кафе и ели чудесный плов из молодого барашка, он, пристально посмотрев на меня, вдруг неожиданно сказал:

— А я тебя знаю, господин! Ты меня не помнишь?

— Нет!

— Мустафа помнишь? Сторожем служил в театре в Одессе. Ты один раз приехал… Пел в такой чёрный бурнус (костюм Пьеро). Большой публика был, а? Не помнишь?

Как я ни напрягал свою память, припомнить его не мог. Столько лет, столько концертов, столько разных людей!..

— Ты мне тогда свои штаны подарил. Не помнишь? Хорошие были штаны. Крепкие! Мустафа их долго носил. Потом одна грека у меня украл, — вздыхая, закончил он.

Какие-то обрывки воспоминаний туманно мелькали у меня в голове, но ясно я не мог ничего вспомнить. Чтобы не огорчать его, я сделал вид, что все помню. Очевидно, это было так, потому что, помолчав немного, он вдруг спросил:

— А Вера Холодный помнишь? Большой красавица был, в наш театр к тебе приходил. Он потом умирал! Я его ходил провожай в могила!

Несомненно, он служил при одесском театре.

Мы долго бродили с ним по городу, вспоминая Россию. Меня трогало то, что говорил он о моей родине с глубокой нежностью и грустью. Он любил Россию. «Да… это уж так, — думал я. — Тот, кто когда-нибудь жил в России, её никогда не забудет!» О своей жизни здесь он говорил неохотно. Ему не нравилось его отечество.

— Тут люди другой, — вздыхая, говорил он. — Русский люди — честный люди, а здесь… — Он махнул рукой. — Жулики много! — неожиданно закончил он.

Расставаясь, я дал ему египетский фунт. Но он не взял его.

— Ты русский человек, — сказал он, — ты мне тогда штаны подарил… я бедный был… Не хочу. Не надо. — Он задумался. — В Россию вернёшься — поклон передай ей, скажи: от Мустафа!.. Низкий поклон! — Он поклонился до пояса.

Все уговоры мои были напрасны.

В Бейруте, как и почти всюду, где я проезжал, меня встречали местные директора «Колумбии». Пароход стоял тут 24 часа, и я, конечно, не преминул посмотреть город.

Мы сели в машину и поехали. Особенно интересного в нем

ничего не было. Как и все восточные города, он шумен и грязен. Александрия, в которой хозяйничали англичане, была гораздо чище. Покрутившись по извилистым и крутым улицам, мы поднялись на гору. Бейрут стоит на горе, и на самом верху его большое арабское кафе, откуда мы могли видеть далеко вокруг Средиземное море.

Был необыкновенный вечер, закат солнца большой и торжественный, как какой-то божественный праздник. Таких красок, такого великолепия я никогда не видел. Может быть, только первые люди — Адамы, Каины и Авели — видели такие закаты в дни первоздания. Я не мог оторваться от этой красоты, подавленный размахом этой кисти и смелостью этих красок.

На другое утро пароход уже подходил к Яффе.

В самую Яффу пароход не входит: в ней нет порта. В этой местности море изобилует скалами, подводными рифами и камнями. Конечно, все это можно расчистить и взорвать, но устройство порта стоило бы миллионы фунтов, а денег на это нет. Поэтому мы остановились в море и на больших лодках-баржах поплыли в Яффу вместе с багажом.

Город разделен на две части: европейскую — Тель-Авив и арабскую — Яффу.

Тель-Авив — маленький, скромный, довольно чистенький провинциальный городок, построенный руками пионеров, наехавших сюда со всех концов света.

Палестина очень мала и не может вместить многих. Арабы считают её своей землёй и ни за что не хотят отказаться от неё. Кроме этого, развитию Палестины мешают разного рода причины, которых немало. Прежде всего, Палестину губит благотворительность, которая делает из живой и самодеятельной страны что-то вроде инвалида, живущего на общественном попечении. Затем — отдалённость её от других стран и отсутствие портов. Это мешает её нормальному общению с остальным миром. А вечный антагонизм между еврейским и арабским населением, искусно разжигаемый и поддерживаемый заинтересованными иностранными кругами, тормозит её торговлю и естественный рост.

Существует ещё целый ряд обстоятельств. Палестину строила молодёжь. В большинстве это люди интеллигентных профессий — врачи, адвокаты, архитекторы, студенты. Увлечённые идеей иметь своё собственное отечество, они, приехав в страну, горячо взялись за работу. Не покладая рук, строили дороги, дома, возделывали землю, все создавали сами, не брезгуя никакой чёрной работой. Так был построен Тель-Авив, так были созданы и другие города и колонии.

Старики же смотрели на Палестину иначе. Они видели в ней только Святую Землю, землю предков, на которую они приезжали умирать. У знаменитой «Стены Плача», накрывшись покрывалами и раздирая на себе одежду, дряхлые миллионеры перед смертью замаливали свои грехи. Палестина была как бы кладбищем или преддверием тьмы.

Поэтому между стариками и молодёжью шла глухая борьба. Это борьба Дня и Ночи, Света и Мрака. Эта борьба также мешала развитию страны.

В Палестине запрещено говорить на жаргоне. Говорят там или на древнееврейском, или на русском языке.

Древнееврейский язык очень красив и звучен. Когда слышишь его, чувствуешь всю пламенность, всю горячность этой тысячелетней расы.

Иногда из пустыни в Тель-Авив приезжают на верблюдах евреи какого-то особого племени — смуглые, как арабы, с жгучими глазами и гордыми линиями профиля. Из маленьких шатров на горбах верблюдов мелькают лица библейских женщин, прикрытые до глаз чем-то вроде чадры. Так, вероятно, выглядели Рахиль или Лия, которую любил Иаков. Им запрещено даже разговаривать с посторонними людьми. Приезжают они в город за покупками с утра, а к закату солнца, плавно покачиваясь, караван уходит обратно в пустыню.

Это племя каким-то чудом осталось в пустыне и живёт, не смешиваясь с остальными евреями.

Местные жители принимали меня очень тепло, так как подавляющее большинство эмигрировало в Палестину из России и у всех сохранилась нежность и любовь ко всему русскому.

Однажды вечером директор «Колумбии» предложил мне посмотреть Яффу — арабскую часть города. Она мало отличалась от Бейрута. Те же дома с плоскими крышами, те же грязные улицы, тот же вечный базар. На маленьких осликах, волоча ноги по земле, проезжают трусцой задумчивые люди в красных фесках. О чем мечтают они?

Когда-то эта земля принадлежала им. Но они продали её за хорошие деньги. Получив их, они купили себе европейские одежды и стали пить свою знаменитую «мастику» — анисовую водку — в маленьких экзотических кафе и слушать заунывную музыку бродячих оркестров. Пили до тех пор, пока не пропили все. Оставшись без земли и без денег, они стали понимать, что сделали глупость.

Раньше такой араб лежал целый день на горячей земле под сенью оливы, которую он даже не сажал, она росла сама по себе. С оливкового дерева на землю падали зрелые плоды. Он брал

мягкую, как блин, хлебную лепёшку, испечённую женой, заворачивал в неё оливу и отправлял в рот. Ел прямо с косточкой. Больше ему ничего не надо было, ибо это была его природная и любимая пища. А продав землю, он остался без пищи и без крова. Отсюда и пошёл антагонизм, недовольство евреями.

Земля в Палестине на вес золота. Вероятно, нигде в мире она не стоит так дорого, как там. Купивши землю, усаживают её апельсиновыми деревьями, которые через несколько лет дают огромный урожай знаменитых яффских апельсинов, самых крупных и самых вкусных в мире. Весь этот урожай экспортируется в Англию. Он скуплен на корню и даже не поступает в продажу или местное пользование. Проживая там два месяца, я даже не видел этих изумительных фруктов.

Итак, вечером мы с моим директором сидели в большом, довольно грязном арабском кафе. Он решил показать мне знаменитый танец живота, который так популярен в восточных странах.

Разукрашенный цветными фонариками зал шумел и кричал. Арабы говорят очень темпераментно, когда выпьют немного. Любые их разговоры кажутся постороннему наблюдателю скандалом. Мы заказали себе «мастику» и «долма» — что-то вроде маленьких голубцов из риса, завёрнутого в виноградные листья. Потом маслины и сыр. Струнный оркестр из затейливых восточных инструментов звучно и протяжно играл какую-то бесконечную мелодию с мерным постукиванием и звоном литавр и барабанов.

На сцену вышла очень толстая женщина, напоминавшая собой забинтованную бочку, и затянула песню на одной ноте. Живот её был голый. Она покачивала бёдрами и очень лениво раскачивала свой непомерно большой таз, точно большой маятник, который сразу не раскачаешь. Потоптавшись минут пятнадцать, она ушла. Ей аплодировали.

После неё вышла другая, ещё более толстая, похожая на цирковую лошадь, которой специально массируют зад для того, чтобы на ней эквилибристы-наездники могли свободней делать свои упражнения на ходу. Эта выла минут двадцать. Танцевала она ещё медленнее и ушла при более громких аплодисментах.

Наконец вышла третья, самая главная. У меня закружилась голова. Она была похожа на слона. Живот её напоминал вывалившееся тесто, а зад её был необозрим. Она еле двигалась от жира. Арабы аплодировали как сумасшедшие, вскакивая со своих мест.

— Это местная звезда! — сказал мне директор. — Кстати, я могу вас с ней познакомить. То, что она поёт, записано у нас на

пластинках. Она ваша коллега. Тоже «стар» Колумбии. Их специально откармливают и выращивают для этого танца, как индюшек к празднику. Их массируют особыми способами, чтобы округлить их формы.

Директор почтительно аплодировал ей по окончании танца. Я испуганно отказался от знакомства.

В Хайфу я попал на концерт вечером и вечером же уехал, не успев осмотреть её как следует. Зато в Иерусалиме я задержался на несколько дней. Концерт мой был в саду, и семь тысяч иерусалимцев радушно принимали мои песни. После концерта я остался осмотреть город.

Когда-то он был местом паломничества христиан со всего мира. Теперь там никого не было. Дороговизна билетов, трудности с получением визы — о поездке туда нечего и думать.

Раньше большинство паломников ехало из России, поэтому здесь даже арабы говорят по-русски. Многие из них были гидами и работали с богомольцами.

На месте страданий Христа построен огромный храм, который куполом как бы накрывает места, где его распяли, где он был похоронен и где воскрес. Тут и Голгофа, и Пещера Воскресения, и Крёстный Путь. Двадцать религий имеют здесь свои храмы. Католики, русские, греки, армяне… Все увешано лампадами, но зажжённых немного. Притока верующих почти нет, и храмы пустуют.

После концерта со мной познакомился человек, который имел там свою автомобильную контору. Он был русским и православным, и именно он взялся показать мне все святыни храмов Гроба Господня, а потом пригласил меня обедать к себе домой.

Каково же было моё изумление, когда, войдя, я увидел на стене его кабинета… огромный портрет Сталина! После всего того настроения, которое создаёт блуждание по пещерам и алтарям, после мистической полутьмы, запаха ладана, треска свечей и мерцания лампад — вдруг портрет Сталина…

«Так вот куда проникло влияние этого человека! — думал я. — В цитадель христианства! В колыбель старого мира!» Я был настолько поражён этим, что долго стоял с разинутым ртом, глядя на портрет.

Америка

Пароход, на котором я осенью 1934 года уезжал в Америку, назывался «Лафайет». Со мной ехали несколько французских артистов, приглашённых в Голливуд, и множество туристов, возвращавшихся домой. Да ещё трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по десять раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях — моделях лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей, каждый раз в цвет платья.

Огромные залы этого гигантского парохода были заполнены праздной и шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время.

Все виды развлечений были предоставлены в их распоряжение. Тут и залы для гимнастики, и теннисные площадки, и бассейны для плавания, и тиры для стрельбы в цель, и бары, и оркестр, и дансинги, и десятки салонов разных стилей. Были парикмахерские, комнаты для массажа, цветочные магазины и магазины с мужскими и женскими вещами, с предметами роскоши, ювелирными изделиями, парфюмерией.

Бесконечное количество прислуги, мужской и женской, целые дни бегало взад и вперёд по этому огромному отелю-пароходу, стараясь угадать малейшие желания и прихоти каждого пассажира.

В каюту по утрам вам подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, тост и яичницу. К обеду метрдотель, ласково встречая вас у порога огромного дайнинг-рума, торжественно вёл вас к вашему столу, где перед каждым прибором стояли запечатанные бутылки белого и красного вина. Если вы пили даже по одной рюмке того и другого, вино это после обеда все равно убиралось прочь, и его уже не подавали больше никогда. К вечеру стояли новые запечатанные бутылки.

Обеды и ужины были чудом обжорства и чревоугодия. Чего-чего только не подавалось! Омары, лангусты, крабы, устрицы, зернистая икра в глыбе льда, освещённая изнутри электрическими лампочками, красовалась посредине столов, как какой-то ледяной замок из сказок Андерсена.

Блюда сменялись одно другим. Все это было в таком большом количестве, что уносилось почти нетронутым, с тем чтобы уже никогда не появляться больше. Кто съедал эти блюда? Вероятно, прислуга. От этого изобилия пищи у меня окончательно пропал аппетит, а может быть, ещё и оттого, что за моим столом сидела

полная дама, которая ела необычайно много и громко, и ещё какой-то сухой миссионер-англичанин, который ничего не ел и все время шевелил губами, по привычке шепча молитвы.

Кроме меню, в котором было по меньшей мере пятьдесят блюд, вы могли заказывать на следующий день метрдотелю все, что вам вздумается. Вся эта вакханалия еды была рассчитана, очевидно, на аппетит, который появляется почти всегда в море, и на то, чтобы занять праздное время.

Помимо всех пассажиров, за столом всегда находился один необыкновенно общительный джентльмен, говорящий чуть ли не на всех языках мира. У джентльмена был чудесный аппетит. Я помню, он ел какое-то блюдо с массой гарнира из различных сортов зелени и так великолепно орудовал дюжиной вилок, что я не мог есть от изумления. Он был настоящий виртуоз, артист своего дела. Вилки мелькали в его руках, как металлические предметы в руках у жонглёра.

Оказалось потом, что он был на службе у пароходной компании и приглашён специально для возбуждения аппетита у пассажиров.

После обеда на стол ставились огромные вазы и блюда с дынями, персиками, арбузами, сливами, грушами, апельсинами, яблоками, виноградом величиной с грецкий орех и прочими фруктами. Это была настоящая выставка всего, чем изобилует прекрасная Франция, как бы последний прощальный пир, который она устраивала покидающим её пределы. И перед тем, как попасть в «консервную», «рефрижераторную», «искусственную» Америку, вы могли в последний раз насладиться великолепием всех плодов земных.

На третий или четвёртый день путешествия начался шторм. Огромное туловище парохода медленно и плавно то вползало на вершину водяной горы, то опускалось в бездну. Казалось, что летишь на каких-то гигантских качелях, очень широко и ровно раскачиваемых.

Пассажиры сразу исчезли. Огромный пароход опустел. Все лежали в своих каютах, и к обеду и ужину выходило не больше десятка человек, мужественно облачённых в вечерние туалеты и смокинги, как полагалось по этикету. В большинстве это были англичане.

… После обеда я сидел в салоне и перечитывал парижские журналы. Кроме меня, в пустом зале никого не было. Большой радиоприёмник стоял на электрическом камине, где тлели искусственные угли. Я повернул кнопку и включил аппарат. Поискав Францию, нашёл Париж.

Политические новости… Люсьен Буайе в новой песенке…

Ещё что-то. И вдруг:

К Мысу ль Радости, к Скалам Печали ли,
К Островам ли Сиреневых птиц —
Все равно, где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…

Это пел я.

Ревела, палила и щёлкала буря. Огромный пароход трещал и вздрагивал от ударов волн, упрямо пробираясь вперёд, а я сидел и слушал самого себя, где-то за тысячи вёрст затерянный ночью в океане.

Мимо стёклышка иллюминатора
Проплывут золотые сады,
Пальмы тропиков, солнце экватора,
Голубые полярные льды…
Все равно… где бы мы ни причалили,
Не поднять нам усталых ресниц…

Эти слова Тэффи, из которых я в своё время сделал песню, впервые так остро пронзили меня. Я мысленно оглянулся. Столько лет без дома, без родины! И впереди ничего, кроме скитаний.

Вот тут и родилась у меня песня «О нас и о Родине», которая наделала столько шума за границей и за которую даже в Шанхае мне упорно свистели какие-то личности, пытаясь сорвать концерт.

Позволю себе привести полностью её содержание.

Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несём в чужие страны
Чувство русское тоски.
И никак понять не можем,
Что в сочувствии чужом
Только раны мы тревожим,
А покоя не найдём.
И пора уже сознаться,
Что напрасен дальний путь,
Что довольно улыбаться,
Извиняться как-нибудь…
Что пора остановиться,

Как-то, где-то отдохнуть
И спокойно согласиться,
Что былого не вернуть.
И ещё понять беззлобно,
Что свою — пусть злую — мать
Все же как-то неудобно
Вечно в обществе ругать!
А она цветёт и зреет,
Возрождённая в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне!

Это было написано давно. Многих простила за это время наша великая мать-родина. В том числе и меня. Там же, в Шанхае, после многочисленных просьб мне, наконец, дали советское гражданство.

А на пароходе в те дни, когда эта песня родилась, помню, развлекали нас всеми силами. То устраивался вечер бокса, на котором молодые матросы разбивали друг другу носы до крови, то по субботам танцульки, где гангстерские подруги могли блистать своими сверхтуалетами и драгоценностями от Фаберже и Ван Клифа, от которых слепило глаза. Их повелители в новеньких, только что построенных в Лондоне фраках с квадратными плечами, неуклюже переминались с ноги на ногу в модных танцах, сильно напоминая дрессированных орангутангов. В антрактах меду танцами они пили шампанское, курили огромные сигареты и рассеянно барабанили толстыми пальцами по столу, обдумывая, вероятно, новые комбинации.

Элегантный молодой француз из «очень хорошей фамилии» или развлекал разговорами одиноких пожилых американок, или составлял для них партии бриджа, или танцевал с теми, которые не играли в бридж. Он был на службе у пароходной компании уже несколько лет. Его перебрасывали с одной линии на другую. Перед этим он ездил в Индокитай. Как только на какой-нибудь линии пассажиры начинали жаловаться на скуку, его тотчас же посылали туда. Воистину это была нетрудная служба. Есть, пить, спать и разговаривать, путешествуя по белому свету, и заводить знакомства, да ещё получать за это жалованье!

По понедельникам были сеансы кино, и один раз в пути устраивался традиционный концерт в пользу семейств моряков, погибших в море. В концерте принимали участие все артисты, едущие на пароходе. В этой поездке играла очень хорошая виолончелистка, пела знаменитая Лили Понс, направлявшаяся в

Голливуд, играл возвращавшийся домой скрипач Яша Хейфец и ещё кое-кто.

Пришлось выступать и мне. Я спел несколько весёлых русских песен с припевами, заставляя публику подпевать мне. Это очень понравилось пассажирам, хотя ни одного слова, разумеется, они не поняли.

После концерта всех участвующих пригласил капитан парохода на «парти» к себе в «апартмент». Ужин был с шампанским и отличался ультраизысканным меню. Конечно, такой ужин стоил гораздо больше, чем вся та сумма, которую собрали с публики за этот концерт.

Американцы — большие патриоты. Они обожают свою Америку и уже задолго до приближения к ней стали волноваться.

Когда, наконец, на горизонте чуть обозначились берега Америки, они уже не отрывались от биноклей, а когда, наконец, бледно замаячила знаменитая Статуя Свободы, они подняли невообразимый рёв и крик и сразу все напились пьяными.

Перед самым приездом, после выноса багажа, в коридорах выстроилась в две шеренги такая вереница прислуги, что у меня захватило дух. Разменяв по сто франков несколько тысяч, я шёл сквозь этот строй довольно равнодушных и даже не благодарящих нас людей с пачкой ассигнаций в руке и раздавал их направо и налево. Метрдотелю надо было дать тысячу. Так полагалось.

Велико же было моё удивление, когда он, любезно улыбаясь, преподнёс мне какую-то коробку, завёрнутую в бумагу.

— Что это, мсье Шарль? — недоуменно спросил я.

— Это «кавьяр рюсс», — отвечал он. — Я заметил, что мсье любит её… А я… очень люблю русские песни, которые мсье поёт прекрасно. Вот я осмелился сделать этот скромный презент на дорогу…

Я был потрясён до глубины души.

«Ещё одна победа русского искусства!» — со смехом подумал я и пожал ему руку.

Тысячи он с меня так и не взял.

Были уже сумерки, когда мы входили в порт. Нью-Йорк сверкал миллионами огней. Первое впечатление было такое, как будто в городе иллюминация по случаю какого-то праздника. Задолго до пристани вместе с чиновниками, осматривающими паспорта, прибыл и катер с журналистами и фотографами. Эти жующие, орущие и бегущие куда-то люди обращались с нами довольно небрежно.

— Эй, вы!.. Садитесь! Да не сюда!.. В это кресло! Вы Лили Понс? Нет? А что вы делаете? Играете? На чем? Ну, все равно! Возьмите ваш журнал в руки! Так! Смотрите на меня! Выше

голову!

Он хватает вас за лицо и поворачивает в сторону.

— Снимаю!

Щёлк аппарата…

— Вы кто? Вертинский? Рашен крунер? Как наш Бинг Кросби?.. Да?.. Мы знаем уже о вас! Станьте здесь! Обопритесь о перила! Так! Улыбайтесь! Да снимите вы эту шляпу, черт возьми!.. Так! Ваше первое впечатление об Америке?..

Я сразу разозлился.

— Первое впечатление, что здесь слишком развязные журналисты! — ответил я.

— Послушайте, — сказал я встречавшему меня менеджеру, — неужели они у вас все такие?

— Все! — вздохнув, ответил он. — Это их стиль такой. Они показывают, что их никем и ничем не удивишь. И что им некогда.

— Ну, тогда снимайтесь сами, а я не желаю, чтобы меня дёргали, как манекен, — заявил я и удрал в каюту…

Остановиться мне предложили в отеле «Ансония». Это был артистический отель. Там останавливался Шаляпин, жили постоянно пианист Зилотти, Никита Балиев со своей «Летучей мышью», Рахманинов, скрипач Иегуди Менухин, останавливался Тосканини и другие. Особой чистотой и роскошью отель не отличался, но был в удобном районе, и, главное, там жило много русских.

В тот же вечер, не дав опомниться, мои менеджеры решили показать мне Нью-Йорк.

— У вас будет сразу полное впечатление от ночного города, — сказали они.

По-видимому, эти люди рассчитывали сразу же подавить меня величием города. Покатав по широким улицам и показав знаменитое 5-е авеню, они отвезли меня в кино, только что открытое в нововыстроенном билдинге в сто два этажа.

Зал был рассчитан на пять или семь тысяч человек. Шло «Воскресение» Толстого с Анной Стэн в роли Катюши Масловой. Картину ставили тщательно. Ассистентами режиссёра были приглашены такие авторитеты, как художник Судейкин и Илья Толстой, сын Льва Николаевича. Анна Стэн, русская по происхождению, которой очень «занимались» в Голливуде, готовя из неё звезду первой величины, чудесно играла Катюшу. Картина стоила миллионы, реклама — тоже миллионы. Перед началом картины из-под земли поднялся оркестр в сто двадцать человек, составленный из лучших музыкантов города.

И что же они играли? «Очи чёрные»… Это у них считалось «русской музыкой»! Искусно аранжированная незатейливая

мелодия не переставая звучала все время по ходу картины.

Как это типично для американцев!

Голливуд потрафляет вкусам среднего обывателя, а кто же из этих обывателей не знает «Очи чёрные» и не считает их шедевром русской музыки!..

После Парижа трудно восхищаться каким-нибудь другим городом.

Я не пришёл в восторг от Нью-Йорка. Огромный и величественный в центре, дальше он — двух-, трёх- и четырёхэтажный, обычный, простой, как все города, довольно грязный, в особенности в негритянских кварталах. Тут у каждого дома — кучи мусора, в которые вываливается все — от дохлых кошек до разбитых пианино.

День и ночь по улицам Нью-Йорка катится лавина спешащих людей, летят бумажки, подгоняемые ветром, орут газетчики, продавцы, мчатся машины; люди спешат как на пожар, громко разговаривая и яростно жестикулируя. Можно подумать, что это испанцы или какие-нибудь южане, отличающиеся особенным темпераментом. Но темперамент этот исключительно деловой и, кроме бизнеса, ни в чем, мне кажется, не проявляется.

Все мчатся, все летят куда-то. Всем некогда. Правда, расстояния в таком городе, как Нью-Йорк, конечно, огромны. И если у вас есть три дела в разных концах, то вы должны истратить на это почти весь день. Несмотря на метро, автобусы и такси, вы все же не сможете всюду поспеть вовремя.

Из-за больших расстояний на обед, то есть между двенадцатью и двумя часами дня, никто домой не приходит. Обедают в кафе, аптеках и ресторанах. Обычно такой обед состоит из кофе и сандвичей, выбор которых безграничен. Встречается семья только за ужином, то есть после семи вечера.

Но ужин ведь необходимо приготовить. На это нужно потратить несколько часов. И вот, чтобы избежать этой траты времени и сил, ибо сперва надо пойти в «маркет», все купить, потом почистить овощи, рыбу, мясо и т. д., американцы все держат дома и все в консервах. Все блюда — супы, компоты и прочее — изготовляются фабриками в уже готовом виде. Надо только раскрыть коробку и подогреть содержимое в кастрюльке. Таким образом, приготовление обеда занимает пятнадцать—двадцать минут.

Правда, время от времени против этого подымают голос люди науки, заявляя, что окись от жестяных коробок способствует появлению раковых и иных заболеваний, но фирмы из боязни падения сбыта покупают статьи каких-нибудь авторитетов в этой области, которые со страниц газет точно и ясно доказывают

совершенно противоположное. Взволнованное было население успокаивается, и все идёт по-старому.

Прислуги в Америке почти нет. Все нужно делать самому. Это отнимает много времени. Чтобы избежать этого, все упрощено и механизировано до последней степени. Вы нажимаете кнопку, поворачиваете рычажок — и все уже делается за вас или появляется в готовом виде. Всевозможные машины проделывают всякую работу быстро и аккуратно.

Таким образом, ваш личный труд сведён до минимума. Это сильно облегчает жизнь, в особенности холостых людей. Недорогие апартаменты сдаются со всем необходимым, до постельного белья и посуды включительно. Убирать комнату приходится самому, но это нетрудно, ибо все предусмотрено. Вы нажимаете кнопку — и постель ваша уходит в стену. Пройдя пылесосом по ковру, вы приводите его в порядок. В кухне у вас электрическая плита, вы быстро готовите себе завтрак, который можете купить хоть на целый год вперёд уже приготовленный, потому что есть рефрижератор, и все в консервах. Только мытьё посуды занимает некоторое время. Но и для этого есть машины, которые моют и тут же сушат её. Правда, они не всюду есть. Поэтому, когда гости приглашены на «парти» в дом, то после ужина все они идут на кухню и моют посуду. Раз в неделю приходит прислуга и делает главную работу: моет пол, меняет постельное белье, уносит мусор из кухонного ящика.

Американцы очень радушны и гостеприимны. Но если вы делаете у себя дома «парти», вы никогда не можете учесть, сколько человек придёт, потому что приглашённый вами приятель, у которого в этот день, предположим, собрались друзья за обедом, приезжает к вам в дом в месте со всеми своими гостями. Помню, в Голливуде я сделал такое «парти» для моих друзей — фильмовых актёров, музыкантов и журналистов. Пригласил я человек сорок. Всякого рода продуктов заготовил на шестьдесят—семьдесят человек, а приехало человек сто… У меня было снято маленькое «бунгало» — особнячок с мебелью и всеми удобствами. Гости сидели у меня до утра, веселились, пели, играли. На другой день хозяйка, придя в дом, ужаснулась. Они испортили её радио, залили вином диваны, прожгли сигаретами ковры и скатерть, разбили много посуды и пр. Короче говоря, хозяйка немедленно выгнала меня из этого дома, заставив предварительно заплатить за испорченное имущество несколько сот долларов. После этого я переехал в отель, закаявшись раз навсегда устраивать у себя «парти».

Почти вся пища в Америке безвкусна, но зато на вид она изумительна. Такой величины фруктов, таких овощей, кажется,

нигде не найдёшь. Но все привозится откуда-то в замороженном виде и теряет свой первоначальный вкус.

Мне рассказывали, что в Нью-Йорке на городских бойнях убивают несколько миллионов голов скота ежегодно. И кладут в городские рефрижераторы. В продажу же поступает то мясо, которое было заложено семь-восемь лет тому назад. Его и едят. Таким образом, город всегда имеет запас мяса, но вкус оно теряет абсолютно.

В больших кафетериях, куда ходят покушать, во всю длину помещения идёт освещённая изнутри стойка-рефрижератор. Каких только блюд там нет! Великолепные ростбифы, аппетитные жаркие, окорока, дичь, сыры, фрукты, компоты, пироги, кремы, пирожные. Все это вызывает аппетит, и вам хочется чуть ли не всего сразу. Но когда вы начинаете есть, вам кажется, что вы жуёте резину или вату, до того все безвкусно. А так как все эти блюда надо подавать себе самому, стоять в очереди, таскать ножи, вилки и тарелки, то в конце концов от обеда остаётся впечатление тяжести и усталости.

Америка вообще очень утомляет. Если вы не привыкнете к этому шуму и грохоту, к этой суёте, беготне и крикам, как привыкают на войне к канонаде, свисту пуль и снарядов и разрывам бомб, — вы будете больны.

Две вещи особенно надоедают вам.

Радио и реклама.

Радио там повсюду. Вплоть до уборных. Вы просыпаетесь под его болтовню, потому что во всех отелях оно вделано в стену и черт знает, где находится выключатель. Оно преследует вас во всех магазинах, офисах, кафе, и даже когда вы садитесь в такси, оно бубнит вам свою нудную, очень точно отщёлкиваемую мелодию, всегда одну и ту же, идущую сквозь ваши уши и не остающуюся в вашей памяти.

А реклама положительно сводит с ума. Если то же радио даёт, например, концерт Яши Хейфеца, то каждые пять минут концерт прерывается, и вам напоминают, что этим концертом вас «угощает» фирма сигарет «Честерфильд» или какая-нибудь другая. Реклама лезет вам в глаза и в уши везде и всюду: из газет, журналов, радио, с огромных светящихся вывесок, которые дают целые картины из электрических комбинаций, она бежит впереди вас на тротуарах, по барьерам крыши, в виде букв, догоняющих друг друга, гонится за вами в метро, автобусах, такси, преграждает вам путь огромными транспарантами, величиной с пятиэтажный дом, настигает вас всюду, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни повернули глаза. Миллионы лампочек с вечера и до утра выплясывают какие-то затейливые световые картинки,

рассчитанные на самое примитивное детское воображение и любопытство. Спастись от них никуда нельзя.

«Пей кока-кола!» — приказывает вам реклама на каждом шагу.

И вы подчиняетесь. В Европе вы не могли взять его в рот, но здесь… Вам лень думать, что бы такое выпить? Ну, черт с ним! Давай кока-кола!

Кстати, при своём появлении на свет кока-кола не имела успеха. Её продавали в аптеках в виде коричневого сиропа, который смешивали с содовой водой, наливая одну чайную ложку на стакан. Владельцы этой фирмы бились над вопросом, что делать, чтобы она «пошла».

После многих бесплодных попыток, истратив миллионы, наконец, додумались объявить конкурс на самый лучший совет по этому вопросу. На конкурс ежедневно являлись сотни людей, которые давали самые дикие советы и только занимали время.

Тогда дирекция выгнала всех. Но вот однажды в кабинет пробился маленький, невзрачного вида человечек.

— Что вам здесь нужно? — спросил директор.

— Я пришёл дать вам совет.

— Нам не нужно советов. Убирайтесь вон! — закричал директор и затопал ногами.

— Мой совет спасёт положение, — настаивал вошедший.

Директор задумался.

— В двух словах вы можете изложить его? — спросил он. — Предупреждаю, что, если слов будет больше, я вас выкину, как собаку!

— Разлейте в бутылки! — отчётливо произнёс посетитель.

Совет был принят. Кока-кола покорила мир. Теперь этот человек — главный директор фирмы.

Самое трудное в Америке — это обратить на себя внимание. В больших густо населённых городах, где люди бегут беспрерывным потоком, все сливается в один сплошной гул. Трудно выделиться своим голосом в этом вечном монотонном шуме, трудно заинтересовать собой, своей личностью, своими идеями. Поэтому все помешаны на «персоналитэ» — каждому хочется выделиться во что бы то ни стало, любым способом. Таких «чудаков», как в Америке, я думаю, нет ни в одной стране, начиная от всем известных причуд миллионеров, оставляющих самые дикие завещания после своей смерти, до чистильщиков сапог на улице и мальчишек, продающих газеты. Невозможно даже передать, на какие трюки и ухищрения пускаются там люди только для того, чтобы привлечь хотя бы на секунду к своей личности внимание равнодушного и занятого обывателя. И,

получив его, это внимание, он уже никогда его не потеряет.

Я знал одного человека, которому долго не везло. Он был менеджером и организатором так называемой «американской борьбы», которая долго не имела успеха у публики и с которой он неизменно прогорал. Однажды он решил одеться Наполеоном перед выходом к публике и этим странным костюмом привлёк внимание к своей особе. Он стал популярен, его запомнили.

— Ах, это тот, что играет Наполеона? — говорили люди.

Цель была достигнута: его заметили. Дела пошли лучше, в газетах стали больше о нем писать, и в конце концов он «привил» американцам эту борьбу, которая, кстати сказать, производит совершенно дикое впечатление своей первобытностью. Теперь он уже богатый человек, и ему не нужен больше этот маскарад. Но все его костюмы сшиты под наполеоновский сюртук и даже шляпы имеют форму, напоминающую знаменитую треуголку императора.

В Нью-Йорке есть сотни всевозможных салонов, где скучающим богатым женщинам подыскивают «персоналитэ» в манере одеваться. Одна моя русская приятельница, бывшая актриса, держала такой салон, где с успехом «пудрила мозги» сумасбродным богатым американкам, драпируя их в какие-то лилово-серые тряпки, имеющие форму хитонов, и тюрбаны цветов пелёнок двухмесячного ребёнка. Смотреть без слез на них, конечно, нельзя, но деньги она берет за них немалые.

Америка залита электричеством. Вы видите сотни закрытых магазинов, освещённых в течение ночи тысячами ламп, которые ослепляют вас. Странное впечатление производят большие и малые города, когда вы, например, путешествуете на автомобиле. Проехав несколько сот километров по прекрасным шоссейным дорогам в темноте, прорезаемой только фарами вашей машины, вы, наконец, видите перед собой ярко освещённый город. Он красив, как в сказке. Вам он кажется миражем в пустыне.

Въезжая в город, вы попадаете в волшебный мир огней: синих, красных, зелёных, жёлтых. Это целая неоновая симфония красок.

Как весело, как шумно и празднично должно быть в таком городе! Вам хочется остановиться, войти в какой-нибудь ресторан — отдохнуть, потанцевать, выпить вина!..

Вам кажется, что вы в Париже, на Монмартре.

Но войти некуда. Все закрыто. Город спит. Ни одной души на улицах. Это только реклама.

Меня бросало в дрожь от американских театральных вкусов. Конечно, в Америке любят и ценят больших, настоящих артистов. Там выступали и Рахманинов, и Крейслер, и Шаляпин, и

Тосканини. Есть прекрасные оркестры, широко известны имена Кусевицкого и Леопольда Стоковского, Хейфеца, Лоренса Тибет, Иегуди Менухина, Владимира Горовица и других. Но все это для избранных. Обыкновенный же, рядовой обыватель, воспитанный на кино, серьёзного искусства не любит и им не интересуется. Его вкус, так называемый «вкус Бродвея», весьма ограничен.

Я помню, один из наших соотечественников, Дэйв Аполлон, выступал в лучшем театре Бродвея со своей труппой, получая чуть ли не десять тысяч долларов в неделю. Его имя светилось над театром огромными буквами и делало большие сборы.

Как-то, познакомившись со мной, он пригласил меня в свой театр с просьбой после представления обязательно зайти к нему за кулисы — сказать своё мнение о спектакле. В ложе было пять мест. Я пригласил Балиева, Судейкина и знаменитого режиссёра Гордона Крэга, который когда-то у нас в России ставил «Гамлета» в Художественном театре. Мы едва досидели до конца. Это было что-то невыразимое. Такой халтуры я никогда не видел. Я был настолько убит зрелищем, что не пошёл за кулисы после спектакля, рискуя остаться в глазах Аполлона невежливым и невоспитанным человеком.

Публика, однако, была в восторге и аплодировала без конца…

Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят «Таун-Холл». Это один из двух самых больших и самых популярных концертных залов города. Вместимость его две с половиной тысячи человек. Больше него только «Карнеги-Холл», который рассчитан тысячи на четыре человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет свою интимность и выйдет слишком уж помпезным.

За несколько дней до концерта мои менеджеры, таскавшие меня по всем редакциям газет, ибо в Америке полагается, чтобы артист сам приезжал в редакцию знакомиться, привезли меня в газету «форвертс». Эта газета издавалась на еврейском языке, была очень популярна и имела около ста тысяч подписчиков.

Редактор её, обаятельный, пожилой уже человек Александр Кан, русский по происхождению, принял меня исключительно любезно.

— Мы и знаем и не знаем вас, — сказал он. — Конечно, ваше имя знает всякий, но мы, американцы, вас никогда не слышали, вы впервые побаловали нас приездом, а пластинок ваших у нас нет. Так что предварительно писать о вас нам очень трудно. Я лично буду на вашем концерте, — пообещал он. — У вашего искусства много друзей, но и врагов немало… — Он, видимо, стеснялся дать мне понять, что боится писать «в кредит»…

Я пошёл ему навстречу.

— Не беспокойтесь об этом, — весело сказал я. — Писать ничего не нужно. В конце концов пресса, как доктор, требуется только тогда, когда пациент болен. Я привык говорить с публикой лично, так сказать.

В Америке любят напор.

Редактор улыбнулся.

— Если вы окажетесь хотя бы только наполовину тем, что говорят о вас ваши менеджеры и ваши поклонники, — моя газета всегда будет открыта для вас! — сказал он, пожимая мне руку.

В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно. Мне предстоял последний и самый трудный экзамен!

Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные. Что им до меня? — думал я.

В голове у меня вертелись грустные строчки из Георгия Иванова:

> Даже больше… Кому это надо…
> Просиять сквозь осеннюю тьму…
> И деревья заглохшего сада
> Широко шелестят: никому!

«Конечно, никому», — с отчаянием думал я.

Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был весь цвет русского артистического мира — от милого Федора Ивановича, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего Бинга Кросби, которому сказали, что я «рашен крунер» и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и фильмовые режиссёры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке. Были Рахманинов, Зилотти, Балиев, Болеславский, Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, с которой я познакомился ещё в Париже. Много балетных — Мясин, Баланчин, Фокин, Немчинова.

Оставалось только хорошо петь. Что я и старался делать по мере моих сил.

Окончательно мы подружились с публикой на «Чужих городах».

Я тогда ещё не был особенно твёрд в этой песне, так как написал её перед самым отъездом из Европы и ещё не имел случая её попробовать на публике.

Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах, потому что реакция на неё была подобна урагану.

За кулисами в антракте у меня толпился народ.

Первым вошёл редактор «форвертса».

— Моя газета к вашим услугам! — искренне и горячо сказал он, сжимая мне руки. — Мы ведь не виноваты в том, что провинциалы, — шутя, оправдывался он. — Европа забрала все к себе. Зато теперь мы вас знаем!

Я был вполне удовлетворён.

Меня окружили друзья.

Шаляпин звал ужинать и шутил, что «много не пропьём — только то, что сегодня у тебя в кассе!»

Болеславский знакомил меня с Бингом Кросби.

Марлен Дитрих расспрашивала о «Казанове» и парижских друзьях.

Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки…

Закончил концерт я песней «О нас и о Родине». Когда я спел:

А она цветёт и зреет,
Возрождённая в огне,
И простит, и пожалеет
И о вас, и обо мне! —

я думал, что разнесут театр. Аплодисменты относились, конечно, не ко мне, а к моей родине.

Если от Австрии остаётся на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии — чардаши и страстные, волнующие мелодии скрипок, от Польши — мазурки и краковяки, от Франции — лёгкие напевы уличных песенок, то от Америки остаётся только ритм, вечный счёт какого-то одного и того же музыкального шума, мелодию которого вы никак не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна, несмотря на все разнообразие и богатство аранжировок, и, в конце концов, от неё у слушателя ничего не остаётся ни в голове, ни в сердце. Звучать она начинает с утра по радио и преследует вас целый день, где бы вы ни находились, до самой ночи. Под неё взрослые делают свои дела в офисах, конторах и магазинах, под неё дети готовят уроки и засыпают под неё же. Создали эту музыку негры и заразили ею весь мир. Америка целиком находится в её власти. Конечно, нигде в мире нет такого количества джазовых оркестров, как там. И почти все они очень хороши.

Не говорю уже об оркестрах таких звёзд, как Поль Уайт-манн, Тэд Люис, Дюк Эллингтон, и других. Даже малоизвестные, случайно собранные оркестры играют обычно превосходно.

А самые лучшие джазовые музыканты, — конечно, негры. У

них врождённое исключительное чувство ритма и абсолютная музыкальность. Поют они просто восхитительно. В особенности в дуэтах, трио и квартетах, где их гармонизация поражает своей оригинальностью.

Каждый год устраиваются большие конкурсы для джазовых симфоний, где из множества произведений выбирают самую интересную вещь, наиболее ярко отражающую темы современности… Одну такую «Симфонию Бродвея» мне привелось услышать в Нью-Йорке в исполнении нескольких соединённых оркестров. Впечатление на меня она произвела потрясающее. Шум великого многоголосого города, его ритм и движение были переданы с исключительным мастерством, от гудков фабричных сирен и автомобилей до шума уличной толпы включительно. Успех она имела огромный.

Но хотя композиторов в Америке много, вы почему-то на всех нотах читаете обычно одни и те же фамилии авторов. В Нью-Йорке, например, почти все шлягеры принадлежат «творчеству» некоего Эрвина Берлина. Не думайте, что он написал все эти вещи сам. Нет. Но он купил их у неизвестных авторов за гроши, переделал и выпустил под своей фамилией и со своим портретом. Если вещи «пошли» — он заработал, если нет — немного потерял, ровно столько, сколько стоит бумага и печатание. Но зато если из ста купленных вещей «пойдут» только две или даже одна, то и это уже такой огромный доход, который покрывает все и даёт большую прибыль. У этого же Эрвина Берлина или Руди Валле на Бродвее целые офисы, в которых сидят десятки машинисток и других служащих и работают целые дни, — контора по покупке и продаже музыки.

Купить и продать можно, а воровать музыку нельзя. Для этого есть музыкальные детективы, которые следят за новыми произведениями и, если дело доходит до суда, уличают автора в плагиате, так сказать, официально. Но эти правила касаются только американской и европейской музыки, зарегистрированной в союзах композиторов. Что же касается музыки русской, например, то воровать её можно сколько угодно. Очевидно, за дальностью расстояния.

Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают своё «вдохновение» из цыганских и других романсов и довольно беззастенчиво пекут из них свои шлягеры.

Очень часто, прислушиваясь к какой-нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Возьмём, например, хотя бы модный напев «Йес, май дарлинг дотёр». Разве это не наше украинское «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечорницю»? Но это ещё пустяки: джаз не

стесняется ни с какой музыкой вообще, ни с какими музыкальными величинами. В Америке переделывают на фокстроты все: Шопена и Бетховена, Чайковского и Рахманинова — кого угодно, если только он не записан у них в союзе.

Некоторые наши балетные артисты — Фокин, например, Баланчин и другие — долго пытались создать в Америке постоянный балет, наподобие того, который был в своё время создан во Франции под названием «Балет де Монте-Карло». Очень долго затея эта осуществиться не могла. Аплодируя монте-карловскому ансамблю во время его гастрольных приездов в Америку, заполняя до отказа театры, американцы тем не менее своего постоянного балетного театра заводить не хотели. Все попытки в этом направлении проваливались много лет подряд. Идея создания американского национального балета, увы, не находила отклика.

Тогда у меня сложилось даже впечатление, что ревю с участием «бьюти гёрлс» вполне заменяет американцам балет.

Работали эти несчастные «гёрлс», как машины. Обычно выступления их проводились в кино между сеансами. Кино начиналось в двенадцать часов дня и кончалось в двенадцать часов ночи. Все это время девушки находились в театре, в костюмах и гриме, там же ели и дремали на кушетках в ожидании своего номера.

При театрах есть буфеты и артистические уборные. Но в театр «гёрлс» должны являться в восемь утра, потому что до двенадцати дня они репетируют, готовя программу на следующую неделю. Таким образом, рабочий день каждой такой девушки составляет шестнадцать часов. Получает девушка примерно сто долларов в месяц. Она не видит ни солнца, ни свежего воздуха. Проработав так лет пять, она выходит обычно из этих театров уже сильно подурневшей и часто больной. Карьера её кончена. На смену ей идут другие девушки, свежее и моложе…

Большим событием для Нью-Йорка было исполнение русскими артистами, приглашёнными дирекцией «Метрополитен-Опера», нашумевшей оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мне, к сожалению, не пришлось быть на этом спектакле, но отзывы о нем были восторженные.

В Нью-Йорке довольно много русских артистов, которые остались в своё время там, отстав от своих трупп, с которыми когда-то гастролировали в Америке. Кто приехал с балетом, кто с «Летучьей мышью» Балиева, кто с пражской труппой художественников. Некоторые приехали из Европы сами. Были среди них оперные певцы — Черкасский, Петипа, Мария Куренко; были драматические — Хмара, Павлова, Кедрова. Много

балетных. Некоторые получили уже американское гражданство и остались там на постоянное жительство, другие вынуждены были уехать в Европу и спустя некоторое время, выждав необходимые сроки для натурализации, возвращались снова. Время от времени там устраивались оперные спектакли, шли пьесы новых советских авторов, ставились балеты. В «Метрополитен-Опера» есть русские певцы и певицы, в больших мюзик-холлах много балетных артистов, иногда целые русские труппы. В кабаре и ресторанах с программой много русских номеров. Когда-то в Америке гремел и получал огромные гонорары знаменитый русский плясун Семён Караваев. Я знал его ещё до эмиграции. Действительно, плясал он бесподобно, делая такие «вертуны» и «волчки», что дух захватывало, а его чечётка по ходу танца была вне всякой конкуренции. Потом он сошёл со сцены. Его «убили» негры, которые пляшут «стэп-танцы» так, что за ними не угнаться. Многие балетные пооткрывали там свои студии и давали уроки американцам. В Нью-Йорке, например, имели студию московская балерина Мария Юрьева и бывший московский премьер Вячеслав Свобода.

Большим успехом пользовались там наши русские художники. Много работал по декоративной части московский художник Судейкин, молодой и талантливый Роман Шатов, знаменитый Борис Григорьев. Незадолго до моего отъезда устраивал выставку своих полотен сын Шаляпина, Борис Шаляпин. Американские миллионеры охотно заказывали свои портреты русским художникам и платили за них большие деньги. Впрочем, далеко не всем художникам жилось хорошо. Наш московский художник Александр Койранский, например, говорил, что две недели в месяц он моет посуду в ресторанах (потому что в Америке спрос на чёрный труд довольно велик), а две недели работает у себя в студии.

В Нью-Йорке мне довелось встретить старого своего приятеля, художника Давида Бурлюка. В то время он, к сожалению, почти отошёл от живописи и работал в советской газете как журналист. У меня ещё хранится его рецензия о моих концертах под заголовком «Цветок из чужого сада», в которой он сожалеет о том, что я не пою на родине и отдаю свои силы «чужим».

Есть в Нью-Йорке еврейский театр с довольно крупными силами, среди которых и старые мои знакомцы по Одессе, Харькову, Киеву: Клара Юнг, Павел Баратов и др.

Кино занимает умы многих людей, особенно тех, кто надеется сделать себе карьеру. Да и вообще в Америке ничем так сильно не интересуются, как кино.

Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думают только о том, как обратить внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встретите совершенно незнакомую вам женщину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем:

— Ай-ай-ай! Нехорошо не узнавать знакомых!

— Простите!.. — удивлённо бормочете вы. — Я не могу вас припомнить!

— Ах вот как? Не можете припомнить?.. А ещё ухаживали. Цветы посылали! — издеваясь, продолжает она.

Истязание это заканчивается тем, что дама, наконец, называет фамилию женщины, которая действительно когда-то нравилась вам и с которой вы были хорошо знакомы. Но… но ведь это же не она! Вы вглядываетесь в её лицо и с трудом начинаете отыскивать в нем когда-то знакомые черты. Постепенно вы соображаете, в чем дело. Дело в том, что она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы быть «ещё красивее». Она спилила горбинку носа и укоротила его, подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие и блестящие, вшила себе в веки длинные и чёрные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить её форму. Конечно, вы можете смотреть на неё целый год и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая, какая-нибудь Людочка или Олечка, которую вы знали чудесной и хорошенькой всего два-три года тому назад где-нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она. Каких только жертв не приносится на алтарь искусства! А самое обидное то, что это проклятое искусство даже не ценит этих жертв. До операции Олечку эту приглашали иногда знакомые режиссёры на небольшие рольки и даже обещали выдвинуть, а теперь, как назло, никто не приглашает!

Я никогда не забуду одной маленькой пятилетней девочки, которая, увидев пришедшую в гости только что сделавшую себе операцию носа мамину подругу, бросилась к матери со слезами и закричала:

— Мама, у тёти Кати нос умер!

Мать её сначала успокоила, а потом строго сказала, что о покойниках нельзя напоминать родственникам, потому что это бестактно!

Во время моего пребывания в Нью-Йорке состоялся знаменитый матч бокса между немецким боксёром Шмелингом и

американским чемпионом Максом Беером. Вся Америка, затаив дыхание, следила за этим состязанием. Ставки на одного и другого доходили до десятков миллионов. На время этот матч затмил все остальные события, и газеты ни о чем больше не писали. Немцы волновались невероятно, на пропаганду своего фаворита они тратили большие деньги. Страсти разгорались с каждым днём и часом. В день матча, собравшего несметную толпу и миллионы в кассе, на улицах были поставлены громкоговорители, оповещавшие толпу о каждом движении состязавшихся. Шмелинг долго готовился к этому матчу, и готовился по-немецки серьёзно и тщательно, изучая своего противника в течение долгого времени. Говорят, что он скупил все фильмы, снятые во время матчей Беера с другими боксёрами, и по этим фильмам изучал его манеру, его стиль, его преимущества и слабости, высчитывая и взвешивая силу его ударов. Мне довелось попасть на этот матч, заплатив за билет пятьдесят долларов. Я не любитель бокса, меня интересовал не столько сам матч, сколько то, как реагировала на него толпа. Такого бешеного азарта, такой ярости, такого рёва я никогда в своей жизни не слышал. Было страшно сидеть на этом огромном, залитом светом стадионе.

Победил Шмелинг. Немцы торжествовали. Американцы уходили, скрежеща зубами от ярости. Женщины плакали. Я взглянул в лицо Шмелинга: оно было синее и опухшее, как лицо утопленника. Газеты писали о народном торжестве в Германии, о том, что немцы не отходили от радио всю ночь. Помещали интервью с его женой — киноактрисой Ани Ондра. Гитлер прислал ему поздравительную телеграмму. Триумф был полный.

Приблизительно месяца через два произошло второе событие, взволновавшее всю Америку и снова поставившее в центр общественного внимания немцев.

Это был процесс Кауфмана — убийцы ребёнка Линдберга. Убийца долгое время был неуловим, и, наконец, в 1935 году его поймали и судили.

Преступник защищался с невероятным упорством, лучшие адвокаты Америки стояли за его спиной, щедро оплачиваемые кем-то. Огромные деньги были брошены на то, чтобы добиться его оправдания или хотя бы как-нибудь преуменьшить впечатление от этого процесса. Но улики были неопровержимы, в радиоприёмнике Кауфмана нашли все деньги, полученные им в виде выкупа за ребёнка от несчастного отца: номера их были заранее записаны. Правосудие восторжествовало. Кауфмана казнили. Поздравительной телеграммы фюрера на этот раз не последовало.

Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско. У меня был ангажемент на ряд концертов в Калифорнии. По приезде на вокзал прямо с поезда мы сели в «ферри-бот» — нечто вроде большого парома, который и перевёз нас на ту сторону залива, в город. На пароме приехали журналисты и фотографы. Опять я должен был сообщать свои впечатления об Америке, без которых не обходится ни одно интервью. На этот раз фотографы не так спешили и не хватали меня за лицо, поворачивая в сторону, нужную для снимка… Среди журналистов были сотрудники русских газет. В огромном отеле «Сан-Франсис» я беседовал с ними в холле, отвечая на ряд вопросов, ничего общего с искусством не имеющих, но тем не менее интересующих любознательных американцев.

Например, какой город лучше — Нью-Йорк или Париж?

Какую киноактрису я люблю больше всего на свете?

Волнуюсь ли я перед выходом на сцену?

Сколько любовных писем я получаю в день?

Все эти вопросы мне быстро надоели, и я сбежал от корреспондентов в свой номер, оставив им на растерзание своего менеджера.

Через несколько дней был мой первый концерт. У меня было свободное время, и я решил, по совету друзей, осмотреть город.

Сам по себе Сан-Франциско ничего интересного не представляет — все города Америки похожи один на другой. Расположен город так, что открыт всем четырём ветрам океана, поэтому он обдувается со всех сторон. Даже летом там бывает холодно. Как и во всех городах Америки, кроме магазинов и кино, в нем ничего нет. Поэтому жить там довольно скучно. Зато окрестности тонут в зелени. Много деревьев и цветов, и все это окружено белыми и жёлтыми виллами типа испанских домиков средневекового стиля, сплошь увитых жёлтыми, белыми, красными розами и причудливыми фонариками из разноцветных стёкол.

Русская колония там очень большая, почти такая же, как в Нью-Йорке, если не больше. Все служат, все работают на фабриках, в магазинах, в офисах. Работа скучная. Состоятельных людей почти нет.

Одна моя знакомая, которая служит на фабрике женских платьев, восемь лет уже делает один и тот же шов на левом рукаве. И никогда не видела целого платья. Другой приятель работает на консервной фабрике и тоже лет пять уже делает одно и то же движение: он прижимает ключ для открывания коробки узенькой жестяной пластинкой. Палец на правой руке у него как деревянный. А третий знакомый работает на колбасной фабрике,

где из поступающей в машину живой свиньи через час или полчаса выходит уже готовая колбаса. Его обязанность — чистить свиной пятачок особой щёточкой.

В Сан-Франциско есть небольшой клуб, в котором русские собираются по субботам. Раз в год устраивается большой бал в пользу русских инвалидов — жертв мировой войны. Русские дамы очень стараются и собирают обычно большие суммы денег, которые отсылают потом в Париж, в Союз инвалидов.

Собравшая больше всех денег получает титул «Королевы русской колонии», что немало способствует соревнованию между дамами. Люди, с которыми мне приходилось там встречаться, произвели на меня самое лучшее впечатление. Все они очень гостеприимны, все тоскуют по родине.

Концерты мои прошли удачно и на время всколыхнули обычно монотонную жизнь колонии.

Из Сан-Франциско я отправился в Голливуд.

Кто только не встречал меня на вокзале! Бывший адмирал, бывший журналист, бывший прокурор, бывший миллионер, бывший министр, бывший писатель!

И все бывшие, бывшие, бывшие…

Бывшие потому, что генерал держит теперь ресторан, адмирал — фотографию, прокурор — комиссионный магазин, журналист служит поваром, а миллионер отпустил чёрную бороду и в кавказской черкеске с кинжалом стоит у дверей ресторана и открывает двери гостям.

Зачем приехали в Голливуд эти люди? Чего искали они здесь? Каким ветром занесло их в такую даль, на край света? И какой путь проделали все эти московские, ростовские, новороссийские. жители, прежде чем попали туда? Трудно ответить на этот вопрос. Русский человек, потерявший родину, уже не чувствует расстояний. Кроме того, ему нигде не нравится и все кажется, что где-то лучше живётся. Поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами. Раз жить не у себя дома, так не все ли равно где? Мне вспоминаются слова Марины Цветаевой:

Мне совершенно все равно,
Где совершенно одинокой
Быть…

Все эти русские в Голливуде группируются вокруг киномира. Большинство работает статистами. Другие же… Кто работает в костюмерных, кто в фотографиях, кто служит гримёром, кто по части лошадиного спорта. Голливуду нужны тысячи специалистов

в самых разнообразных областях для различных постановок. Нужны инженеры, механики, архитекторы, парикмахеры, наездники, музыканты, фотографы, осветители, дрессировщики зверей, атлеты, акробаты, имитаторы, звукоподражатели, великаны, лилипуты, уроды, калеки…

Сотни фильмов самых разнообразных сюжетов проходят ежегодно через студии Голливуда. При мне ставился фильм с таким сюжетом: какой-то содержатель труппы ярмарочных балаганных «аттракционов» — всяких «женщин с бородой», сросшихся близнецов, карликов и прочих — зафрахтовал корабль, чтобы везти свою труппу по свету. Корабль терпит крушение, и вся эта масса уродов и калек выброшена на необитаемый остров. Что было дальше, я не помню, но для этого фильма со всего мира собирали всяких монстров и уродов. Навезли их в Голливуд сотни. Многие из них по окончании фильма остались в Голливуде в надежде, что когда-нибудь их услуги ещё понадобятся.

В большинстве голливудцы живут от картины до картины. Главный и, собственно, единственный источник существования — это фильм. Почти в каждом фильме нужна толпа, иногда очень многочисленная. Поэтому статисты всегда требуются. Целый день вся эта публика сидит дома в ожидании телефонного звонка. Если на завтра нужна толпа, заведующий отделом, у которого записаны телефоны всех статистов, телефонирует и предупреждает:

— Завтра к шести утра.

Это означает заработок от десяти до двадцати пяти долларов, в зависимости от того, что нужно. Если светскую толпу — значит, нужны фраки и вечерние платья, — тогда платят дороже, если уличную — значит, в чем попало, — это дешевле.

Позвонить вам могут в любой момент до пяти часов вечера. Все сидят дома, боясь пропустить звонок и потерять заработок. Поэтому днём улицы Голливуда совершенно пусты. Все или заняты в ателье, или сидят дома и ждут…

В общем же Голливуд глубоко провинциален. Все интересы там вертятся вокруг фильмов. Жить там скучно.

Однажды мой менеджер влетел ко мне очень взволнованный и сообщил, что я удостоился редкой чести — получил приглашение в знаменитый «Голливуд Морнинг Брэкфаст клаб». В руках он вертел толстый конверт, который торжественно протягивал мне. Я вскрыл его. На великолепном куске александрийской бумаги были нарисованы примитивные козлики с лошадками и курочки с петушками. Дальше было написано, что правление ГМБК просит меня почтить их своим посещением и выступить у них такого-то числа во время утреннего завтрака. Я

равнодушно повертел конверт в руках и осведомился:

— На кой шут мне такое приглашение?

Менеджер был возмущён.

— Безумец! — патетически восклицал он. — Он ещё спрашивает зачем… Да знаете ли вы, что в этом клубе состоят членами все нью-йоркские и чикагские миллионеры?

— Ну, а дальше что? — не сдавался я. — Миллионов своих они же нам не оставят?

— Как? А реклама? А честь какая! Ни один русский не переступал порога этого клуба, — возмущался он. — Они приглашают только мировых знаменитостей! Понимаете? Вы — форменный самоубийца.

И он потрясал письмом в воздухе и кипятился.

Я понял, что сопротивление бесполезно.

— Реклама — прежде всего! — кричал он.

Надо было ехать. Самое противное было то, что явиться следовало… в семь часов утра.

Это меня приводило в отчаяние.

«Что за дурацкая идея приглашать артиста в семь утра! — думал я. — Никогда в жизни я ещё не пел на рассвете!»

Но выхода не было.

На другой день а шесть с половиной утра за мной заехала машина клуба, и ровно в семь я уже сидел за длинным столом, за которым было человек двести, и беседовал с какими-то упитанными личностями, которые старались меня развлечь. Напротив сидела французская кинозвезда Даниель Дарье, моя парижская приятельница, и делала мне «страшные глаза», вся искрясь смехом. Подавали всевозможные джусы, кофе, поридж, яичницу.

Время от времени поднимался какой-нибудь толстяк и рассказывал невероятную ерунду из области своих семейных или любовных переживаний, пересыпая её грубыми шуточками и словечками бродвейского арго. Почему эту ерунду надо было говорить именно утром?

Потом обо мне был зачитан небольшой докладец, разъяснявший публике мой жанр и творчество, после чего мне пришлось выступать.

Не будем говорить о том, как я пел. Меня легко поташнивало от этих разговоров, от вида яичницы, которой я терпеть не могу, от папирос натощак и всего этого добродушного кретинизма. Аплодировали они тем не менее щедро. В вечерних газетах были приведены фамилии всех финансовых тузов, бывших на завтраке, и среди этих мешков с золотом робко серела моя скромная фамилия, как бедная родственница за богатым столом…

Вторым событием, произведшим на меня неизгладимое впечатление, были голливудские похороны.

Как-то на одном из «парти», устроенном моими друзьями по случаю моего приезда, мне пришлось познакомиться с молодой, красивой американкой М. Жена одного из магнатов кинопромышленности, богатая, избалованная и по-американски независимая, она положительно не знала, что с собой делать. Актрисой она не была — муж не позволял ей сниматься, и её время не было заполнено ничем, кроме портных, парикмахеров и покупок в магазинах. Обычно она устраивала у себя «парти» или её приглашали на них почти ежедневно. Как большинство таких свободных американок, она пила с утра до вечера джин и носилась по Голливуду на своей машине, которой правила сама. Ездила она очень смело, чтобы не сказать больше.

Однажды сев с ней в машину, я дал себе слово никогда больше этого не делать. Она мчалась, как гонщик на состязаниях.

— Вы когда-нибудь убьётесь, дорогая! — сказал я ей.

М. только рассмеялась.

— Это будет самым лучшим выходом из моего положения.

Она была разочарована.

Пустая, бессмысленная и бесцельная жизнь богатой и ничем не занятой женщины, по-видимому, тяготила её. Иногда я рассказывал ей о Советской России, о том, как трудятся там женщины. Она слушала, полуоткрыв рот, мечтательно вздыхая.

Однажды ночью, после одного из таких «парти», она, находясь под сильным влиянием алкоголя, села в машину и разбилась.

На другой день её хоронили. Я послал ожерелье из гардении и поехал в «Фенераль бюро», где были назначены похороны.

В большом, похожем на католический собор сводчатом зале собрался весь Голливуд. Артисты, писатели, художники, директора — все, кто был так или иначе связан с деятельностью её мужа, пришли отдать М. последний долг. Люди разместились на дубовых скамьях и тихо разговаривали, обсуждая происшедшее. Перед нами было что-то вроде сцены или эстрады, задёрнутой толстой бархатной занавесью. Минут через десять раздался удар гонга. Занавес раздвинулся, и перед моими глазами предстала… живая покойница!

Она сидела, положив ногу на ногу, на табурете за стойкой бара и держала в руке бокал. Сзади стоял живой бармен и наливал что-то в коктейльницу. Она была причёсана, нарумянена, напудрена, в длинном вечернем платье, с широко открытыми глазами и улыбалась страшной неживой улыбкой, на шее её было моё ожерелье. Я окаменел от ужаса.

Потом, много позже, мои друзья объяснили мне, что в Америке, когда похоронное бюро берётся за похороны, оно спрашивает родственников:

— В каком виде вы хотели бы видеть покойницу в последний раз?

Если женщина была хозяйкой, её показывают в домашней обстановке, если она была хорошей матерью и любила детей — в детской и т. д. В данном случае киномагнат, привыкший видеть свою жену всегда за стойкой бара, хотел, чтобы именно в таком виде предстала она перед ним в последний раз.

Была мёртвая тишина. И вдруг с хоров полились звуки музыки. Оркестр, приглашённый из её любимого ресторана, играл любимые вещи покойницы. Сперва «Очи чёрные», потом «Две гитары» и, наконец, фокстроты.

Через несколько минут появились лакеи, которые разносили гостям на подносах её любимый коктейль и сандвичи.

— Танцуйте, танцуйте! — истерически выкрикивал её муж. — Она так любила танцы!..

Между прочим, кладбище в Голливуде, наверное, самое красивое в мире. Оно представляет собой огромный парк с газонами, весь в цветах и редчайших деревьях, без единого креста или памятника. Каждая могила имеет только небольшую бронзовую доску, чуть наклонно вкопанную в землю, с именем покойника, и больше ничего. Вокруг цветы. Плакучие ивы. Пальмы. Если не присматриваться к газонам, то кажется, что это просто парк для публики. Там похоронены все экранные заезды, в своё время ушедшие из жизни. Я видел могилы Барбары Ламар, Рудольфо Валентино, Дугласа Фербенкса и других.

Звезды живут в самой дорогой части Голливуда — Беверли-Хил. Там у них собственные или снятые внаём роскошные виллы. Так полагается для рекламы. Положение обязывает, и жить поскромнее звезда не имеет права. У неё должна быть роскошная машина, собственные секретари, горничные, заведующий её рекламой и пр.

Но фильмовый век такой звезды довольно короток. Пять-шесть лет, и она уже сходит со сцены. За небольшим исключением, никто из них не превышает этого срока. Правда, за это время она получает бешеные гонорары, но на представительство уходят тоже бешеные деньги. Поэтому очень немногим удаётся накопить денег и обеспечить своё будущее. Я видел немало потухших звёзд, которые нуждались.

В Голливуде очень много красивых женщин, но и красивых мужчин не меньше. Все эти люди наехали сюда из разных стран в надежде на счастье. Но…

Счастье? К счастью надо красться,
Зубы сжав и притушив огни,
Потому что знает, знает счастье,
Что всегда гоняются за ним! —

как говорит шанхайская поэтесса Лариса Андерсен. Счастье улыбается очень редко и очень немногим. В Голливуде трудно поймать шанс. Все крупные роли играют звезды. Почти все они жены или подруги продюсеров — директоров, фильмовых магнатов или режиссёров. Держатся за своё положение они довольно цепко и никого к ролям и близко не подпускают. Все разговоры о том, что такой-то режиссёр открыл такую-то звезду, — это сказки для доверчивой публики или рекламы. Никаких звёзд никто не открывает. Все они давно уже открыты и сияют довольно продолжительное время. Я не говорю о таких, как Норма Ширер, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, — это звезды первой величины. Их век продолжается довольно долго. Они прочно завоевали публику, и время как будто не касается их. Во всяком случае, на экране. Правда, искуснейшие гримёры делают чудеса, замазывая на их лицах следы времени, опытнейшие осветители, комбинируя контрасты света и тени, скрадывают нежелательные дефекты. И только с годами, когда все эти способы уже перестают помогать, они переходят на другие роли, более солидных и зрелых женщин. Тогда на их место продвигаются новые, молодые звезды — жены и подруги директоров или продюсеров. Правда, Голливуд приглашает из Европы время от времени ту или иную звезду, но это гастролёрши. Контракт с ними делают временный и настоящего положения не дают. Это нужно для того, чтобы завоевать американским картинам тот или иной иностранный рынок. Для этого покупают любимицу или любимца данной страны и, сняв с ним ряд фильмов, пускают их на экраны его родины.

При ближайшем рассмотрении звезды оказываются далеко не такими красавицами, какими мы привыкли видеть их на экране. Красота в кино второстепенна. Главное — фотогеничность. Важно, чтобы самый каркас, так сказать, лица был фотогеничен, а красоту уже вам добавят гримом и освещением. Часто очень красивые лица теряют из-за этого на экране. Вообще в Голливуде происходит обратное явление. Там звезды почти все некрасивые, а статистки — красавицы.

Этими куклами Голливуд наполнен до отказа. Иногда, идя по улице, буквально разеваешь рот, встречая девушек такой необыкновенной красоты, что дух захватывает. Но это какие-

нибудь продавщицы из магазинов, или кельнерши из кабаре, или маникюрши. Они приехали сюда из далёких стран, уже ухлопали два-три года на борьбу за карьеру в фильме и разочаровались.

Положение мужчин почти такое же, с той только разницей, что одни из них, имея средства, уезжают обратно на родину, ничего не добившись, а другие, так сказать, более слабые духом, устраиваются на содержание к богатым старухам, которыми кишит Голливуд. В его окрестностях есть местность «Пассадина», вся застроенная особняками и роскошными виллами. Там живут вдовы миллионеров, старухи-рантье, обладательницы огромных капиталов, оставленных им мужьями. Делать им абсолютно нечего, и поэтому они «усыновляют» интересных молодых людей, которых и водят за собой всюду, как мопсов на цепочке. Молодые люди эти всегда великолепно одеты, имеют роскошные машины и грустно глядят на голливудских девчонок. Многие из них приехали из Аргентины или Мексики, где были пастухами, гоняли по степям и прериям диких лошадей, накидывая на них лассо, — словом, были простыми ковбоями. Теперь они выхолены, выстрижены, с чёрными узкими усиками и пальцами в кольцах, играя глазами, грустно пьют виски и бренди и вздыхают о далёкой родине… Почти все они снимаются фигурантами в фильмах и все ещё не теряют надежды выдвинуться. Некоторые из них женились на потухших звёздах, у которых ещё остались деньги.

Русские были одно время в очень большой моде в Голливуде, особенно во времена немого кино. Тогда в студии попало много русских музыкантов и артистов. Я встречал Михаила Бакалейникова, Макса Рабиновича, которые работали аранжировщиками, Темкина, Владимира Друкера — прекрасного трубача. Одно время работал наш харьковский виолончелист Яков Бунчук. Многие уже умерли и похоронены на голливудском кладбище. Умер когда-то знаменитый московский опереточный артист Михаил Вавич, умер Оскар Потокер…

В Голливуде есть маленькая русская церковь, где все иконы написаны или пожертвованы нашими соотечественниками. Есть небольшой клуб. Большим успехом пользовалась наша русская певица Нина Павловна Кошиц, которую, вероятно, ещё помнят москвичи, — обладательница чудесного голоса, настоящий русский соловей. У неё была собственная студия. Она давала уроки пения голливудским звёздам, иногда выступала сама на больших концертах. Я слышал её с большим симфоническим оркестром в «Голливуд-боул», в горах за Голливудом, где выстроена огромная ротонда на двадцать тысяч человек. Играл Хейфец. Нина Кошиц пела из «Евгения Онегина». Её голос звучал,

как жемчуг, который сыплется на серебряное блюдо. Успех она имела огромный.

Из русских артисток видное положение занимала Анна Стэн. Она играла Катюшу Маслову в «Воскресении» Толстого и Нана в одноимённом фильме по роману Золя. Но впоследствии отношения её с дирекцией испортились, и она сошла с экрана. На её «фильмовое воспитание» были истрачены большие деньги. Три года её учили английскому языку и пению. На рекламу тратили сотни тысяч. Она не оправдала каких-то возлагавшихся на неё надежд, и о ней замолчали. Имел успех Аким Тамиров, бывший актёр Художественного театра. Снимался иногда Иван Лебедев.

Русские приблизительно все находятся в равном положении, поэтому живут довольно мирно, не ссорясь и не завидуя друг другу. Но зато, если кому-нибудь удаётся хоть немного выдвинуться и занять хоть маленькое, но положение — он уже спешит отгородиться от своих соотечественников и ищет исключительно американского и иностранного общества, боясь потоков просьб и одолжений…

Редким исключением была наша русская Таня Татль — жена режиссёра Франка Татля, дочь артистки Евдокии Смирновой. Она была на редкость отзывчива и добра и очень много делала для русской колонии. Она немного занималась фильмовой режиссурой и мечтала поехать в Советскую Россию работать. Голливудские фильмы её не удовлетворяли. Она считала, что настоящая интересная и культурная фильмовая работа делается только в СССР и нигде больше.

Был конец октября, когда я решил уехать в Китай.

Огромный японский пароход «Чичибу Мару» увозил меня из Сан-Франциско. Публика состояла исключительно из японцев, возвращавшихся на родину, и, кроме меня, европейцев не было. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать многое. Я радовался одиночеству.

На Гавайях, в Гонолулу, я любовался бирюзовой прозрачной чистотой океана, смотрел, как ныряют в воду смуглые, великолепно сложенные туземцы, когда им бросают монету.

Смотрел на красивых гавайских девушек, увешанных ожерельями из роз, гвоздик и магнолий, смотрел их чувственные и в то же время стыдливые танцы, слушал прелестную, тоскующую музыку гавайских гитар, рассматривал диковинных рыб в морском музее и вспоминал слова Георгия Иванова из моей песни:

Над розовым морем вставала луна,
Во льду зеленела бутылка вина,

И томно кружились влюблённые пары
Под жалобный рокот гавайской гитары…

Через день мы уже плыли дальше, в таинственный далёкий Китай, известный мне только по сказкам Андерсена.

Китай

В Китае я застрял надолго… Близость советской границы рождала в сердце смутные и неясные надежды. Когда началась вторая мировая война и чувство любви к родине особенно обострилось в сердцах всех честных русских людей, надежды эти ещё возросли. Победы советских войск вызвали в душе моей гордость, смешанную со все усиливавшейся тоской по отечеству…

Правда, такие чувства испытывали не все. Помнится один знаменательный вечер в Шанхае. По примеру Парижа, где ежегодно устраивались выборы самой красивой девушки страны — «Мисс Франции», потом «мисс Европы», — было решено, чтобы не ударить лицом в грязь и не отстать от века, тряхнуть своими эмигрантскими ресурсами и выбрать из представительниц русской колонии «Мисс Шанхай».

Организовала этот конкурс инициативная группа местного журнала «Уединение».

В лучшем саду города, в ресторане «Аркадия», на открытой эстраде стоял длинный стол, покрытый коврами, на нем бутылки с квасом и огромная ваза цветов.

«Уединенцев» было всего-навсего пятеро.

— Война? — возмущённо говорили они со страниц своего журнала. — А нам какое дело? Пусть воюют военные! А мы эстеты…

В составе жюри был весь цвет шанхайской интеллигенции, «титаны зарубежной мысли», «вожди» и «пророки», соловьи и разбойники.

Мир раскалывался пополам. Полыхали пожарища. Тонны бомб сыпались с неба. Горели города и села. Родина обливалась кровью… А «уединенцы» восседали за судейским столом, полные сознания своего гражданского долга, придав своим лицам соответствующее выражение, крайне озабоченное и строгое.

На этот конкурс они пришли солидно, по-семейному — с «мамами». Со своими «преподобными женулечками». Побоявшись их отпустить при наличии такого соблазна, «женулечки» расфуфырились в дым и гордо выступали, торжественно ведомые своими мужьями, и садились за судейский стол с тем же каменно-величественным видом.

Все были «свои». Некий Эдуард Иванович, старый театральный жук, на пуантах перепархивал как птичка от столика к столику и, лукаво грозя дамам мизинчиком, говорил:

— Я не знаю!.. Ей-богу, не знаю! Ведь все же зависит от вас. Кого изберёте вы!

— Ладно, знаем мы вашу лавочку! — подмигивали гости.

Вместе с входными билетами публике выдавались розовые талоны для избрания королевы, но все прекрасно знали, что изберут ту, за которую кто-то больше заплатит, то есть купит ей на какую-то сумму талонов отдельно. В кассе их можно было покупать свободно.

Пока переваривались бифштексы и поджарки, народ безмолвствовал. Ждали.

Сразу же за эстрадой начинались курятники. Чтобы не переплачивать на базаре, хозяин ресторана разводил тут кур, гусей и индюшек. В этом курятнике и томились будущие королевы в ожидании своего выхода. Курятник был предоставлен им в качестве артистической уборной.

Цыплята пищали. Гуси гоготали. Куры кудахтали. Это нервировало будущих королев. Они брезгливо сидели рядышком на высоких табуретках из бара, как куры на насесте, ибо на стульях сидела публика. Высоко задрав свои вечерние платья и отбиваясь сумками и зонтиками от гусей, они были близки к истерике.

Девиц было много. Все они не могли оторвать глаз от созерцания собственной красоты, глядя в единственное зеркало на стене курятника, заботливо повешенное любезным хозяином.

Выбор предлагался большой. Крашенные перекисью блондинки, по-испански раздраконенные брюнетки в кольцах и загогулинах на висках, пышные шатенки с немытыми распущенными волосами русалок — все они поднимали невообразимый шум.

— Коля, Колечка! — кричала одна. — Прогоните этого лебедя, он мне чулки рвёт!

— Боже мой! — вопила другая. — Я во что-то вступила ногой! Тряпку! Ради бога, тряпку!

— Сеня, дайте ей валерьянки! — умолял кого-то мужской голос.

Ровно в десять вечера грянул марш. Заседание объявили открытым. Жуликоватый парень с манерами «неглиже с отвагой» размашисто и небрежно выталкивал, как котят из мешка, оробевших девиц на залитую светом площадку и тоном зазывалы ярмарочного балагана оповещал:

— Намбер уан! Мисс Аспазия!

— Намбер ту! Мисс Амфибия!

— У-у-у! — стонала публика. — Где достал такую страшнюгу?

— Намбер три! Мисс Потенция!

— Коняга какая-то! — удивлялись в публике.

Девицы были засекречены псевдонимами.

— Намбер фор! Мисс Гарантия!

На площадке, освещённой прожекторами, стояла девица в платье из чёрного крепа, отделанном серебряными аппликациями. Она была немилосердно худа и всем своим видом напоминала чёрный купеческий гроб, отделанный глазетом.

— Почему она в трауре? — допытывалась публика.

— Это вдова Неизвестного солдата! — пояснял кто-то.

— Намбер сикс! Мисс Гипотенуза!

Щуплая девица, завитая мелким барашком, едва держалась на своих макароньих ножках. От волненья, света прожекторов и долгого сиденья в курятнике она была близка к обмороку.

— Мошенники! Жулики! Арапы! — неслось из публики.

— За что деньги берут? Это же мымры какие-то!

Девицы цепочкой пробегали по кругу, уже ни на что не надеясь. Напрасно «вершители судеб» уговаривали в микрофон голосовать за своих кандидаток. Публика бушевала. Талонов своих зрители не отдавали никому, ибо все более или менее интересные девушки сидели в публике как гости и на конкурс не шли.

Атмосфера сгущалась. Пахло грозой. И вдруг свершилось чудо!

К судейскому столу не спеша подошёл толстый китаец, один из очень известных спекулянтов, владелец нескольких меняльных контор на Банде.

— Фазан! фазан пришёл! — зашептали в публике. Он действительно был похож на жирного фазана.

— Наша мадама вончи мисси! (Моя дама хочет быть мисс!) — спокойно улыбаясь, заявил он, с трудом изъясняясь на ходячем русско-английском жаргоне. — Хав мач? (Сколько стоит?) — Достав из кармана своего засаленного халата толстый бумажник, он начал отслюнивать деньги.

Откуда-то из-за его круглой, широкой спины неожиданно вывернулся сияющий Эдуард Иванович.

— Плиз! Ради бога, плиз! Прошу вас! — извиваясь и пресмыкаясь, кланялся он, истекая нежностью к своему спасителю.

Спекулянта подхватили под руки и, как архимандрита в алтарь, повели в кассу. Через десять минут «большинством голосов» была выбрана его дама. Русская по национальности, она, увы, оказалась проституткой по профессии.

«Суд» заканчивался. «Боги», кряхтя, слезали с Олимпа и усаживались за бесплатное угощение. Эдуард Иванович отирал трудовой пот с высокого лба.

Всходила луна. Подавали поджарку.

Мир раскалывался пополам.

Все это и, увы, многое другое в том же роде мне пришлось повидать в годы эмигрантских скитаний…

Эпилог

Больше десяти лет прошло с того дня, когда я вновь вступил на землю своей родины — впервые после двадцатипятилетнего пребывания в эмиграции. Много воды утекло за это время, многое изменилось. Для меня лично главная перемена заключается в том, что из «эмигранта, вернувшегося на родину», я превратился в настоящего советского гражданина, известного советского актёра. А это большая честь, которую надо заслужить. И я заслужил её упорным трудом.

Я хожу по родной земле как равноправный член большой и единой семьи советских людей и одинаково со всеми считаю себя хозяином своей страны. Вместе со всеми я радуюсь открытию Волго-Донского канала и вместе со всеми волнуюсь: приживутся ли липы, высаженные осенью на улице Горького.

… Я прожил за границей двадцать пять лет. Я жил лучше многих и прилично зарабатывал. В Моих гастрольных поездках по белому свету я останавливался в первоклассных отелях, спал на мягких постелях, окружённый максимальным комфортом. И двадцать пять лет мне снился один и тот же сон. Мне снилось, что я, наконец, возвращаюсь домой и укладываюсь спать на… старый мамин сундук, покрытый грубым деревенским ковром. Неизъяснимое блаженство охватывало меня. Наконец я дома! Вот что всегда значила для меня родина. Лучше сундук дома, чем пуховая постель на чужбине.

Вероятно, я буду долго жить.

Так утверждают по крайней мере мои знакомые.

Почему?

Потому что меня очень часто хоронят. Занимаются этим главным образом зарубежные газеты и журналы.

Зачем?

Вероятно, от скуки или от недостатка сенсаций. Я вернулся на родину в 1943 году, и в первый же год моего возвращения зарубежная пресса писала, что меня «расстреляли на первой же пограничной станции».

Года через два я был «замучен в застенках ГПУ».

Ещё через год оказалось, что я жив, но голодаю и «торгую газетами около Моссовета». Вскоре я всё-таки умер. Не то от голода, не то от плохой торговли. Что, собственно, легко могло бы случиться, ибо частной торговли у нас нет и газетами торгуют киоски «Союзпечать».

Наконец, однажды утром мне позвонил американский корреспондент Эдди Гильмор, очень приятный и талантливый

человек, с которым я был хорошо знаком, и, от души смеясь, сказал:

— Я только что получил из Америки телеграмму. Просят дать подробности ваших похорон в Москве. Последние дни я был в отъезде и поэтому не в курсе дела. Вот я и решил обратиться непосредственно к вам за этим делом.

Я ответил, как Марк Твен:

— Слухи о моей смерти несколько преувеличены.

Мы посмеялись вместе, и на этом разговор закончился.

С тех пор меня не хоронят.

Вероятно, забыли.

А я не забыл Америку. У меня когда-то было много друзей и в Нью-Йорке, и в Голливуде. Где они теперь? Как живут? Я был бы рад что-нибудь узнать о них. Хорошие друзья не забываются.

А я — живу. И живу неплохо. Пою в год сто — сто пятьдесят концертов. За четырнадцать лет я спел на родине около двух тысяч концертов. Страна наша огромна, и все же я успел побывать везде. И в Сибири, и на Урале, и в Средней Азии, и в Заполярье, и даже на Сахалине. Не говоря уже о среднеевропейской её части. Во многих городах я бывал по четыре-пять раз. Я пою в театрах, в концертных залах, во дворцах культуры, а иногда на заводах, на стройках, в шахтах. Недавно в Донбассе я пел под землёй для шахтёров во время обеденного перерыва. Они подарили мне шахтёрскую лампочку с выгравированной на серебряной дощечке тёплой и дружеской надписью. Я ею очень горжусь.

Кроме концертов, я много играю в кино. В последние годы я сыграл в картине «Скандербег» — роль Великого дожа Венеции. В «Анне на шее», по Чехову, — роль губернатора. В картине «Пламя гнева» — роль польского посла при дворе гетмана Украины. На днях выходит фильм «Кровавый рассвет» по повести украинского писателя Коцюбинского «Фата-Моргана» с моим участием. Сейчас буду сниматься в фильме «Олеко Дундич» в роли французского генерала Жобера.

Живу в Москве, на улице Горького, в самом центре. У меня большая, хорошая квартира. Когда я приехал в Москву в 1943 году, у меня была только одна дочь, рождённая в Шанхае. Ей было четыре месяца. А вторая родилась уже здесь, на родине. Теперь они выросли.

Так я живу у себя на родине и работаю. Народ меня принимает тепло и пока не даёт мне уйти со сцены. Концерты мои переполнены до отказа. На днях буду напевать новые пластинки. Даже постареть некогда!

А на это ведь тоже нужно время!

1942—1957 гг.

notes

Notes

1

К. Г. Держинская умерла в 1951 году. (Здесь и далее прим. ред.)

2

Теперь гостиница «Центральная».

3

Иван Лукаш — «Голое Поле». София, 1922.

4

От слова «кук» — агентство для туристов.

5

Гамлетом он называл Сталина.

6

«Ти данс» — пятичасовой чай с танцами.